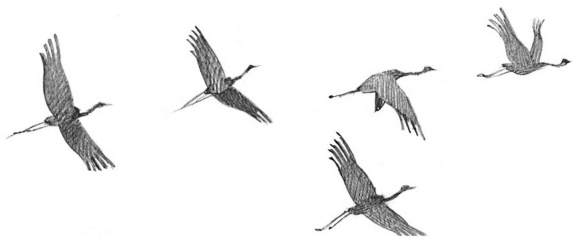


Виктор Сайдаков

# СИЯЮЩИЕ ОКНА





Виктор Сайдаков

# СИЯЮЩИЕ ОКНА

СТИХИ И ПРОЗА



УДК 821. 161. 1-1 (081)  
ББК 84(2=411.2) 6-5Я44  
С149

**Сайдаков В. И.**

С149 Сияющие окна: стихи и проза. — Новосибирск, 2021. — 352 с.

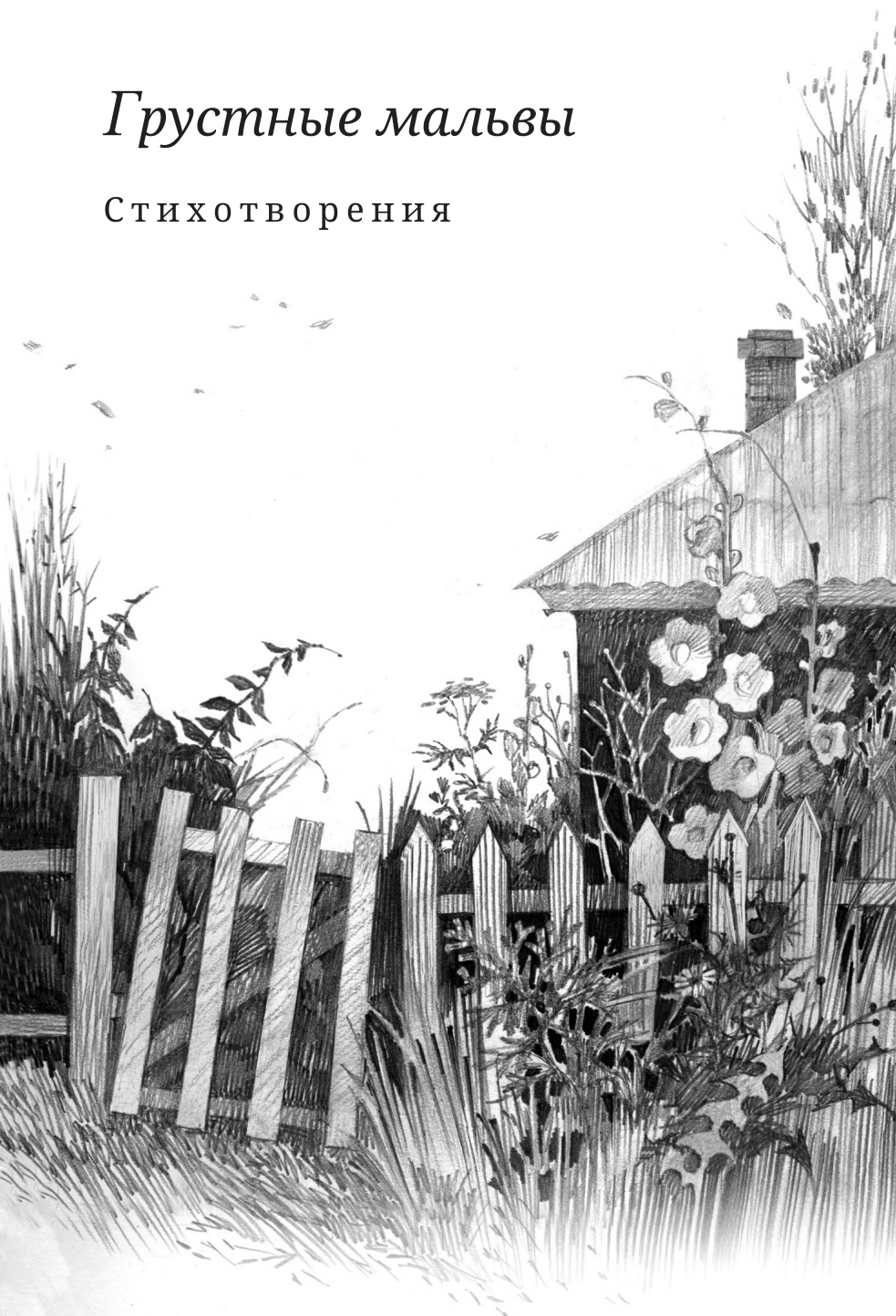
В книгу вошли произведения, написанные в разные годы: стихотворения, рассказы «На Яркуле», «Покурить ночью», «Загонка», «Ясное море», повесть «На два голоса», а также воспоминания.

16+

ISBN 978-5-93240-352-5

# *Грустные мальвы*

Стихотворения



\* \* \*

*Александр Денисенко*

Конь заплачет — придет дядя Гриша  
И погладит его по лицу:  
«Ну, родименький, что ты, потише,  
Хочешь, клевера принесу?..»  
Их осталось в деревне двое —  
Конь ослепший, когда-то гнедой,  
И помеченный жизнью воин  
С самодельной сосновой ногой...  
Конь копытами бьет по настилу,  
Деревяшкою вторит дед —  
Так и будут стучать до могилы,  
Пока держит их белый свет...  
Над конюшнею осень злая  
Переводит в бураны дожди...  
Их друг к другу мороз прижимает —  
Надо зиму опять пережить...  
Не поймут, чьи глаза, чьи ноги,  
Стало много тягучего сна —  
Рысака донимают дороги,  
Дядю Гришу взрывает война.

Конь подругу во сне догоняет,  
Задыхаясь, сбиваясь с пути;  
Старшина по степи ковыляет,  
Ищет ногу — не может найти...  
И, обнявшись, все медленней дышат —  
Конь с протезом? Гнедой человек?  
А заснут — и завалит крышу  
Беспробудный тяжелый снег...  
Будет падать, лететь ежедневно,  
Заровняет последний след...  
Жил с конем дядя Гриша в деревне,  
Жили-были... Теперь их нет...

## ДОМ

Уходя, в первый раз оглянулся на дом —  
В нем горели все окна прощальным огнем,  
Виноватые ставни, казалось, дрожали,  
И калитка скрипела — не удержали...  
А из щелочки каждой манили игрушки:  
Деревянные кони, рогатки и пушки.  
Я себе говорил: все нормально, не трусь,  
Еще раз обернувшись на новую грусть, —  
Разобиженный клен на меня не смотрел  
И черемухе тоже глядеть не велел.  
Ну а дом наводил стародавние грезы  
И показывал мне сквозь зажатые слезы  
Поцелуи и клятвы, рыбалки, закаты,  
Под семейный баян проводины в солдаты...  
Примеряя к бездомью неровный свой шаг,  
В третий раз оглянулся, ступив на большак.  
И слепили, и жгли меня окна-глаза,  
Но стеснялся мой дом свою боль показать.  
И лицо за геранями прятала мама,  
Понимая, что жалость не лечит упрямых,  
А отец, опустив отрешенные руки,  
Вспоминал о далекой военной разлуке...

Уходя — уходи? Эту глупость примерив,  
Я однажды шагнул из родительской двери...  
Шел на ветер степной и был горд, что не гнулся,  
И ни разу на дом свой не оглянулся...  
И пытал меня голос во сне... И всю жизнь  
Умолял и просил: ну, родной, оглянись...

\* \* \*

Сто примет привечаю на дню:  
Синий свет, молодую порошу...  
Ветер ветку на вербе согнул,  
Не сломал, значит, ветер хороший.  
На рассвете он крепче, свежее,  
Насыпает сугроб у крыльца,  
Тянет к ясеню длинную шею  
И свистит, как соседский пацан...  
Я хожу, улыбаясь синицам,  
Их игре возле дров и плетня,  
Незавидные вроде бы птицы,  
А до жилочек русских родня.  
Запечатать бы миг этот каждый,  
А потом вызволять, как питье,  
Драгоценную влагу и в жажду  
По глотку смаковать бытие...  
И зачем было так торопиться,  
Перелистывать жизнь впопыхах,  
Как у книги знакомой страницы  
Возле шкафа чужого в гостях?  
Затерялись, остались в кавычках,  
Словно лишние кадры ТВ,  
Миллионы картинок привычных —  
Лишь обрывки теперь в голове...  
Это время меня подгоняет,  
Это возраст, как спичка, горит  
И о бренности напоминает,  
Это прошлое говорит...  
А закат предвечерний опять  
Обещает туманную млечность.  
Как ее в мое сердце вобрать,  
Не рассыпать, сберечь и понять  
Эту густо-морозную вечность?..



\* \* \*

По декабрю метель метет, и снег подваливает,  
По декабрю отец идет и снег похваливает.  
Он все хвалил, он русским был: душа-рубашечка,  
Возьмет гармонь, и песни — эх! Нарастопашечку!  
По декабрю отец идет, к конюшне правится,  
А лошадиный рад народ — встречает, хвалится:  
Кто кошевой, а кто дугой, гнедой — объятьями,  
Отец любил поговорить с конёвой братией...  
Потом во двор к себе идет и по порядку  
Все оглядит, топор возьмет «для физзарядочки» —  
И эх! да ах! по чурбакам — витым, березовым,  
Растет поленница в снегу и пахнет розами.  
А в доме, ясно, будут ждать, его выглядывать,  
И озабоченная мать — обед подгадывать.  
В избе уют и теплота... Иконка старая...  
Он... руку сдержит для креста, как и при Сталине...  
Засело прочно, не забыть, хотя и надо бы,  
Да не дадут, напомним всё с портретов взглядами  
Отец, расстрелянный весной (и не сказали, где),  
И тесть, истерзанный войной, с тремя медалями.  
Мать будет сало нарезать и борщ помешивать,  
Отец же — руки потирать (сто грамм обещаны!).  
У окон крепкая скамья для четверых ребят,  
На ней как будто сыновья чин чинарем сидят...

Да где? Разъехались давно — зови, аukai;  
Отец мечтает — хоть бы раз на зорьку с внуками.  
Позднее сядет сеть вязать, и петъ захочется,  
А после — письма всем писать...  
И день закончится...

Поземкой долго снег несло, потом прояснело,  
А солнце село за селом у дальней пряслины.  
По декабрю отец ушел... Нас приморозило...  
А родом был отец-сокол из Новорозина\*.

---

\* *Новорозино* — деревня в Новосибирской области, расположена на полуострове озера Чаны. Образована украинскими переселенцами в 1857 г.

\* \* \*

Белый буран в белой степи —  
Куда уж белее.  
В белом буране на ветер идти —  
Еще холоднее.  
Снегу набило почти по грудь —  
Еле шагаю.  
Что поделатъ, крошечный путь  
Не выбирают.  
Слева кладбище? Не видать...  
Кто это машет?  
Там положили отца и мать,  
Родичей наших...  
Старый шиповник, березовый лес,  
Красные звезды,  
Только у деда крашеный крест —  
Военные слезы...  
Ветер зло и остервенело  
Рвет мои руки,  
Справа деревня тоже белая,  
Рваные звуки.  
Радио, что ли, песню качает,  
Хрипло, с натугою?  
Раньше солнцем меня встречали,  
Нынче — вьюгою.  
Белый буран в белой степи —  
Куда уж белее.  
В белом буране на ветер идти —  
Все тяжелее.

\* \* \*

*...И жену, и детей арестованного  
надо тоже считать врагами народа.*

Из выступления колхозного  
активиста в 1937 году

Прошлое качает настоящее  
На качелях за моим селом,  
И меняет временем летящим  
Улицы, людей, отцовский дом...  
Взмах назад — и дед в шинели рыжей  
Пыль с сапог сбивает у ворот,  
А скворец, вернувшийся на крышу,  
Песенку заздравную поет.  
Взмах вперед — мы с дедом за окошком,  
Степь смеется, сенокосный зной.  
Дед невесел — мучают осколки.  
Он последний год живой...  
Взмах назад. Качелей перелет...  
Дед другой, по линии отца,  
По подвалу тусклому идет,  
И не видно дедова лица,  
Лишь затылок — жизни средоточье,  
С поседевшим скорбным завитком —  
Палачом намеченная точка.  
И наган с приподнятым курком...  
Ну куда вы, русские качели?!  
Хватит этих вымахов назад,  
Что за сумасбродное веселье —  
Прошлому заглядывать в глаза  
И казнить утраченные годы...  
Но глядят со страхом из дверей  
Семь назначенных врагов народа —  
Мать и с нею шестеро детей...

\* \* \*

Всё метели да ветры в лицо,  
Повторяю заснеженный путь,  
А назад не могу повернуть —  
Держит крепко родное крыльцо.  
Память колет сильнее, чем снег,  
Возвращая к забытым лесам,  
Через душу мою к небесам  
Белоствольный дрейфует ковчег.  
Он уносит с собой, чтоб сберечь,  
И прощение в птичьих очах,  
И дорогу в бордовых лучах,  
И берез торопливую речь  
На осеннем прощальном ветру,  
И тот горький пастушеский дым,  
Что кружил над оврагом степным  
И до них долетал поутру...  
Не попросишь аванс у судьбы,  
Истлевают стволы без следа,  
А ведь мама ходила сюда  
И по ягоды, и по грибы.  
Угасает последний привет,  
И в сомненьях подводишь черту:  
Разве можно любить пустоту,  
Отраженный березовый свет?  
Так зачем в бесконечный буран,  
Не мигая, сквозь слезы идешь,  
Среди прошлых загубленных роц  
И пургой растревоженных ран?

\* \* \*

Январь, этот белый и длинный пустырь,  
Меня изводил бесконечьем,  
Пока не окликнул однажды снегирь,  
К окну прилетевший под вечер.  
Горел темно-красный фонарь на груди,  
Он пробовал нужные ноты,  
Потом по карнизу отважно ходил,  
Туда и назад — с разворотом...  
Потом он играл? Или нет... Говорил...  
И сумерки нас окружали,  
Когда он под флейту слова находил  
С любовью и русскою жалью.  
И все отступало: и годы, и боль,  
Теплели морозные ветры,  
И снился ночами ковыль голубой  
И сенокосное лето...  
Меня цвета предвечерних картин,  
Февраль отгулял новоселье,  
И первым, приветствуя ультрамарин,  
Умчался снегирь мой на север.  
Прощай, снеговой господин, алый князь,  
Бегущий от солнца и юга.  
Кому ты играешь на флейте сейчас  
У заполярного круга?

\* \* \*

*На темно-голубом эфире  
Златая плавала луна...*

Г. Державин

Захочу и сегодня поеду в деревню,  
Там меня дожидается русская печь,  
Затоплю, и дымок, такой вкусный и древний,  
Снова будет над крышей задумчиво течь.  
Среди снега пройду по замерзшему саду,  
Разбирая меж яблонь зайчиную вязь,  
И знакомый снегирь на крыльцо мое сядет,  
Величавый и важный, как розовый князь.  
Он на флейте сыграет старинную песню,  
Где рефреном звучит восемнадцатый век,  
В ней сенатор Державин надменно воскреснет  
И посмотрит на нас из-под старческих век.  
И в саду, где веселые снежные горы,  
Вдруг Суворов проскачет, воскликнет мурза,  
И сама Катерина от счастья и горя  
Будет плакать под тополем и замерзать.  
А умолкнет снегирь — я возьмусь за лопату  
И сугроб по частям буду в санки грузить,  
И весь день напролет до густого заката  
Буду молча эпоху в проулок возить.  
А потом у печи, под уютною крышей,  
Буду я улыбаться прошедшим часам  
И, уже засыпая, успею услышать,  
Как заспорят в саду про стихи голоса.  
Но затихнет округа, и дом мой задремлет,  
Лишь луна будет свет летаргический лить.  
Хорошо, что могу я поехать в деревню  
И, с Державиным выпив, про снег говорить.

\* \* \*

Будет мама украдкою плакать,  
Вспоминая себя молодой,  
И ходить за дровами во слякоть,  
И к колодцу ходить за водой.  
А потом у растворенной печи  
Будет долго смотреть на огонь,  
Под его говорливые речи  
Будет думать, склонясь на ладонь.  
Будет розово дом озаряться,  
Будут тени по стенам расти,  
Будет шорохов мама бояться  
И испуганно окна крестить.



\* \* \*

Как марты эти гибельны и сини,  
Листаю годы, а везде одно:  
Исход зимы, истаявшие силы  
Да стук звезды в закрытое окно...  
Окликну: «Кто там?» — и приникну к раме,  
А за стеклом — в размытом мираже —  
Дома в унылой серой панораме  
Да крыши заржавевших гаражей.  
Куда же делся этот звонкий, гулкий  
Хруст-звень-ледок по мартовским ночам,  
Звучащий в каждом нашем переулке,  
Где было столько призрачных начал?  
Я пропадаю, к раме припадая,  
И жизнь свою не ставлю ни во что,  
Мне снова снится мама молодая  
И мой отец в заношенном пальто.  
Я жизнь свою, как малую пылинку,  
Затер в руках — не стало ничего,  
Я растворяюсь в коричневом суглинке,  
Никто не вспомнит взгляда моего.  
Я так смотрел...

## СТЕПНОЙ ДОЖДЬ

Поскорее вбирайте, глаза, этот дождь вперехлест,  
Эти тучи слепые над мокрою дикою степью,  
И в ракитовых зарослях пляшущий  
проблеском плес,

И траву, и озер камышово-рогозные крепи.  
Пожаднее, и уши, впитайте все звуки дождя,  
Эти шорохи, шелесты, шепотов страстный захлеб,  
Бормотание в лужах, которое, в плач перейдя,  
Заставляет почувствовать зимний внезапный  
озноб...

Да... И запахи нам не забыть прихватить бы с собой:  
Раздувайтесь по-древнему, бывшие скифские  
ноздри,

И вдохните в себя и полынь, и сырой зверобой,  
И шиповник под яром, цветущий так жадно  
и поздно,

И туман незабудок — легчайший и голубой.  
Торопитесь, спешите, ведь некогда, некогда ждать —  
Мимолетность воды так стремительно неуловима,  
Взмах ресниц — и уже обертоны другого дождя  
Крутят бешеный ливень азартно и неутомимо.  
Все заполнено, сложено, спрятано в памяти... Так?  
А теперь за работу, бродяжъя степная душа,  
Разбери этих запахов, звуков, цветов кавардак,  
Чтобы влагой небесною дом в суховой задышал,  
Чтоб бумага отволгла от строчек живых  
(не чернил) —

Тех, которых, мытарясь и мучаясь, ищем и ждем,  
Чтоб зашедший сосед с удивлением трезвым  
спросил:

«Отчего у тебя на веранде так пахнет дождем?»

## В ДЕТСТВЕ

Июльский ветер отдувает штору,  
Цветет шиповник нежно и свежо,  
Илья-пророк катает бочки в гору,  
Отец под ярмом завершил стожок.  
А гром гремит то далеко, то близко,  
Макушка лета — сенокосный рай,  
Мы землянике кланяемся низко  
И жжем костер у леса до утра.  
И с легким дымом отлетает детство,  
А нас несет восторженной волной,  
О господи, как бьется мое сердце  
И как не хочется домой...  
И разговоры, споры, ликование,  
Как будем жить в волшебных городах.  
Подумаешь, с деревней расставанье,  
Где ползимы в сарае да в пимах!  
Нам тех чудес потом по горло хватит...  
Но так хотелось город победить,  
Не забывая сказанное батей:  
«Ты только нас, сынок, не подведи...»

У сердца непреложные законы:  
Я тоже бегал ночью на вокзал  
И, земляков завидев у вагонов,  
Был счастлив, словно дома побывал...  
Все впереди...Теперь — зарницы, звезды,  
Цикады воздух звоном шевелят,  
И перепелки сетуют, что поздно,  
Что спать пора, нам хором говорят.  
Спим у костра... Мы в детстве, как в нирване,  
Не вздрагиваем, не кричим во сне —  
Ни Колька, сгинувший потом в Афгане,  
Ни Славка, искалеченный в Чечне...

## НА ПЕСЬЕЙ ДЕНЬГЕ

*Доброй памяти Галины Пинигиной  
Иван Грозный, переезжая на коне  
речку около Тотьмы, уронил в нее  
монету. Когда ее попытались оты-  
скать, махнул рукой: «Да пес с ней,  
с деньгой...»*

Из легенды

В Вологодском краю, на угоре Фетиха  
Предлагает мне женщина чай озорно:  
Что-то шепчет воде притаенно и тихо,  
Самовар раздувает, как в старом кино,  
И брусничное ставит на скатерть вино.  
Загорелым плечом, словно шелком, играет  
И глядит, как играет на солнце река —  
Точно денежки медные перебирает:  
Говорят, что однажды монаршья рука  
Обронила монету в нее свысока...  
Сероглазо смущаясь, на «о» налегая,  
Скажет женщина, мило губами лучась,  
Осторожно мне чай по столу придвигая,  
Что «вода в нем живая, а не покупная.  
Брали утром в ключе у ручья»...

И глаголы откроют мне древние дали,  
И соборы поставят свои паруса,  
И за Деньгою колокол басом ударит,  
И ребячьи добавятся в звон голоса  
И рассыплется эхом по длинным лесам...  
А она с удивлением нежным и зыбким  
Станет благовест в сердце свое опускать,  
Улыбнувшись на звоны... И с детской улыбкой  
Будет вовсе не детское видеть и знать.  
Только мне не решится сказать...

## В ЖАРУ

Здесь пшеничный покой за домами,  
Крепко пахнет сухой травой,  
И степной настоявшийся зной  
На село наплывает волнами.  
Он качает горячую синь  
И знакомый с рожденья мираж,  
То озер добавляет в пейзаж,  
То лесов из берез и осин.  
Выгорает июльский зенит,  
Завтра бросится осень в погоню,  
А пока в раскаленном пригоне  
Тонкой мушкой лето звенит...  
Ходишь-бродишь и спать не уснешь,  
Сердце плавится в знойной усаде,  
И под ночь, с маетою не сладив,  
За пригорок на речку уйдешь...  
Будешь долго сидеть у плотины,  
Наблюдая, как с темного дна  
Добывает прохладу луна,  
Поднимая себя над равниной.  
Там, костер разведя меж полян,  
Стерегут ее желтую убыль  
Молодой и застенчивый Врубель  
И косматый стареющий Пан.

\* \* \*

Уже грачи кричат над гривами,  
И нити длинных паутин  
Летят, качаясь над обрывами,  
И ветер, легкий, как сатин,  
Кольшется в степи волнами,  
А на возу высоком с сеном  
В цветном платочке моя мама  
Сидит почти на небе синем.  
Отец — чуть-чуть пониже, рядом,  
Прирос ладонями к вожжам...  
Они поют негромким ладом,  
И песня едет по полям...  
Я этот рай из детства помню:  
Любовь и теплые глаза...  
Теперь же каждый год на помин  
Среди крестов их голоса  
Вдруг вскинутся, потом погаснут...  
Смотрю до слез на облака,  
И кажется, в просвете ясном  
Откуда-то издалека,  
Среди дороги голубой,  
Плывет повозка с поздним сеном  
И тянет песню за собой —  
И полродни за нею следом...



\* \* \*

Это лето с рассыпными и короткими дождями,  
Что утрами бьют по стеклам, будят древнюю тревогу,  
И воды холодной горечь пью я жадными горстями,  
Ухожу за край поселка на раскисшую дорогу.  
В кисее дождя июльской разглядеть пытаюсь садик,  
Где печально доцветают мамой брошенные мальвы.  
Каждый год цветут, кивая, хотя их никто не садит —  
По другим садам гуляет много лет уж моя мама...  
Доберусь до дальней гривы, где у озера стояла  
Батей сложенная крепко одинокая скирда.  
Здесь мы с ним косили сено и рыбачили, бывало,  
И охотники съезжались на ночной костер сюда.  
Дождь закончится, над яром разольются  
перламутром  
Сотни тысяч разных радуг, отраженные в воде,  
Над травой туман белесый, словно кто-то дунул  
пудрой,  
И она как пыль над стадом в старой русской слободе.  
Я дождусь, когда стемнеет и зажжет огни поселок,  
И на шум его невнятный буду медленно идти,  
То услышу лай собаки, то отдельный крик веселый,  
И покажется, что вечность к дому я уже в пути.



## В АВГУСТЕ

Мальвы уже доцветают родные, безгрешные,  
Зрелый июль переходит в задумчивый месяц,  
В нем и крапива, как будто чужая, нездешняя,  
Вянет печально. Все остальное, как раньше, на месте.  
Жнивень славянский — он теплый,

умиротворенный,

К долгим раздумиям нас побуждает с тобой,  
Здесь семена рассыпают татарские клены,  
Напоминая, что скоро и нам на постой —  
Тягостный, длинный... Его мы зимой именуем,  
С холодом белых заиндедевших пустот,  
В них, неуклюже ворочаясь, дышим, зимуем...  
Ждем, когда ветер поманит теплом у ворот,  
Станет из пушек веселых лупить артиллерия  
Солнцем, листвою и гомоном птичьих безумств,  
Кони зеленые выведут в степь население,  
Злаки поспевшие под ноги лягут без чувств...  
Круг завершится, и снова приблизится осень,  
Как ни растягивай, а уменьшаются дни,  
Ночью стучат перезревшие яблоки оземь,  
Нас возвращая в забытые детские сны...  
В августе звездность над крышей люблю

рассыпную,

Робость в лесах, когда падают глухо дожди,  
Исповедь хлеба и как георгины тоскуют —  
Помнят, наверно, что я собирался здесь жить...

\* \* \*

Всё падают, сыплются звезды,  
Сгорают то дальше, то ближе.  
А может, и правда он создан,  
Наш август, чтоб думать о жизни.  
Сидеть на крыльце до рассвета,  
Сжимая невзгоды в горсти,  
Надеясь, что русское лето  
Немного еще погостит  
В березовых чутких селеньях,  
Где вскинется звук в тишине,  
Когда паутинку заденет  
Мизгирь невесомый во сне...  
И Родины лик покаянный  
Проступит в любимом краю —  
Так скорбно смущается мама,  
Наверно, в забытом раю.  
Всю жизнь через звезды просеешь,  
Храня испытующий взгляд,  
Заплачешь и пожалеешь,  
Что снова родиться нельзя...  
А звезды цветут, прорастая  
Из бледно-морозных глубин,  
И холодом сад задувает,  
Где ты на рассвете один.

\* \* \*

Когда последняя гроза  
Закончит тягостное лето,  
Начнут выплакивать глаза  
Дома от северного ветра,  
И станет медленно природа  
Готовить день и ночь к зиме,  
И осень длинная — в полгода —  
Заполнит мир... И станет мне  
Печально, тихо... Желтых мук  
Не могут вынести деревья,  
И листья свой последний круг  
Чертят, плывут... Плывут деревни,  
Дома, разъезды, города,  
Меняет облик мир привычный —  
На полустанках поезда  
Свистят с тревогою синичьей...

\* \* \*

Конец июльским облакам,  
Высоким пепельным громадам,  
И хоть не хочется, но надо  
К осенним двигаться делам...  
Собрать подвинувшие мальвы  
В заросшем наглухо дворе,  
Которые когда-то мама  
Садила утром на заре...  
Давно уж затерялась мама  
В гряде далеких облаков,  
Но повторяются упрямо  
Ее цветы среди сорняков.  
Прижились в голубой полыни,  
А вот горчат еще сильнеей,  
И эта горечь о гордыне  
И дочерей, и сыновей...  
Всё сваливая на помехи,  
Откладывая на потом,  
Мы не рвались с тобою ехать  
В стареющий отцовский дом...  
А там всего-то надо было  
Пожить подольше, не спеша,  
Проведать дедовы могилы  
Да просто рядом подышать...  
Я знаю, мне простила мама  
Сыновий грех невольный мой,  
Но не прощают меня мальвы,  
Качая горько головой...

\* \* \*

Озолоти меня, сентябрь,  
Накрой летучею листвою,  
Расправь оранжевые стяги  
Над листопадною странюю!  
Тут каждый шорох, каждый шаг  
Теперь так звучен и понятен,  
И, зажимая грусть в кулак,  
Ты бродишь среди рыжих пятен.  
Рассыпь червонцы простакам  
Под ноги прямо — не жалеЙ!  
Поэтам в радостный стакан  
Дождей задумчивых налей —  
Хмельных и отдающих прелью,  
Где в каждой капле по державе,  
И есть дежурный по апрелю,  
И хвалит Пушкина Державин.  
Ветрами желтыми спаси,  
С кочующей в полях листвою  
В родные степи унеси  
Меня с печальной головою!  
Там в сердце выстрелит простор  
Полынью терпкою и солью,  
Там травы живы до сих пор  
И скачет перекаати-поле...

\* \* \*

Весь лес распахнут и прозрачен  
И чист, как вымытые сени,  
Здесь на спирту крутом, горячем  
Настоян лист осенний  
На деревьях... А под ногами  
За шелестящими шагами  
В сто тысяч крошечных мышат  
Сто тысяч шорохов шуршат.  
Лес переполнен светом, цветом  
Насыщенным, хоть отжимай  
Июль, июнь и даже май  
С веселых и пьянящих веток!  
Пью у рябин бордо и охру,  
Янтарь — у буйных тополей,  
У клена восхищенно охну:  
«Мне малость алости налей!»  
И, пьяный в осень до предела,  
Вернусь под звездами домой —  
С душою новой, новым телом  
И с разноцветной головой...



## ОЖИДАНИЕ

*Осенний дождь во мгле!  
Нет, не ко мне, к соседу  
Зонт прошелестел.*

Ранран

Звенят синицы. Холодает. Осень.  
И мне понятно без календаря,  
Что на дворе начало октября...  
А за калиткою стучат и просят  
Открыть... И яблоки в мой дом заносят...  
И строгий Бунин бережно вручает  
Антоновки зелено-бледный шар,  
И словно снега первого удар  
Их аромат. Он свеж и чуточку печален.  
Им с наслаждением дыша, я замечаю  
Опавших листьев желтые бурты  
Под каждым деревом в моем саду...  
Они играют с ветром в чехарду,  
И Заболоцкого уставшего черты  
Сквозят через янтарные листы...  
А к ночи дождь... Он мелкой влагой дышит  
И падает глухой стеною капель  
В траву... И, как промокший штапель,  
Она шуршит почти неслышно,  
А окна льют чудесный свет под крышей —  
Он так целебен для сердечных ран...

«Но как же так, — я думаю, — Ранран  
Смог душу угадать столетия назад  
И тушью в трех строках сказать  
Про дождь во мгле, похожий на туман,  
И про надежду в листопадной скуке?»  
...Я тоже знаю — не придет никто,  
Но буду сдергивать сто раз пальто,  
Выскакивать во двор на шорохи и звуки,  
Не замечая, как горят лицо и руки  
От холода... Там — никого... Конечно, ветер  
Стучал в окно... Конечно, показалось...  
И заглушая в сердце жалость,  
Я принимаю муки эти,  
Которых горше (или слаще?) нет на свете...

## ПЕРЕД СНЕГОМ

Ты слышишь? Притихли леса и поля,  
Ни иволг, ни их разговоров...  
Утрами уже подстывает земля,  
Давно ли встречали в степи журавля  
И почки расклеивали тополя?  
Теперь всё в осеннем разоре.  
Листовою набито подножье лесов,  
И прелью с хмельною горчинкой  
Из чащи прохладной волною несет...  
И грусть наплывает, как песня без слов,  
В ней ноты из низких тревожных басов  
Мне сердце щемят беспричинно.  
А впрочем... И мы ведь с тобою в разоре,  
Разорван сердечно-телесный наш круг,  
А было — не спали в любовном дозоре,  
Встречая то звезды, то зыбкие зори...  
Да и сейчас мы как будто не в ссоре,  
Но что-то разладилось вдруг...  
Пустеет душа от обветренных лет,  
От начатых и незаконченных дел,  
Наложена на юные песни запрет:  
Друзья за пределом, родителей нет.  
И кружит мне голову призрачный свет  
В лесу... Он к зиме поредел...  
До кромки осенней недолго идти,  
Где синие проблески брезжат,  
А кажется, надо столетье брести  
И по дороге хоть что-то спасти,  
Но нить мою Паркам не переплести...  
Скорее бы снег — очищающий, свежий...

\* \* \*

Не грусти — это просто предзимье,  
Есть в России такая пора:  
По оврагам, логам и низинам  
Волглый ветер кочует с утра.  
Лес осыпался, берег стал ниже,  
И печалью подернут пейзаж,  
Даже пес приبلудившийся рыжий  
Растерял свой веселый кураж:  
Все скулит, и не ест, и вздыхает,  
Вопрошающе-грустно глядит.  
Неужели и он понимает,  
Как душа перед снегом болит?  
Как томится и немочи множит  
И, пытаясь сбежать от обид,  
Еще больше запутаться может  
Среди русских осенних раки.  
А под вечер... О, как осторожен...  
Опускается сверху снежок,  
Укрывая предзимье острое  
И спасая от долгих тревог.  
И я рад, что другую работу  
Для души приготовил мне снег,  
А мой пес, убежав за ворота,  
И ликует, и лает на всех...

\* \* \*

Он ходит и ходит у низеньких окон,  
Где ставни разошлись и краска пожухла  
И где доживают, не плача, не охая,  
Поникшие избы, чье время потухло.  
А раньше стояли прямые, высокие,  
На улицах, будто в густом сосняке,  
Живицею пахло. А вечером цокали  
Копыта по конному спуску к реке.  
Он помнит крылечки, шесты голубятен,  
Заносчивых турманов и вертунов,  
Над речкой десятки порхающих пятен  
И созывающий свист пацанов...  
И как белохвостый любимый чубатый  
На крышу отцовскую с неба слетал  
И, доверяя как старшему брату,  
Потом на плече у него танцевал...  
И как в сорок пятом, уже без шинелей,  
Одни — на колясочках, он — без руки,  
С махорочной братией пьяно шумели  
На пристани старой у сонной реки...  
Он все пережил вместе с улочкой древней,  
Сапер угловатый с пустым рукавом,  
Рубивший дома по соседним деревьям  
Одною рукой фронтовым топором...  
С лицом медно-красным стоит на закате,  
Хоть вечер, а солнце еще горячо...  
И ждет не дождется — вдруг белый чубатый,  
Воркуя, слетит на плечо...

# *Степные люди*

Рассказы. Повесть



## НА ЯРКУЛЕ

### 1.

Отец вышел на крыльцо веранды, когда Николай укладывал в коляску мотоцикла раскладную лодку.

— О? — удивился он сборам сына-отпускника. — Ничего себе! Уже на ногах!

Взглянул на небо. Было еще сумрачно, но видно, что там — ни облачка. Только-только начинало светать. Правда, ветерок, почти незаметный, осторожно пробуя силы, поддувал и слегка шевелил верхушки березовой рощи, начинавшейся сразу за соседним двором. И она нет-нет да пошумливала. Как бы нехотя, спросонья. Впрочем, такой ветер в степи обычное дело: может несколько дней потихоньку дуть и дуть. И без всяких тебе облаков и дождя. А бывает, с утра немного пошалит, подергает деревья, а потом целый день все тихо и спокойно. Но уж если разойдется — настоящий, порывистый, да вперемешку с дождем, то начинается целое светопреставление. Падера — говорят здесь. Но это будет ближе к осени, а не сейчас, в самом начале августа. В общем, деревня досыпала, добирала свои предутренние сны, нежась в томной полудреме. Ни голосов хозяек по сараям, ни мычания коров.

Отец поинтересовался:

— И куда, если не секрет?

А Николай как раз и поднялся до солнца, чтобы не было никаких вопросов. Любил он все делать спокойно, размеренно, без чужих советов. Не получилось.

— На Яркуль, — пояснил он неохотно, — там, говорят, сейчас язь хорошо берет.

Андрей Дунаев, его отец, коренастый рыжеватый мужик, тихонько и вроде как удивленно хмыкнул, досадливо поерошил реденький хохолок волос на голове. Знал — его возражения не всегда нравились Николаю. И сейчас, вспомнив про разногласия с сыном по поводу рыбалок, высказался, скорее, примирительно:

— А чего не на эти свои... Петраки? Там, вроде, всегда уловисто. И на удочку можно, и сетешки потихоньку бросить. Хотя, — он вспомнил, сообразил и оживился, — чего потихоньку? У тебя же разрешения есть.

— Батя, не начинай, — попросил Николай и завел издававший виды семейный мотоцикл «Урал».

— Хорошо, хорошо, — ответил отец, — твое дело, езжай... Я сейчас вот только ворота открою...

— Да ладно, я сам...

— Нет, погоди... Неудобно же... Чего слазить с мотоцикла?

Не хотел Николай, чтобы батя и ворота ему открывал. И не из-за какой-то там ссоры или неприязни. Просто боялся: скажет ему отец что-нибудь вслед, и тогда все пропадет. И настроение. И рыбалка... Но тот, придерживая створку ворот, только неловко махнул рукой вдогонку. Давай, мол, удачи.

Николай выехал со двора и вздохнул свободнее. Вспомнил пристальный, прищуренный и вроде бы немного растерянный взгляд отца и подумал, что постарел его батя. Надо же, промолчал.

А испортить ему настроение отец мог только одним — сообщить, будет в этот день ловиться рыба или нет. Хорошо, если бы сказал: «Ну давай, сынок, клев сегодня должен быть — ух какой!..» Но в таком



случае свои догадки старший Дунаев придерживал: дескать, здесь и так все ясно. А вот обратное вылепливал, словно его кто-то за язык тянул. Ошибался же в своих прогнозах он редко. Да вот пример. Не так давно и было.

Сосед через забор, ограда которого захватывала часть березовой рощи, Григорий Бастрыкин, как-то собирался вечерком, торопился, чтобы на зорьку угадать. Бегал по двору от гаража к мотоциклу то с удочками, то с мешками. А батя у забора стоял, наблюдал. И не выдержал:

— Ты бы, Гриша, лучше за вениками для бани съездил, чего время тратить? Березовый лист сейчас в лесу самый подходящий.

— Чего это ты вениками моими озаботился? — не понял и удивился сосед. Он как раз привязывал к мотоциклу длинные березовые удилица.

Потом вроде как догадался:

— А-а, понятно... Удочки тебе мои не нравятся. Ну, это потому что ты ничего, Андрей, в такой рыбалке не тумкаешь. Вырос на своем острове, на Чанах, привык чуть не ведрами рыбу грести... А на удочку... Эх! Это же сказка, когда на закате язь клюет... Да ладно. Чего объяснять... Некогда.

— Да я и не про это. Нужна мне твоя удочка! Мне вы ее хоть сетью, хоть мордушками, хоть капканами ловите. Я к тому — не будет сегодня рыбы...

Бастрыкин засмеялся:

— Это куда же она из озера денется? Улетит?

— Да никуда не денется... Ты ведь на старую дамбу собираешься? А в это время рыба там далеко от берега. Особенно сегодня. У нас говорили: «Июнь — на рыбу плюнь».

— Да пошел ты... — беззлобно послал его по известному адресу сосед.

Был он мужиком прямым и резким. Буркнул что-то еще под нос и завел свой Иж-49 с самодельной коляской. И уже перекрывая шум мотора, все-таки не удержался, крикнул:

— Чего вот каркаешь в дорогу, старая ворона!

Поддал газу и через калитку, выходящую прямо в рощу, выехал из ограды. Среди берез какое-то время слышался звонкий чистый выхлоп двигателя, какой бывает только у этого мотоцикла. Потом мотор зачастил, стал глуше — значит, Бастрыкин выехал на степной проселок.

Дунаев через редкие деревья смотрел на пыль, поднявшуюся на дороге, и качал укоризненно головой. И оттого что его не понимают. И от обиды, что обозвали вороной.

Было это ровно два месяца назад. Николай приехал тогда на пару дней к родителям и, так получилось, слышал разговор отца с Бастрыкиным и даже слегка укорил:

— Батя, ты чего? Ну нельзя же так. Человек собирается, радуется, а ты ему под руку такое говоришь.

Отец, прищурившись, взглядывался в сторону степи, где вздымалась пыль от мотоцикла, и бормотал, будто не слышал сына:

— Во наяривает... Это он, если так будет погонять своего «ижака», минут через сорок уже на старой дамбе очутится...

И, не меняя ни интонации, ни громкости в голове, на одной ровной ноте продолжил:

— Как дурачки, честное слово. Родились здесь, всю жизнь прожили и ничего не замечают. Ветер три дня уже с той стороны... Сегодня только и при тих. Воду угнал бог знает куда... Не будет сейчас рыбы у берега. Понятно же! Куда вода, туда и рыба. Значит, искать ее надо. На глыбь плыть, там на нее

наткнуться еще можно. Но не на раскладной же лодке... И главное, обзывается, зараза. А сам не ворона? Посмотрю, чего ты там нарыбачишь...

Рассердился тогда отец Николая на соседа. Впервые за много лет.

На другое утро он все выглядывал, ждал, когда Бастрыкин во дворе появится. И дождался. Сосед вышел развешивать на забор мокрые от озерной воды мешки. Андрей вроде как ненароком, почти равнодушно (но Григорию, конечно, показалось, что с ехидной противностью в голосе) поинтересовался:

— Ну как, Гриня, рыбалка? На уху пару подъязков не дашь? А то Людка моя заклевала: «Все люди как люди. И солят, и коптят рыбу, а ты на уху привезти не можешь».

Бастрыкин возился у забора с мешками, будто и не слышал его, хотя по спине, в которой что-то неуловимо изменилось, понятно было — разозлился. И глухо, не оборачиваясь, ответил:

— Да пошел ты... Я вчера тебе говорил, куда.

Дунаев помолчал немного, подождал. Но Бастрыкин не оборачивался. Делал вид, что все еще возится со своими мешками. Хотя чего там возиться? Набросить их на штакетник — дело пары секунд. Наконец Андрей не выдержал:

— Дак я же и хотел тебя предупредить, что не будет ловиться...

И тут сосед обернулся. Лицо его было нехорошим:

— Предупредить! Мог бы по-человечески объяснить, а не со своими паскудными подковырками. И веники, главное, сюда приплел... Эх ты! Ведь двадцать пять лет рядом живем...

Бастрыкин снял мешки с забора. Зачем-то еще раз с силой выхлопал их, потом плюнул, бросил мешки на траву и ушел в дом.

С тех пор они не разговаривали.

Выезжая из деревни, Николай думал: «Не все же время батя был таким...» Года два, наверно, как эта ерунда началась. То одному по поводу рыбалки что-нибудь ляпнет, то другому по поводу охоты. Мужики сначала чуть ли не восхищались: «Ну ты, Андрей, прямо в точку всегда! Как скажешь, так и получается». Но потом заметили: прогнозы у старого Дунаева, в основном, в одну сторону. В плохую. И стали потихоньку держаться от него подальше. А он удивлялся этому, обижался — ведь правду говорил!

## 2.

Николай, собираясь в отпуск, напрочь забыл про бадины причуды, а приехав и пару раз столкнувшись с его мрачными предсказаниями, старался избегать их. Ну сказал бы отец с утра, что клева на Яркуле не будет. И чего хорошего? Он-то уже настроился на поездку и сто раз за длинную и мутную городскую зиму прокрутил в голове, как приедет сюда.

Это озеро с детства казалось для пацанов, родившихся и живших в Степновке, почти волшебным, сказочным. Он частенько думал: «Интересно, а будь оно около их деревни, наверно, к нему привыкли бы как к чему-то само собой разумеющемуся?» Стоят же на его берегах два рыбацких села: Яркуль (с таким же названием, как озеро) и Мальково, и в них тоже жили и живут такие же пацаны, каким был он. Ребята из этих сел учились после восьмого класса в их Степновской средней школе и с виду вроде ничем не отличались от остальных. Но это только с виду. Другими все-таки были мальчишки, выросшие около этих озер: громадных Чанов и ослепительного Яркуля, лежащего среди степи бирюзовым праздничным

блюдом. Конечно, другими. У пацанов из Степновки что главным в обиходе было? К чему родители приучали? Как со скотиной управляться. Ну и к сенокосу, конечно, к огороду. А яркульские? Они, можно сказать, в лодках родились. С самого детства уже возились с ружьями, сетями да капканами. Там охота и рыбалка впереди всяких дел стояли.

В июле, в макушку лета, то есть в самое пекло, в их поселке детворе становилось совсем невмоготу. Там-то, в Малькове или Яркуле, в других дальних рыбацких деревнях — в Шаитике или Новорозине — все было просто: забежал в огород, а за ним — вот она, водичка родненькая, прохладненькая, плещется. Нырять, бултыхайся, плавай на лодке, лови рыбу... Да мало ли что можно придумать на воде! А в Степновке?

Был, правда, в двух с половиной километрах от нее глубокий, расползшийся по голой солончаковой степи овраг. А чуть поодаль от него, в сторону деревни Дружинки, сверкало приманчивым зеркальным блеском плоское круглое озеро с противным названием Тухлое. Воды в нем было всего с полметра, а подойти к ней было невозможно. Подступы и само дно упруго дышали толстым слоем маслянистой, черной и блестящей, как уголь-антрацит, грязи с затхлым запахом. Пацаны боялись Тухлого и тревожным шепотом рассказывали друг другу, что там только ногу в грязь сунешь, как неведомая засасывающая сила с причмокиванием начнет жадно тянуть тебя на черное вязкое дно. И нет у того дна ни конца ни края.

По весне сбегала из этого озера в овраг вода от растаявшего снега. Вот в овраге и купалась иногда местная ребятня. Но вода в нем была такая горько-соленая и жгучая, что потом полдня нужно было

смывать с себя все выступающую и выступающую на коже соль.

Напрямую от Степновки до Яркуля, куда ехал сейчас Николай, набиралось всего четырнадцать километров. Он специально однажды замерил расстояние по спидометру мотоцикла. Это был самый короткий и привычный путь. Дорога сначала шла по голой степи, потом слева мелькали лесопосадки, а справа — густо и прямо доцветающее бело-розовое гречишное поле. Дальше путь вел через заброшенный чабанский хутор, заросший колючим чертополохом и огромными, со сковородку, шампиньонами. Местные звали их печерицами и считали грибами несъедобными... И каждый раз, когда он ехал здесь, в груди накапливалось и накапливалось радостно-тревожное детское предвкушение восхищенного выдоха: «Ах, Яркуль!» Это случалось, когда мотоцикл, поднявшись с «полевки» на основную дорогу и миновав «воротца» из двух березовых околков, примыкавших вплотную к высокой грунтовке, выскакивал на небольшой пригорок. И вот оно — это самое, из детства, «Ах!» Справа неожиданно (это-то и было главным: не постепенно, а именно неожиданно и полностью) распахивалось пронзительно-голубое раздолье.

Николай, придерживая на тормозах «Урал», потихоньку спустился с насыпной шоссейки и поехал по узкой затравевшей дороге, ревниво присматриваясь к тому месту, где всегда останавливался. И уже увидев, что там нет ни мотоциклов, ни машин, все же немного прибавил скорости, поспешая на всякий случай — вдруг кто опередит и прямо перед носом займет заветное местечко. Но на крохотном природном пляжике из почти белого и мельчайшего песка никого не было; только крестики следов крупных

чаек-мартынов, известных своим криком, напоминающим истерический хохот. Они качались на воде метрах в пятнадцати от берега.

Николай заторопился, хотя внутренне тут же стал осаживать себя: куда, зачем? Вот же озеро. Приехал вовремя, когда хотел. Так и радуйся — неторопливо, всласть. Вбирай глазами, кожей, всем существом то, о чем мечтал зимой. И эту воду, и дремлющих мартынов на ней, и села в легком туманце на противоположных высоких берегах... И далекое-предалекое, такое домашнее и родное, доносившееся оттуда понукание скотины, ее загадочную и древнюю разноголосицу — в деревнях как раз выгоняли коров и овец из дворов в стада... Нет же, засуетился!

### 3.

Он собрал раскладную лодку, положил в нее снасти, прикорм, огляделся — не забыл ли что — и потащил ее по мелководу. Когда воды стало по колено, забрался в «раскладушку» и поплыл спиной к разгорающемуся востоку, постоянно оборачиваясь и сверяясь, правильно ли гребет. Он хотел заплыть подальше, километра на полтора-два, тогда глубины под лодкой было бы метров семь, — там-то и ходил возле самого дна табунками хороший мерный подъязок.

Доплыл легко, в охотку. Он вообще любил плавать в лодках, на веслах. Бросил якорь и стал разбирать снасти. Ловилась рыба здесь на специально переделанную зимнюю удочку... Теперь Николай уже более спокойно осматривался кругом. Над далеким противоположным берегом, над околками выплывал, начиная пригожий день, огромный темно-вишневый шар солнца. Он с каждой минутой менял цвет. Только что был чистого алого оттенка, потом

порыжел, стал оранжевым, затем нестерпимо желтым, и наконец, бело-голубоватым, пронзительно ярким, как электрическая сварка, и смотреть на него стало невозможно. Этот непостижимо-чудесный шар, недавно еще такой большой, все уменьшался и уменьшался, заливая Кулундинскую степь... Николай представил, что солнцу, оттуда, сверху, виделся он вместе с лодкой, наверно, небольшим, крохотным, что скоро и он, и это озеро, и сама степь превратятся для животворного светила в совсем чутошную точку, а потом и вообще в ничто.

Он опустил в воду сетку с прикормом из размолотой распаренной кукурузы, посидел немного, любовно оглаживая взглядом округу, и тут у него мелькнула мысль: а ведь это не совсем нормально, что вокруг не видно ни одной лодки с рыбаками. Местные то точно знают, когда есть клев, а когда нет. Вот батя и порывался, видно, сказать ему об этом. Но он тут же отмахнулся от мешавших ему мыслей и забросил леску в воду... Прошла минута, две, пять — ничего... Переместил удочку. Еще примерно столько же посидел, с волнением ожидая, как живой толчок желанно отдастся в руке и поведет в сторону леску. И снова тихо. Ни малейшей поклевки... А между тем мелочь какая-то, скорее всего, окуньки, кормилась почти поверху, разводя небольшие круги на воде...

Примерно через полчаса Николай понял — рыбалка не получилась. Да, на Яркуле так: если первые пятнадцать — двадцать минут клева нет, то и не будет. Когда клюет, то в этих местах рыба как с ума сходит — делает это жадно, почти беспрерывно. Можно, конечно, по верхней воде пустить поплавок и потаскать окунишек для ухи или... (он усмехнулся) для отчета перед батей. Только что это за окунишки верховые? Так, мелочишка.



День распушался, наливался светом, цветом, силой и жарой. Николай не расстроился из-за клева, вернее, его отсутствия, потому что с самого начала знал: если бы ехал именно за рыбой, то двинул бы, конечно, на Петраки. Но Яркуль хотелось увидеть, Яркулем подышать. Он давно за собой заметил: если за лето ни разу в своем любимом озере не искупается, не порыбачит именно здесь, то и лета как будто не было. Даром прошло.

Закрепив удочку, стал осматриваться по сторонам уже более вцепчиво, вбирая в себя славный денек, бережно опуская его в сердце, чтобы навсегда запомнить. Знал, вынется оттуда этот денек когда-нибудь посреди зимы, вынется разноцветным подарком озерно-степной родины, и легче ему будет переживать промозглую серую городскую стынь.

#### 4.

Стало припекать. Николай зачерпывал из-за тонкого борта озерную влагу, умывался солоновато-сладкой водой и постепенно, по мере того как становилось все жарче и жарче, раздевался. Скоро вообще остался в одних плавках. И этому тоже был рад — так сложилось лето, что почти не выезжал никуда, не загорал и не купался. А тут — такое солнце среди воды!

Было тихо-претихо. Ни малейшей ряби. Скоро Николай понял, что на такой жаре долго не высидит, и хотел было уже выбрать якорь, плыть к берегу, но потом решил прямо здесь, посреди озера, искупаться.

Он выпрыгнул из лодки в светло-зеленую мятную прохладу и стал плавать вокруг «раскладушки». Наплававшись почти до изнеможения, до забытой приятной ломоты в плечах, подплыл к лодке, стал

влезать в нее с кормы. И... сердце встрепенулось и сжалось от неожиданного всплеска страха: ничего не получалось. Легкая, разборная, из военного дюраля лодка так наклонялась, что могла перевернуться или зачерпнуть воды.

«Спокойно, Колька!» — приказал он себе и попробовал влезть в нее теперь уже с борта... Он делал одну попытку за другой, хотя мысль, стремительно скакнув вперед и обогнав все его неуклюжие действия, напомнила и предостерегла: в эту лодку с воды влезть нельзя. И ведь он знал, знал это, но забыл. Забыл, что если лодка пустая, пусть даже тяжелая и деревянная, с борта в нее, когда ты на воде, забраться трудно, почти невозможно... А тут ведь — скорлупка!

«Да не трусь ты, тварь!» — попытался он грубостью к самому себе перебить страх.

И снова обплыл лодку, пробуя забраться в нее с разных сторон. Бесплезно... Лодка опасно кренилась и не принимала его к себе. Сердце разгонялось, и где-то глубоко-глубоко в нем словно кто-то подскуливал от страха...

Он не сдавался. Отдыхал, придерживаясь за корму, а противная тошнотворная лихорадка паники начинала заполнять душу. Но пока был там еще и запас надежды... Был. Николай понимал: до берега не доплывет. Полтора километра для него — это много, тем более что силы он уже изрядно потратил на купание... Взглянул в сторону суши... Ох, далеко! Там, отсвечиваясь зеркальной искоркой от хромированного ободка фары, обозначал себя мотоцикл, как бы призывая: «Вот же я, совсем недалеко, чего ты там возишься?»

«Нет, не доплыву», — снова подумал он. И одновременно с этим пришла мысль-подсказка, что нуж-

но толкать лодку. Попробовал. Но якорь (для него он специально выбрал во дворе небольшое, но тяжелое чугунное колесо от какой-то старой тележки) крепко удерживал «раскладушку» на одном месте.

И вдруг кто-то (вот кто в такие моменты это делает?) будто бы заорал, разрывая ему уши: «Выбирай якорь, дурак!!!»

Он схватился за толстый капроновый шнур, на котором сидел якорь. Но выбрать смог только метра полтора-два, дальше — уходил под воду вместе с тяжелым грузом. Снова, зацепившись одной рукой за корму лодки, другой подребая, отдышал...

Тут-то его, теперь уже всего, без остатка, и накрыло паникой. «Всё! Всё! Всё! — билось в голове. — Навсегда! Навеки! Меня уже не будет! Никогда! Вообще никогда! Но почему? Зачем? Помоги, помоги, я прошу Тебя!»

И в это время он совершенно неожиданно, как-то сверху, то есть совсем сверху, с невероятной высоты, увидел себя... Как будто взмыл в небо вместе с мартынами, лениво кружащими над лодкой. А потом и выше их... И оттуда разглядел, вобрал все в один взгляд: и ядовито-купоросную толщу воды, и пустую лодку, и вмиг выцветшее предательское равнодушное небо, и протыкающий его насквозь черный кружок мучительного солнца... а под лодкой, в самой глубине, — да на дне же самом! — какую-то тень. Неясную, но понятную до жути... И еще одно вдруг резко и отчетливо всплыло в сознании, причем тоже сразу, одной законченной картиной, с самыми мельчайшими подробностями... И как будто кто-то другой, еще сидевший в нем, удивился: как много вошло в это мгновение! Разве так бывает? И Николаю показалось, что солнце захохотало вверху...

## 5.

Тогда тоже стоял август. Только самый его конец. Он, студент, с тощим рюкзаком приехал с вокзала, прямо с поезда, на улицу Овражную, где снимал квартиру в Новосмирновске. До чертиков не хотелось туда. Но там лежали его вещи, книги, а кроме того он задолжал хозяйке за квартиру. Это было самое неприятное: уезжая на месяц в стройотряд, он не заплатил ей (да и не было денег) и не предупредил. Получилось, будто сбежал.

Настроение было на нуле, потому что в стройотряде почти ничего не заработал. А рассчитывал на это. Думал, родителям немного поможет деньгами и себе зимнее пальто с ботинками купит. Ага, помог! Да еще сдуру на обратном пути присоседился к парням из своего института, решившим не самолетом лететь в Новосмирновск, а ехать поездом. Мол, страну посмотрим, почти через весь СССР проедем. Парни подобрались бывалые, кое-чего уже вкусившие в жизни, остроумные, из тех, кто в институт поступил после армии, то есть старше Кольки года на три, а то и на пять лет.

Как только сели в вагон, комиссар отряда Мишка Екатеринкин сразу же в ресторане заказал ящик пива. И поехали... А ехать нужно было почти трое суток. Ну не будешь же зажиматься, когда все сбрасываются на вино или на пиво. Кольке запомнилось, как в Новосмирновске на вокзале кореец Тэн, тоненький робкий мальчишка с физмата, виновато глядя на всех из-под жесткой челки черными, что расплавленный битум, глазами, просил пять копеек на троллейбус, чтобы добраться до дома...

Сманил Николая в Тольятти, где строился Волжский автозавод, институтский комсомольский се-

кретарь Петька Лапин — его земляк. Правду сказать, сманил не деньгами. Так получилось, что Колька на первом курсе по глупости остался без общежития и без стипендии. Про стипендию родителям соврал, будто получает. Лапин пообещал, что после стройотряда похлопочет за него в ректорате. Нажмет на то, что стройка всесоюзная, комсомольцы на ней — авангард молодежи, так сказать, будущее страны, гордость институтов, ну и так далее. Сказал, что есть какое-то постановление, в котором значится: если студент был в стройотряде, то место в общежитии и стипендия гарантированы. Петро, так на украинский манер его почему-то звали в институте, хотя он имел латышские корни, был парнем толковым, напористым и убедительным. Кольку он не подвел.

Встречая стройотрядовцев на вокзале (получалось, что специально из-за Кольки и приехал), Лапин предупредил Дунаева, чтобы тот через два дня был в ректорате. И этим немного приподнял настроение Кольке. Общежитие нужно было позарез. Не всегда получалось вовремя платить за квартиру. Ну какие подработки на первом курсе, когда ты чешься в городе, как слепой? И перед отцом с матерью было стыдно. Да так, что иногда, просыпаясь ночью, думал: «Чего вот вцепился в этот институт? Раз не получается, надо собираться и мотать домой. Там работы полно. И по домашнему хозяйству, и в совхозе. А потом армия или техникум какой-нибудь...» Но светлое утро разгоняло невеселые ночные мысли, настраивало на другой лад. И он пересиливал себя.

Родители высылали ему двадцать рублей. Десятку отдавал за комнату, а на десятку пытался жить. Спасали картошка, капуста и сало, за которыми он, когда сильно прижимало, делал набеги в свое село. Вот и получалось, что не только последнюю копейку

из семьи тянул, но и продукты. А в затылок дышали еще три брата. И не просто дышали. Вскоре они, один за другим, окончат школу и, конечно, по его примеру начнут выбираться из деревни... Пока же они на него, на старшего, смотрели с восхищением. Почти как на героя — он же первый во всем их роду поступил в институт! Только герой-то оказался с дырой. Без общежития, без стипендии...

А ведь многие мальчишки именно так пробивались к большой жизни. Шестидесятые годы не только взбудоражили города, но всколыхнули романтикой (а было ли в какой-нибудь стране еще такое?) деревенских ребят, ринувшихся в институты и техникумы за профессиями новыми, невиданными. Это была большая отливная волна из деревни, не вернувшая назад выпускников с привычными для сел специальностями учителей, врачей, агрономов, сельских механиков. Теперь рвались в геологи, в энергетики, в строители, в журналисты... Да много еще куда.

## 6.

Колька поступил в традиционный для их деревни институт. В педагогический. Правда, тоже как будто с особым прицелом. В семье он считался книголюбом, грамотность была врожденная, в школе удавались сочинения, стишки пытался писать. В семье, где у матери было четыре класса образования, а у отца пять и «шестой коридор», как он сам шутил, смотрели на это с изумленной настороженностью. Еще больше этой настороженности добавлял знакомый, Семен Лютиков, мужик противный и недалекий. Ему отец вязал сети, и он чуть не каждый день ходил к Дунаевым проверять, как идет дело. Отец уже и не рад был, что с ним связался, говорил: «Вот

это я утворил так утворил. Сам на себя накинул мерёгу... Когда уж и выпутаюсь из нее? И главное, взял эти дурацкие десять рублей наперед. Да еще и потратил сразу. Вот что нужда делает! Хоть по ночам теперь вяжи...»

Лютиков обычно, завидев Кольку за книгой, обидно «подсевал», сокрушенно качая головой: «А этот все читает? Ох, смотрите, как бы не зачитался он у вас... Будет потом дураком на всю жизнь...»

Об учительстве Николай тогда и не помышлял, а вот о газетном деле задумывался, смутно догадываясь, что это такое. Особенно когда в деревню привезли шумевшее кино «Журналист». Оно засело в нем, тревожа будущими надеждами. И певец Владимир Трошин из алюминиевого репродуктора-колокола, висевшего на столбе около клуба, чуть не каждый день подробно объяснял бархатным баритоном, что нужно делать «...Ради нескольких строчек в газете». Николай и представить тогда не мог, что через много лет будет брать интервью у любимого, постаревшего, но еще колоритно-вальяжного, певца... Да и фронтовик дядя Вадим добавил интереса к загадочной и заманчивой профессии. Обычно на гулянке, когда уже были спеты и «Катюша», и «Враги сожгли родную хату...», и бесконечная «Ревела буря», и особенно любезные для местных жителей протяжные украинские песни, дядя Вадим ударял кулаком по столу и в абсолютной тишине пел не совсем близкое и понятное для деревенской родни:

От Москвы до Бреста  
Нет такого места,  
Где бы не скитались мы в пыли,  
С «лейкой» и блокнотом,  
А то и с пулеметом  
Сквозь огонь и вьюгу мы прошли...

Пел он в полном одиночестве от начала и до конца. И никто его не перебивал. Почитали земляки буквально изодранного ранениями дядю Вадима. Когда его в 1946 году привезли из госпиталя домой (ходить он тогда еще не мог), то некоторые, увидев на застиранной гимнастерке старшины Вадима Дунаева девять нашивок за ранения, сначала усомнились, бывает ли такое. Пять желтых — за тяжелые. И четыре красных — за легкие. Оказывается, бывает. Выживает степной сибиряк, пропущенный даже через самую невообразимую мялку. После его первой бани в родимой деревне мужики, тоже крепко хлебнувшие фронтовой мурцовки, старались привечать гвардии старшину Дунаева сниманием фуражки, а бабы, остановившись, долго смотрели вслед мило-сердно-скорбными глазами, наполненными русской жалью... Наверно, зрелище в бане было настолько бьющим по сердцу, что не выдержали и поделились мужики со своими женками. С тех пор, поскольку в деревне было два Вадима, одного стали звать Вадя-конюх, а Колькиного дядю — Вадя-война...

...Так вот, дядя Вадим допевал эту песню всегда до самого последнего слова, потом мотал головой и плакал. Абсолютно трезвый. Что удивительно, не пил он после войны совершенно. Поначалу мужики, зная его довоенный загульный пыл, спрашивали:

— И что, Вадя, прямо совсем тебя к ней не тянет?

Он щурил свои серо-желтые ястребиные глаза и отвечал:

— Да вы что, хлопцы, я теперь и так все время как пьяный. Вы посмотрите, что кругом-то!

Тут его не всегда понимали.

В песне Колька потом разобрался, сообразив, что она про военных журналистов. Два момента только смущали. Что с блокнотом корреспондент — ясно.



Но зачем ему лейка на войне? Что поливать? А еще одно место было и вовсе мутным: «...напикапидраном и с одним наганом»? Ерунда какая-то. Дядя Вадим позднее объяснил, что к чему. И про фотоаппарат-«лейку», и про ободранную военную машину пикап. Поговорили они об этом у костра, на рыбалке, куда его с ночевкой взял дядька. Тогда же старый фронтовик ему неожиданно вдруг сказал:

— Тот, кто эту песню сочинил, про меня рассказ написал.

— Да ну? — удивился Колька. — Про тебя рассказ?

Он тогда учился в девятом классе и уже знал, что «Песенку военных корреспондентов» сочинил Константин Симонов — учительница литературы говорила.

— Покажешь рассказ?

Дядька задумался, будто что-то высчитывая, потом пообещал:

— Ладно, тебе покажу, заскакивай через пару дней.

Когда Колька пришел к нему, тот сидел за столом на кухне, ковырялся в старых замках. Был он в своем неизменном полувоенном пиджаке с двумя медалями. Одна — серенькая, с будничным, непраздничным блеском — «За отвагу». Другая — медно-желтая с профилем Сталина — «За Победу над Германией...»

Колька давно хотел спросить, почему он носит только эти две медали. Спросил.

— Так они же самые главные.

— Как?! А ордена? У тебя же и Славы, и Красной Звезды, и Отечественной войны, и других медалей еще целая коробка...

— Те тоже важные, но эти — главные.

Спорить с дядькой Николай не стал. Запомнил только, что тот ему сказал. И поинтересовался:

— А где рассказ-то?

— Сейчас покажу. Только ты не сильно болтай про него. Я не люблю этого.

— Ладно, ладно, показывай.

Дядька, глядя на него поверх стареньких круглых очков, погрозил пальцем, мол, не спеши, потом достал из шкапчика, прибитого к стене, старую красноармейскую газету за 1943 год. Осторожно, аккуратненько развернул. Показал пальцем. На второй странице, в самом низу, в уголке, была напечатана небольшая, строчек в сорок, заметка «Подвиг сибиряка». В ней сообщалось, как командир саперного взвода старшина Вадим Дунаев под непрерывным огнем немцев со своими подчиненными восстанавливал мост через реку. Как несколько раз срывался и падал в воду. (А стоял в это время ледяной ноябрь.) Как тяжело раненный «оставил крайне важный объект» только когда по мосту пошли машины с орудиями и танки.

Читая заметку, Колька сто раз, конечно, бросил взгляд на подпись. А там стояло: «Константин Семенов». Эх, ошибся дядя Вадим... Колька хотел было сказать ему об этом, но невольно произнес совсем другое:

— Интересный... рассказ...

— Правда? — оживился дядька и засмеялся. — И я так думаю... Хоть и про меня написано. Вот вроде маленький рассказ, а все в нем есть, и все правда. У нас во взводе еще и про Серегу Сербяева, он из Щегловска был — это Кемерово сейчас, тоже писали. На полгазеты почти рассказ... А там такое, что он потом прятался от всех. Стыдно было.

— Плохое, что ли?

— Да оно и не плохое, а хуже плохого. То, чего не было... Серега все встретиться с этим писателем хотел — морду набить. Еле успокоили. Потом... и сам успокоился. В Польше схоронили. Я место запомнил.

Из Прокопьевска приезжал лет десять назад его брат. Рассказал ему — где.

— А знаешь, почему про меня рассказ такой хороший и правильный?

Колька видел, что дядя не похвастаться хотел, а донести до него что-то совсем другое.

— Ну?

— Не только потому, что человек известный писал. А потому, что умелец... А каждый человек при своей работе должен быть умельцем... Хоть печник, хоть летчик. Скажешь, нет? И здесь так же... Один вот — писатель. А другой — болтун.

В общем, Колька разуверять его ни в чем не стал. А чуть позднее уже и не мог. Тем же летом дядя Вадим умер. На сенокосе. Присел под копну передохнуть на легком ветерке, томно пахнущем подвядшим донником, задремал и уже не проснулся. Так и улыбался полдня с закрытыми глазами в сенокосном раю. Пока не хватились.

Первым его увидел Вадя-конюх. Тоже фронтовик, потому сразу и понял, что дядя Вадим не спит, а умер. Позвал других. Стояли, смотрели. Ни заполошных криков, ни причитаний. И правда, будто спит. Такой спокойный, хороший. И лицо как-то посветлело...

Вадя-конюх сказал:

— Отмучился гвардии старшина Дунаев. На последней скорости жил в последнее время... Торопился... А может, его и не надо тревожить? Вон как ему сейчас... Почти как на небе...

Ругались потом на Вадю-конюха:

— Ишь чего удумал...

— Совсем ополоумел около своих коней...

— И не говори... С ними-то, — дальше шепотом, — все разговаривает, разговаривает... Как будто они понимают. Что они, люди ему, что ли?

— А все, милая, война... И ему ведь досталось... Конфузия вон какая была... Полгода не слышал и не говорил... Слава богу, отмяк организм...

На похороны Колька не приезжал. Поздно сообщили. Ему рассказывали, что отец пришел на кладбище с большим свертком из мешковины. Когда прощались, развернул ее, вытащил двустволку и выстрелил в небо дуплетом.

— Ты что это вытворяешь, Андрей?! — всполошился и зашикал на него оторопевший председатель сельсовета.

— Это салют, Палыч. Брат же не только фронтовиком был, еще и охотником... А там, — он показал на небо, — уже целый строй стоит, нас поджидает, вот я и сообщил, что Вадим идет...

Он попытался улыбнуться синевато-бледным осунувшимся лицом, бросил в яму, куда мужики опустили красный гроб, комок слипшейся в руке глины, отпечатавшей натруженную ладонь, и пошел с кладбища, никого не дожидаясь, напрямую через поле, припадая на искалеченную войной ногу. На поминках его не видели. Не смог, наверно, прийти. В тот день как раз задождило. По-деревенски — хорошая примета для тех, кто совсем уходит. Но в такие дни у старого Дунаева ногу так выворачивало от боли, что он кричал во сне. Кольке потом передавали, что председатель к ним домой милиционера присылал. Ракитина. Разбираться из-за салюта. То ли специально так сделал, то ли совсем бестолковым был, но это выпало как раз на девятый день после похорон. Ракитин нормальным мужиком оказался. В общем, достал отец бутылку белой, и они помянули дядю Вадима. Потом Ракитин и сам за бутылкой сбегал...

По поводу поступления в институт Николай посоветовался с учителем немецкого и истории Францем Ивановичем, которому доверял. Тот разъяснил: «В нашем областном Новосмирновске журналистов не готовят, а в другую область шансов поступить мало. Иди в педагогический. Там на филфак парней берут охотно. И образование для журналиста подходящее. Таланту и способностям все равно нигде не научат, а грамотность всегда пригодится».

Вот и двинул Колька в пед, правда, при поступлении не все вышло так, как надо...

Была еще одна причина, из-за чего он рвался в общежитие. Прожив зиму на съемной частной квартире в самом трущобном месте Новосмирновска, Дунаев такое там встретил, такого нахлебался, что решил: если с местом в общегаге не выгорит, бросит ко всем шутам институт и уедет назад в деревню.

Его отдельная комната в частном доме выходила в общий продуваемый и холодный коридор, откуда можно было попасть сразу на улицу, а по лестнице — на чердак. Но и топить эту отдельную комнату тоже приходилось самому. Дровами и углем. А они хранились в скособоченном, кое-как сбитом из горбыля сарайчике, чудом прилепленном к овражному склону метров на двадцать ниже дома. К нему нужно было почти непрерывно расчищать тропинку от снега, а также следить, чтобы вороватые соседи не тащили оттуда припасы. Самое поразительное, что умыкатели его угля, коих он пару раз прихватывал около сарайчика, тут же бросали мешок и сокрушенно разводили руками: мол, как это меня угораздило попасться? И уходили, не оглядываясь, не убыстряя и не замедляя шага. А через денек, завидев на тро-

пинке Кольку, издалека кричали: «Эй, мужик, ты мешок-то отдай!»

Зима в тот год выдалась такая свирепая, что не приведи господь. Морозы по ночам до пятидесяти доходили. И посередке этой лютой холодины, в начале января, за неделю перед первой сессией развалилась у Кольки печь. Вдруг посыпались кирпичи и забили топку. Долго он потом вспоминал, как в задымленной комнате вынимал кирпичи, обжигающие руки, выгребал золу вместе с не прогоревшим до конца углем и выносил на улицу. Как долбил ночью склон оврага, пытаясь из-под снега добыть с полведра промороженной, превратившейся почти в железобетон глины. Потом ждал, когда она отгает (печь-то не работала), потом разводил ее ледяной водой... А стены комнаты между тем затягивала и затягивала игольчатая, сверкающая по углам изморозь...

Да ладно, справился, дело-то мужицкое. Когда поздний рассвет выбелил обмерзшие окна, печка загудела, задышала благодным теплом, и вскоре чугунная плита раскалилась до рдяного цвета. На лекциях Толя Ястребков (они сидели всегда рядом), поэт, писавший уже тогда свои густометафоричные стихи, все принимался к нему:

— Дунаев, от тебя несет, как от паровозного депо. Ты что, в кочегарке калымишь?

— Почти, — неопределенно улыбаясь, ответил ему Николай, потом уронил голову на скрещенные на столе руки и впал в полудрему, сквозь которую пробивался тонкий дребезжащий голосок преподавательницы зарубежной литературы:

— ...Пауза, разделяющая строку гекзаметра на две части, называется цезурой... Существует миф, что слепой Гомер сочинял свои стихи на берегу Эгейского моря под шум волн... Приходила волна, рожда-

лась половина строки, потом краткий перерыв, набегала другая волна, сочинялось еще полстроки...

«Им там хорошо, — качался в полудреме на волнах античного гексаметра Колька, — у них там море. Все время тепло... Холодов никогда не бывает...»

Потом зима стала слабнуть, растворяться в туманах. Овраг зашевелился в оттепелях, освобождаясь от снега. Ручей, тоненькой мокрой ниткой едва обозначивший себя летом среди зарослей, вдруг норовисто забурлил и превратился в мутную и быструю реку. Вода в ней по ночам гремела весело, переливчато, наполняя лог непривычным шумом. Колька с удивлением и в первый раз так подробно стал рассматривать округу. Особенно его поразило, насколько здесь другая жизнь, чем наверху, в городе. А ведь этот овраг проходил почти через центр Новосмирновска. Он считал как-то — всего тридцать пять ступенек отделяло Овражную от Главного проспекта. С последней, верхней ступеньки он делал шаг на асфальтированный тротуар и сразу оказывался в другом мире. Там пестрой волной по обеим сторонам улицы шли люди. Веселые, улыбчивые. Шелестели троллейбусы, рассыпая желто-синие искры над своими щупальцами-рогами, перемигивались трехцветные светофоры. По вечерам празднично загорались в многоэтажках окна. И все разные, в зависимости от цвета штор и абажуров. Синие, розовые, оранжевые...

А тут, внизу? И не город, и не деревня. Обшарпанные, десятилетиями не ремонтируемые дома. С оббитыми ветрами и метелями наружными стенами. На них черными ребрами сквозь желто-коричневую глину проступала грубая обрешетка. Серые крыши, кое-как залатанные рубероидом, выгоревшим на солнце, подчеркивали, что хозяева — народ здесь

временный и им плевать на устройство своего быта. В этих домах крепкими и прочными были только ставни. Их с вечера наглухо закрывали и закручивали изнутри на болты, стараясь делать это так, чтобы свет через щели не пробивался наружу и не привлекал внимания. Обыватель на Овражной жил бедовый, отчаянный и не в меру любопытный. После заката овраг тревожно и настороженно дышал в сплошной темноте. Правда, по закону невезения, а Колька точно знал, что таковой существует, именно на его двух окнах ставней не было...

## 8.

Через некоторое время он понял, что ему просто не повезло с квартирой и с местом, где она находилась. Однажды Толя Ястребков зазвал Кольку к своей родне на край города, к деду с бабушкой. Переночевали. На второй день помогли старикам вскопать грядки и пересадить из низинки яблони, вымокавшие от долгой весенней воды. К вечеру Толин дед затопил баню, да так раскалил ее, что Дунаев, как и все в его семье любивший и умевший париться, стонал и охал под хлестким березовым веником:

— Вот так! Вот так! Е-мое! Ну и парная! Аж уши в трубочку!

А дед равномерно бил себя по бордовой спине, сладостно кричал и пошучивал:

— Инструмент свой, хлопцы, берегите! Не ошпарьте! Он вам еще ох как нужен будет.

Потом сидели под навесом, накинув на плечи полотенца, остывали, пили смородиновый чай с медом и со всевозможными вареньями в зеленых стеклянных вазочках. И бабушка все подвигала и подвигала их под Колькину руку. А когда небо напи-



талось густым фиолетом и сквозь него проявились нежными цветами весенние звезды, душа у Кольки переместилась в почти неземную благодать — так это все напомнило ему родительский дом.

Позднее он взгляделся, вчувствовался в ново-смирновские предместья и полюбил их, с ухоженными дворами, с тихим размеренным укладом жизни. Вот где нужно было снимать квартиру! Привязали его сердце к себе спокойные уютные улочки с голубятнями и садами. Они приманивали цветущей черемухой и сиренью, рябиной и яблонями. Сады эти были наполнены застенчивыми горлицами, виртуозными варакушками и другим разнопевным птичьим народцем. Когда Колька жил уже в общезжитии и тоска по дому подступала к горлу так, что не продохнешь, он садился на трамвай и катил сюда, на край города. Здесь подолгу ходил вдоль чужих домов. Зимой по рассыпчатому скрипучему снегу (в городе разве услышишь этот русский деревенский скрип?), осенью по ласково шелестящим листьям. А весной — по еще не твердо утоптаным, но буквально на глазах просыхающим тропинкам. И всегда вспоминал в это время маму. Она обычно говорила: «Весной ведро воды и всего ложка грязи, а осенью прямо канитель: ложка воды, зато грязи целая бочка». При этом слово «целая» она произносила так: «Це-е-е-лая». Вростяжку.

Он радовался, если получалось приехать сюда в морозный субботний денек. Казалось, что снег в это время особенно чист и опрятен. И запах у него даже как будто был. Один из самых его любимых, деревенских. Так чудесно пахнет, оттаивая, занесенное с крепкого мороза в жарко натопленную избу белье. И в каждой ограде — дым над банькой. Высокий, веселый. С легким березовым, чуть горьковатым духом

по всей улице. И хотя эти улочки и сами дома все-таки отличались от родных, степных, выбеленных подсиненной известкой, — душа умиротворялась.

## 9.

А в доме на Овражной стало совсем худо. Именно к весне как-то все враз и проявилось. Теперь в коридоре после полуночи беспрерывно хлопала дверь. В хозяйкиной половине, у Зинки, что-то звенело, внезапно взлетала и также неожиданно обрывалась музыка, доносились густые мужские голоса с южным акцентом и притворный заискивающий женский смех, иногда переходящий в истерический плач. В коридоре Кольке стали попадаться полуголые пьяные девки. Удобства-то были общими. На улице, в деревянном сортире.

Как-то одна из них наскочила на Кольку (он не успел проскользнуть к двери), прижала к стенке и стала сноровисто и умело расстегивать ему ширинку.

— Чернявенький, — с водочным придыханием шептала она, — нравишься ты мне. Не закрывайся сегодня... Приду...

И ведь стучал кто-то ночью в дверь.

Потом один из южан с черными, закрывающими почти все лицо усами, встретив Кольку в злополучном коридоре, зацокал осуждающе языком и гортанно заклекотал:

— Нэхарашо, дарагой... Даже савсэм нэхарашо. Пачиму нэ заходышь? Хазяку абыжаешь... Нас абыжаешь ... Нэхарашо... Захады. Вино ест, дэвушки ест. Пакушать мала-мала фрукты, хлэб-мяса тоже ест.

Другой из них же, усы как под копирку, только лысый, уговаривал:

— Слюшай... На адын ночь можешь мне твоя комната дать? Нада... Благодарить потом буду. Хочешь, Катю пришлю?

И увидев на Колькином лице недоумение, смешанное со страхом, звонко ударил внешней стороной ладони о другую, сердито, но вполне искренне воскликнув:

— Вай мэ! Что за люды, а? Им харашо хочешь дэ-лать... Не панымают...

По отдельным фразам, по обрывкам разговоров Колька догадался, что загульные набегии на хозяйкину половину делали официантки и их клиенты из кафе «Радуга», что было неподалеку на Круглой площади.

Потом южане исчезли. Но тут же другая напасть прилипла. На скамейке, что стояла под его окном, повадились выпивать алкаши. Он попытался убрать скамейку и не смог. Она была глубоко вкопана в землю. И хозяйка заворчала: «Не ты ставил, не тебе ее и убирать. Что они тебе, мешают?»

Мешают?! Да они просто житья ему не давали, когда он находился дома! Каждая новая компания тарабанила в окно и просила стакан. То есть культурные были, едри их мать, из горлышка пить дешевый красный вермут не могли. Все бы ничего, но компании эти за день беспрерывно менялись, гомонили, спорили, иногда затевали драки. И так до самой ночи. А кто и ночевать оставался тут же, на этой самой скамейке, а чаще рядом с нею. Колька урезонивал их сначала, потом кружку алюминиевую повесил на гвоздь в стене, чтобы только в окно не стучали. Бесполезно. Кружка на второй день исчезла, а в расхлябанную раму, дребезжащую теперь стеклами, так и продолжали колотить, прося стакан или «ну хоть кусочек хлеба, чтобы занюхать».

Однажды его так довели, что он выбежал под окно с топором. Трое ханыг опешили, глядя на него с пьяными, добродушно-непонимающими улыбками:

— Ты чо, мужик? — почти радостно удивился высокий веселый парень в потрепанной ондатровой шапке, хотя на улице вовсю кипел май. — Обиделся, чо ли? Нам Зинка сказала, что у студента всегда стакан найдется. Мы не хотели, гадом буду... Мы и ее не обижаем, бутылки пустые всегда оставляем, как договаривались... А ты, если выпить... так мы за стакан всегда плеснем.

Как и большинство алкашей, были они, в общем-то, людьми незлобивыми, но так надоели Кольке, так издергали его, что хоть волком вой.

В начале июня, когда он готовился к экзаменам, услышал ровный требовательный стук в наружную дверь. Взяв на всякий случай молоток, злой-презлой выскочил из своей комнаты в коридор. Хотел было уже отодвинуть засов, но что-то сдержало.

— Кто и чего надо? — резко и напористо спросил Колька.

— Сова, ты? Это Пека. Открывай, базар есть.

И было в этом голосе такое, что Колька испугался. В нем звучала не только сила, но и какое-то укрепощенное чувство вседозволенности и абсолютная презрительно-равнодушная уверенность в том, что тебе все должны подчиняться. И полное, ледяное отсутствие страха.

— Нет здесь никакого Совы, — ответил Колька, машинально отмечая, что толстая дверь и засов выдержат любой напор, и в то же время понимая, что такой не будет ломать дверь. Не снизойдет...

— Не мни полянку, Сова, и не коси, я тебе не баклан, — раздалось из-за двери. — Скажи, где Генка Пешеход?

— Я не Сова... И не знаю никакого Пешехода, — еще раз возразил Колька тому, кто за дверью, а сам подумал: «Да где же эта чертова хозяйка, ведь она-то точно что-то знает!»

— Короче... Академики из крытки интересуются, куда вы дели Генку Пешехода? Я передал...

И после паузы:

— А ты зря не открыл... Ты же горячее не любишь есть? Не любишь? Да? Сова?

И тишина. Колька бросился к себе в комнату и, когда распахнул дверь, увидел в окне за стеклом лицо человека, который, сощурившись после солнца, с неживой усмешкой пытался рассмотреть что-то в комнате. Да лучше бы не видел Колька этого лица с замороженными глазами!

А через пару дней загорелась рубероидная крыша их дома. Еле потушили. Колька был в это время в институте. Вернувшись с занятий, увидел вокруг дома толпящийся народ, вверху пожарку и протянутый от нее вниз длинный брезентовый шланг-рукав. Тут и услышал обрывок диалога, из которого кое-что стало ясно. Хозяйка разговаривала вполголоса с какими-то двумя мужиками. У обоих на руках были наколки, которые показались Кольке смешными. Одна: «Не забуду мать родную», вторая: «Не бойся Танька — это я».

— Ты на кого думаешь, Зинка? — спрашивал у хозяйки тот, кого не должна бояться Танька.

— Хрен его знает. Пека, говорят, недавно откинулся. У него вроде с Совиным были рамсы попутаны... Совин ведь у меня жил. Но он давно был не при делах. И уже год, как его зарыли. Опился. Он же не просыхал. Неужели Пека не знал про это?

— А студентик твой?

— Да ну... Самый обыкновенный... Теленок... Для отмазки и держу, чтобы менты не докапывались.

Как не хотелось идти Кольке в этот опостылевший дом! Он почти и не был потом там. Когда сдавал сессию, ночевал у Толи Ястребкова. Иногда — у его добрейших стариков на окраине города. А позже, узнав, что из Степновки на пригородную станцию переехали жить родственники — дядька Валентин с тетушкой, — у них. А тут как раз подошло время ехать в Тольятти, или, как его тогда чаще называли, Ставрополь-на-Волге.

## 10.

Когда он приехал с вокзала на Овражную, вернувшись из стройотряда, то надеялся, что хозяйку там не застанет. Ключ у него был, и он думал, что потихоньку соберет свои вещи, оставит деньги, которые задолжал, напишет записку, в ней извинение, как говорится, последнее прости-прощай, и — подальше, подальше отсюда! А с паспортом, вернее, с выпиской позднее разберется. Но ему не повезло. Прямо на спуске к дому (надо же, как будто специально поджидала!) стояла, подбоченясь, хозяйка.

— Ага! Явился, не запылится! — завелась она с ходу. — И денег не платит, и вещи не забирает, а я из-за него квартирантов не могу пустить. Ты что, совсем обнаглел?!

И понесла... И понесла...

Кольке было стыдно, что орала она на улице, как бы специально привлекая к скандалу соседей. Тут и так на душе было муторно. И из-за неудачной поездки в стройотряд, и из-за неопределенности с общением (куда теперь идти ночевать?), и из-за накопившегося напряжения от паскудного житья в этом овраге. В стройотряде вроде прошла эта тревожно-нервная натуга, рассосалась, но тут разом вспомни-

лась, и навалились муть и грязь прошедших холодных месяцев. И у него вдруг вылетело:

— Да заткни ты свое хайло! Разоралась!

И добавил страшное, грешное и непонятно откуда возникшее:

— Отдам я тебе сейчас деньги. И уйду сегодня. Не до тебя! У меня и так вон... отец умер.

Он обошел мгновенно замолчавшую хозяйку, открыл свою дверь и стал собирать вещи. Сердце билось быстро и неровно, руки крупно подрагивали. Скрипнуло. На пороге стояла хозяйка. Она смотрела на Кольку недоверчиво, подозрительно:

— Ты, конечно, извини, Николай... Жалко, если отец-то... Ты же не шутишь? А если шутишь, смотри... Нехорошо это так говорить. Я проверю. Телеграмму дам твоим... И тогда смотри... Нехорошо это...

И вышла.

Колька изо всей силы стал бить кулаком по спинке кровати. Да что же это такое! Как у него вырвалась эта дикая несуразность? Что вот теперь делать?

До него стало доходить, что он натворил. Он представил, как на почту в Степновку придет телеграмма... И какая? Что в ней будет? В деревне моментально закрутится сплетенная карусель. У него буквально в глазах встало: отец держит в руках голубой казенный бланк, читает, оглядывается кругом (он всегда так делает, когда ему что-то непонятно), потом с удивлением смотрит на мать, стоящую рядом с тревожными глазами, и подает ей почтовую бумажку.

В душе он не верил, что хозяйка пошлет в деревню телеграмму. Это ведь надо идти на почту, платить деньги. Ради чего?

А если пошлет? Эх, если бы не встречаться больше с ней! Но ведь еще один раз как минимум придется, чтобы забрать паспорт после выписки. Он

вспомнил, как перед самым отъездом в стройотряд сцепился с хозяйкой, когда та сказала, что на следующую зиму ему самому придется покупать уголь и дрова. Он бы, наверно, смолчал тогда, потому что уже знал: жить здесь больше не будет ни за что. Но после ее слов «Это не в вашем колхозе жить на всем готовом» буквально взвился:

— Да в моей деревне!.. Да я знать не знал в моей деревне, что есть такие гадюшники! — и в запальчивом озлоблении выложил все, что накопилось за зиму. И про распутных девок из «Радуги», и про алкашей, и про гортанно-горластых южан. Только про Сову и Генку Пешехода умолчал.

И столько в его словах было тошнотворной брезгливости, неприятия того, что он видел, с чем столкнулся, что Зинка буквально ощутила его дикую неприязнь. А ему и хотелось, чтобы она поняла: он совсем другой, по сравнению с ней и теми, кто живет на этой их несуразной Овражной. Где-то в нем почти неслышно предупреждающе звенела тоненькой-претоненькой мушкой мысль: говорит он неправильно, не то. Но не остановило его тогда это предупреждение, не остудило.

Он понял — это продолжение начатого тогда спора-разговора, только теперь в нем появилось незримое Зинкино преимущество: вот, мол, и посмотрим, кто из нас кто. Мы, хоть и грязные и низкие, но такими вещами не шутим.

Кольку буквально колотило, когда он собирал свои вещи в рюкзак. Оставалось только одно — срочно ехать домой и предупредить отца о возможной телеграмме. Он прикинул: можно успеть обернуться туда и назад и быть вовремя на заседании комиссии в ректорате, где решится судьба с его местом в общезжитии.



Его поезд шел ночью. Правда, тащился этот «сто веселый», как называли его в округе, до нужной станции двенадцать часов, а там еще надо было ехать на попутке восемнадцать километров. Но это решалось просто: началась уборочная, из Степновки на элеватор и обратно должны ходить машины. В такое время и руку-то поднимать перед ними не надо. Шоферы обычно сами останавливались и спрашивали: «Тебе куда?» А если кто по глупости предлагал плату за проезд, обижались. Вот тогда-то как раз могли и не подвезти да еще послать в такие кудрявые дали, о которых кое-что подзабывший о родных краях попутчик-земляк и не представлял.

В поезде он почти не спал. Так, задремывал минут на десять — пятнадцать, и в этой полудреме иногда мелькало, словно сладкий посул, что все это сон... Но тут же тревога толкала в сердце, будила, он вскидывался и, моментально окунаясь в явь, мыча что-то нечленораздельное, шел в тамбур курить.

После одного из Колькиных перекуров его попутчик, худенький старичок, который сидел у окна, спросил:

— Чего маешься, сынок? Кто-то из родственников?..

И остановился, не договаривая.

— Нет, хуже...

— Хуже? — удивился старичок, и в глазах его мелькнуло что-то недоверчиво-острое и в то же время тревожно-жалостливое.

— Ну, спаси Господь, спаси Господь...

В это время поезд остановился на большой узловой станции Татарская. Здесь состав стоял долго, почти час, электровоз меняли на тепловоз. Дальше электрической тяги не было. Железнодорожная ветка в этом месте причудливо изгибалась, и локо-

мотив теперь ставили впереди вагона, который до этого был последним. Когда состав трогался, то создавалась полная иллюзия, что поезд отправился назад. Колька как раз ехал в последнем вагоне, и тот оказался около каких-то складов. Здесь горел всего один фонарь. В его свете он увидел, что идет дождь. Мелкий, морозящий, как здесь говорят, обложной. То есть разошедшийся надолго.

«Твою-то досадушку!» — заругался мысленно потцовски Колька. Если дождь идет и в их районе, то добраться до Степновки будет непросто.

Он глядел на фонарь, качающийся во мраке, и ощущал в желтом огне такое сиротливое одиночество, такую грусть, что впору было заплакать.

Потом это сопровождало его всю жизнь: когда он на каком-нибудь полустанке видел горемычно раскачивающийся от ветра фонарь, пробивающий своим дрожащим светом дождь или снег, то враз наваливалась необъяснимая тоска одиночества. И сразу же вспоминал отца и ту нелепость, какую тогда сотворил.

В его райцентре, конечно, шел дождь. Колька давно заметил: если уж не везет, то невезение это отсыпается ему полными пригоршнями.

В автобусе, что шел на окраину городка, спросил у кондукторши про дождь:

— И давно он?

— Да уж третий день льет, — словоохотливо сообщила та. — Позавчера как зарядил, так и шпарит без остановки. За городом — просто ужас! И главное, только-только уборка началась, а хлеба стоят, а хлеба! Аж звенят.

На «Мельнице» попросил притормозить. Так называлась на этом конце городка остановка, откуда вела дорога к Степновке. На самом деле никакой

мельницы здесь давным-давно не было, мало кто и помнил ее. А вот название сохранилось. В этом месте асфальтовая цивилизация заканчивалась.

Сойдя с автобуса и не останавливаясь у бетонной трубы, проложенной под трассой, где обычно приезжие дожидались попуток, он пошел по грязной дороге в деревню. Знал — машин не будет. По-прежнему моросило. По раскисшим солонцам сейчас можно было проехать только на тракторе. Он прикинул, что доберется до поселка часа за четыре. Если сразу же развернется и пойдет назад, то как раз успеет к вечернему поезду. Идти было непросто. Грязь налипала на подошвы. Приходилось часто останавливаться и счищать ее. Он хотел было спуститься с высокой, разбитой колесами дороги на траву и пойти напрямик через степь, но сообразил — по дождю этого делать не следует. Трава отсырела, а значит, он моментально вымокнет до самых колен. Вот сапоги бы сейчасгодились. Да не до сапог было.

Все это он отмечал как бы автоматически, походя. Мысли крутились вокруг одного: почему все-таки он сказал так про отца? Разве нормальные люди такие вещи говорят? И ведь он не думал, не готовил эту фразу, она вырвалась как бы сама собой. Выходит, сидела в нем где-то внутри? Но для чего же она произвольно выскочила? Да и так ли уж произвольно? Вот легко — это точно. Может быть, все-таки для того, чтобы разжалобить хозяйку и смягчить скандал из-за долга? Ну это уж совсем ерунда получалась... Или для того, чтобы себя как-то необычно представить в хозяйкиных глазах? Мол, деньги — тьфу, когда у нас здесь такое, но разве тебе, Зинка, это понять?.. А какое «такое»? Это же не просто вранье. Это... это... как бы отказ от отца... Ну ладно, в

глубоком детстве случается, когда мысленно разжалобливаешь себя: «Ага, меня никто не любит, я никому не нужен, никто со мной не разговаривает, вот умру, тогда все узнают, какой я был хороший, тогда-то уж все пожалеют». Или: «Вот умрут у меня папка или мамка, сразу все поймут, какой я одинокий, как мне плохо, и станут со мной дружить и играть». Став взрослее, Колька расспрашивал дружков-сверстников, бывали ли у них в детстве такие мысли, или он действительно какой-то задвинутый. И с облегчением узнал, что почти все проходили через это...

Хорошо... Такие мысли для сопливого несмышленища как-то объяснимы... А сейчас?..

Размышлял бы он об этом теперь, мучаясь, если бы Зинка не придумала про телеграмму?

Еще старичок этот, с которым ехал, не выходил из головы. Почему он на него так странно посмотрел, что подумал? И Колька, пока шагал, понял, что... Он даже остановился посреди дороги, когда догадался. Стоял, подняв голову к небу, остужая ее, дождь сыпался на его, как казалось Кольке, раскаленное лицо, и ему было страшнее, чем тогда, когда он увидел в окне замороженные глаза Пеки. Да, точно! Худенький старичок подумал, что он кого-то убил. А что еще может быть страшнее смерти близких? Только это. Он сказал хозяйке, что отец умер. И, выходя, мысленно похоронил его. Разве это не то же самое, что мысленно убил?

И тут его прорвало:

— Тварь! Тварь! Тварь! — орал он сквозь слезы на себя. А иногда поднимал голову и просил: — Простите! Простите меня! Батя, прости!

Небо по-прежнему дождило и было равнодушно к маленькому человечку, мучившему себя среди непролазной сибирской хляби.

Он подходил к деревне, и впервые за все время, когда приезжал домой, не было ничего в душе, кроме опустошающей тревоги. Ни малейшей радости, ни приподнятости, ни того волшебного волнения, какое каждый раз будоражило его при виде знакомых улиц, палисадников, маминых мальв, качающих бордовыми головами до самого снега, высоких березовых роц, разбросанных по поселку.

Дождь закончился.

Отца он разглядел издалека. Тот стоял около ограды и тесал топором доску — подновлял забор. Увидел Кольку, обрадовался и засуетился.

— Вот это да! А мы и не думали и не подгадывали с матерью, что приедешь... Ты как добрался-то? Ведь ни проехать ни пройти... Пешком, что ли?

Он прислонил доску к воротам, положил на лавочку топор, отряхнул стружки с брюк, протянул руку. Они с отцом всегда так здоровались. Не обнимались, даже если долго не виделись. А за руку.

— Ну, чего мы стоим? Ты проходи, проходи...

Отец двинулся к калитке, открыл ее.

Николай перебил:

— Пап! Мне прямо сейчас назад надо.

— Назад?

Отец удивился, встревожено посмотрел на сына, на его красное воспаленное лицо.

— А что случилось?

— Да, в общем-то, ничего, — сказал он и чуть не взвыл от этих своих нелепых и несурзных сейчас слов. — А мамка где?

— Как где? На работе, на птичнике.

— Ты ей не говори, что я приезжал... Ладно? Хотя нет, это не получится...

— Да что случилось-то?

— В общем, пап, если придет телеграмма, что ты умер... Вернее, спросят в ней, умер ли ты, ничего не отвечай. Это ошибка. Так и на почте скажи: ошибка.

Молчали. Долго молчали. Отец смотрел на него серо-голубыми, ничего не понимающими глазами, а он... А он хотел умереть в этот момент.

Потом отец как-то странно хмыкнул, так же странно — одной стороной лица — улыбнулся и спросил:

— Так я не понял, сынок, я умер или не умер?

— Батя, я сказал, как надо... Прости, я пошел, — и подал отцу руку.

Рука у отца была ледяной, неживой.

Переходя через дорогу, пересекающую родную поляну, Колька оглянулся. Отец стоял, растерянно свесив руки. Калитка по-прежнему была открыта. Вот что делать? Вернуться, подбежать к нему и все объяснить?

Не вернулся, не подбежал...

## 11.

...Николай сам не понял, как впрыгнул из воды в лодку. Именно впрыгнул, а не забрался или перевалился. И сколько ни силился позднее восстановить именно этот момент — не мог. Будто он как-то взвился в воздух, взлетел — и оказался уже там. В небе над ним издевательски хохотал мартын. Лодка изрядно зачерпнула бортом воды, и он, выкинув из банки червей, стал лихорадочно вычерпывать воду.

Вычерпал. Достал нож, одним взмахом обрезал шнур у якоря, вставил в ключины весла и резкими рывками погнал «раскладушку» к берегу. И греб даже тогда, когда весла стали цепляться за песчаное дно и лодку можно было уже давно тащить волоком

по воде. Потом долго сидел, раскачиваясь, как шаман, на песке, и непонятно было — то ли всхлипывал, то ли смеялся.

Проезжавшим мимо него парням на мотоцикле, наверно, что-то показалось необычным. При торможении. Один из них крикнул:

— Эй, рыбак! У тебя все нормально?

Но Николай, продолжая раскачиваться и глядя мимо них куда-то в пространство, жалобно протянул:

— Ага-а, обрадовались, припелерлись, когда я уже утонул...

— Ты чего, мужик, кто утонул?

Потом засмеялись, и тот, кто спрашивал, заключил:

— С горя, наверно, набрался. Клева-то нет сегодня...

## 12.

Впервые за много лет отпуск у Николая пошел не так, как всегда. Это сразу же заметил старый Дунаев. И чем больше наблюдал за сыном, тем больше удивлялся. Николай, который обычно безвылазно пропадал на озерах (в первой половине отпуска на рыбалке, а потом на охоте), теперь будто приклеился ко двору. Ходил квелый, задумчивый. Брался дрова колоть — две чурки расколет, потом остановится и полчаса в небо смотрит. В околок поехал за ветками для березовых веников, вернулся, сел под навес около дровяника, штуки три связал и тоже бросил. И это тогда, когда его любимая рыбалка была в самом разгаре! Мотоциклы рыбаков по ранним утрам и поздним вечерам так и тархтели по всей улице. Почти в каждом дворе вялились на веревках, прикрытые

марлей от мух, пластаные подъязки и чебаки. Заманчиво попахивало дымком от коптилен.

Старик не любил лишний раз лезть к сыну с расспросами, но тут не выдержал:

— Ты не заболел?

— Вроде нет, — как-то странно и хмуро ответил Николай.

— А чего дома киснешь? На озерах-то, знаешь, что сейчас творится?

— Да не тянет что-то...

Сказал это и взглянул на отца. И старый Дунаев, увидев в глазах сына пепельную пустоту и боль, оторопел, произнес растерянно:

— Вот так дела...

— Ты о чем, батя?

— Да так, — рассеянно ответил тот и ушел, прихрамывая, под свой любимый навес, где что-то всегда мастерил и где у него был заветный закуток, там обычно он уединялся, чтобы посидеть, подумать...

Через день все и объяснилось. Вернее, почти все. После обеда старый Дунаев, насадив тямки на черенки, пошел отдохнуть в свой закуток под навесом. Сидел. Думал о Николае. Поднял голову и вздрогнул — тот стоял напротив.

— Ну ты даешь! — сказал он. — Напугал ведь...

Николай как будто не слышал его.

— Батя, я вот что хотел сказать: прости меня за то, что ты тогда как будто умер...

Отец всполошился.

— Ты о чем? Кто умер?

— Ну, помнишь, я пешком приходил... Когда студентом был. Я хозяйке тогда сказал, что ты умер, телеграмма могла прийти... Прости, батя...

— Фу ты, напугал как, в раздосадушку-то твою! Ты, Колька, полегче, старый ведь я уже. Что было



тогда, уже травой заросло... Забыто давно. Ты чего это вспомнил? Чего придумал? Пойдем вон лучше у матери попросим по сто грамм, да посидим, да выпьем... Давно уж не сидели...

И посидели. И выпили. И вроде поговорили. Но понял старик, что-то так и застряло в Николае за-таенное. И оно продолжало мутить его душу. Что? И нужно ли это делать — понимать и лезть к человеку, если он этого не хочет? Даже если он твой сын. А скорее, наоборот — потому что он твой сын.

В закутке своем отец стал сидеть теперь чаще. А через пару дней объявил Николаю:

— Собирайся, поедем сетешки бросим на Водопойном.

— Не, батя, не хочу...

— А я говорю, собирайся, — повторил отец таким тоном, каким он говорил ребятишкам только в детстве, когда просил что-то выполнить беспрекословно. — А то точно обижусь. Мне там лодку мою деревянную нужно вытаскивать из камышей в резь. Не по силам уже... Поможешь. Да и мать карасиков просит привезти, поджарить хочет. И свою раскладную захвати. В моей тесно вдвоем будет.

На озеро приехали под вечер. Пахло камышом и водой. Запах воды на мелких озерах был совсем другим, чем на Яркуле или на Чанах, — пресным и терпким. Над противоположным берегом, пронзительно покрикивая, кружились чибисы. Солнце начало скатываться за далекую гриву. Николай в болотных сапогах прошел по рези, куда показал отец, отыскал его лодку. Стояла она не в камышовой крепи, из которой обычно трудно выдергивать лодку, а на воде. Он потянул за цепь, и плоскодонка легко заскользила по узкому лабиринту среди тростника. Никаких

особых усилий для этого не требовалось. Понял: слукавил зачем-то батя.

На берегу отец сказал:

— Лодку-то свою чего не собираешь?

— А может, батя, в твоей поместимся?..

— Чего тесниться, если она есть? Две сети я брошу, а две из своей лодки ты, вот и некуда деваться карасю будет.

Поплыли. Отец, стоя в своей лодке, отталкивался от илистого дна длинным шестом-пёхой. Стоял он в лодке крепко, уверенно. В таких деревянных лодках главное — чувствовать центр тяжести и обладать особым даром равновесия.

Сам он плыл на этот раз не совсем уверенно и даже несколько неуклюже.

Отец заметил это. Его лодка шла впереди.

— Ты чего, Колька, боишься, что ли? Здесь же мелко, всего метра полтора-два.

И точно, подумал Николай, чего это он так напрягается, озеро-то неглубокое. Понимал — сдвинул в нем что-то Яркуль, и он теперь никак не может освободиться от тревожной напряженности.

Поставили сети, выплыли на берег. Отец подошел к небольшой копешке прошлогодней соломы, сел на нее, позвал Николая.

— Теперь так, — сказал он, — с часик посидим, потом я сплаваю, сколько там попалось, вытащу, думаю, как раз будет на ужин, на жареху, а утром уже приедем к основному улову.

И совершенно без всякого перехода спросил:

— Ты что, Колька, тонул, что ли, на этот раз в Яркуле?

И, как будто не заметив, как вздрогнул Николай, продолжил:

— Вот и тебе, елки-моталки, довелось такое. Но тебе-то ладно, ты плавать умеешь, а я, представь себе, вырос на воде, всю жизнь на озерах да в лодках (у меня ведь какое-то время прямо так и профессия называлась — охотник-промысловик), а плавать, хочешь верь, а хочешь не верь, не умел. И сейчас толком не могу. Когда молодой был, да вот такой же, как ты сейчас, прихватила меня падера на Чану. Мы тогда на полуострове в Новорозине жили. Озеро около него глубокое было, не то что сейчас. Я проверил сети и возвращался назад. До рези, что вела к деревне, метров триста всего оставалось. А тут как дунуло, как начало колотить! А я же с грузом, с рыбой, да еще сети на дне лежат снятые. Лодка большая, тяжелая, полубаркас. Ветер дул в сторону камыша, то есть в сторону деревни. Думал, повезет, буду рулить веслами, и меня отнесет туда... Где там! Не удержал. Развернуло меня боком к ветру и как шарахнуло волной! Лодка и перевернулась... Хорошо — не набок, а вверх дном, а то бы сразу каюк... И оказался я под ней. Да еще по башке днищем ударило. Как это я умудрился вцепиться в скамейку, не понимаю. Держусь. Слава богу, в сетях не запутался, они были смотаны и правильно увязаны, так что сразу потонули. Темно, но воздух есть. Около лица рыба снулая плавает. А я же одетый, и меня прямо отрывает от скамейки, одежда на дно тянет. Стал раздеваться. Повезло, что болотные сапоги закатаны были. Их я сумел скинуть. Штаны одной рукой пришлось срывать. Сорвал, причем вместе с кальсонами. Стало полегче. Лодку култыхает, куда-то несет. Ничего не видно. Иногда только, когда борт приподнимет волной, уцеплю глазами, что вода кругом и больше ничего. В голове одно — чтобы баркас на бок не положило. Я и кричу, и плачу, и матерюсь, и

Богородицу вспоминаю, про которую мне моя мамка рассказывала. И вот, думаю, кто-то ведь услышал. Вдруг стало тихо, стало качать уже не так сильно. Руки — ну прямо отнимаются. Я голову из-под борта высунул и сообразил: лодку пригнало под самый камыш, причем рядом с резью. Ну, думаю, тут уж надо выбирать. А как? Плавать-то не умею. Вывернулся из-под лодки, кое-как затолкал ее в резь, уцепился в том месте, где корма, ногами бултыхаю, так и продвигаюсь к берегу. Перед берегом заводь небольшая, а на самом берегу наши стоят: мать, братья и соседи, видели же, что буря, знали, что я на рыбалке, беспокоились, ждали. А я, когда уже мелко стало и дно почувствовал, иду, а ведь без штанов, и не могу руками срам прикрыть, говорю же, руки одеревенели. Мама с берега кричит: «Ондрий, сынку, та как же тобі нэ стыдно, ты что же, так голий и тонул?! Да дайте же ему кто-нибудь штани!»

А все и хохочут, и радуются.

Для чего-то вот такое в моей жизни было. Для чего? Я тебе скажу, для чего. Это я потом понял. На войне я почти так же тонул. На Волге. Я тогда тоже за лодку уцепился, когда ее вверх дном перевернуло, а два паренька от нее в стороны бросились. Плавать они не умели... А я, видишь, выжил...

### 13.

Разжалась душа у Николая после поездки с отцом на Водопойное озеро. Повеселел. За два дня все дрова переколот. Больше трех тонн угля стаскал в углярку. Навязал веников для бани, развесил их на чердаке. Съездил в лягу, нарубил ракиты, наделал из нее метел, изладил для красоты плетешок в летней беседке и даже сплел корзину матери под куриные яйца.

Дня за три до отъезда Николая в город отец, выйдя на рассвете во двор, увидел, что сын укладывает в мотоцикл снасти для рыбалки.

— О-о! — сказал старый Дунаев.

— Батя, даже не продолжай, — засмеялся Николай. — Дальше я знаю. По-иностранному это называется дежавю. Сейчас скажешь: «И куда, если не секрет?» Не секрет, батя, не секрет. На Яркуль. Хочу еще раз там посидеть с удочкой...

— Так это... Ветерок сегодня будет... Несильный, но целый день.

— Ох, батя, опять шаманишь? Снова предсказываешь? А рыба, рыба-то будет?

— Рыба? Рыба будет, сынок...

— Тогда я поехал, придержи ворота.

Отец пошел к воротам, задумчиво приговаривая: «Рыба-то будет, куда ей деваться?»

Он заметил, что на этот раз Николай взял вместо «раскладушки» резиновую лодку, надувную.

Денек был так себе. Как пишут синоптики, переменная облачность. Солнышко то выглядывало из-за облаков, то снова пряталось. Но облака были приветливые, не дождевые. А с ветерком батя угадал, поддувал он с озера на берег. И, действительно, несильный. Для волн слабоватый, а для крупной ряби — в самый раз. Николай высыпал в воду прикорм и только опустил леску, как ее сразу повело, потянуло вниз. Он подсек, почувствовав приятную тяжесть, и первый крупный серебристый подъязок забил хвостом по дну лодки. Он вытаскивал одну рыбу за другой, а сам уже знал, что не за этим приехал. Совсем не за этим. Легкий ветер продолжал дуть в сторону берега. Николай разделся и ощутил прохладу. Оно и понятно, август на излете. Илья-пророк, согласно поверьям, извините уж, вон когда, еще в начале меся-

ца в водичку пописал. Дескать, хватит, покупались, пора заканчивать лето, это вам не юг.

Он выбрал якорь, отметив по узелкам восьмиметровую глубину, и аккуратно положил его в корму. Потом попробовал рукой воду за резиновым бортом. Да, не июльская. Схулиганил, скрутив фигу пролетающему над ним любопытному мартыну: «На вот, выкуси!» — и... нырнул.

Николай плыл вслед за резиновой лодкой. Подталкивал и догонял, снова подталкивал и снова догонял. А когда стало мелко, потянул ее за капроновую бечевку, бормоча батину присказку: «Не отпадет голова — прирастет борода...» И еще: «Подумаешь, полтора километра... А мы это сделали спокойненько, без паники... Мы же не под деревянным баркасом...»

Пока плыл, на берег почти не взглядывал. А тут посмотрел — еще один мотоцикл стоит около его «Урала» и какие-то люди. Интересно, кто? Подошел ближе — вот тебе на! Батя с соседом Бастрыкиным. Разговаривают, улыбаются, его ждут.

— А чего голяком-то, сынок?

— Да, нормально, батя, искупаться решил, когда еще придется? Да и не совсем я голяком: трусы-то на мне.

И они рассмеялись.

Отец немного погодя сказал:

— А мы вот с Гришей решили стариной тряхнуть, тоже с удочками посидеть. Ты как? Лодку-то свою дашь мне? Мы ненадолго, часика на полтора. Подождешь?

Уплыли. Их лодки удалялись, уменьшались. Только голоса их были слышны долго. Звук хорошо передается по воде. А тут еще и ветер с озера. Они плыли рядом, переговаривались о чем-то, смеялись. Николай смотрел им вслед. «Надо же, поми-

рились», — думал он. Хотя как не помириться? Оба фронтовики и воевали, отец говорил, где-то рядом. Но что интересно, на рыбалку вместе никогда не ездили, а ведь прожили по соседству больше двадцати лет. И тут до Николая дошло. Мама ты моя! Так ведь это из-за него они приехали! Отец, видать, здорово переживал дома, вот и уговорил Бастрыкина съездить, посмотреть, как там он. А остальное, про рыбалку, старики придумали.

Николай сел на коляску мотоцикла и все смотрел и смотрел на едва различимые, теперь превратившиеся почти в точки лодки с родными людьми. И повторял:

— Ох, какие же вы... Ох, какие...



## ПОКУРИТЬ НОЧЬЮ

Сашка Грамотин, совхозный бригадир, среди ночи вставал, чтобы покурить. Жена ругала его за это нещадно, но он ничего поделывать с собой не мог. Осторожно поднимался с постели, накидывал что-нибудь на себя и шел во двор под навес с дровами. Сидящий на цепи кобель Байкал глухим басом влаивал пару раз для порядка в темноту: мол, все вижу, все слышу.

— Молчи, предатель, — презрительно отзывался на это всякий раз Сашка, устраиваясь у поленницы.

Предателем Байкал стал после того, как проспал мотоцикл бригадира — его угнали местные хулиганы. Мотоцикл потом нашелся в Куликовском околке, но репутация Байкала была испорчена.

— Для чего же я тебя, такого балбеса, выкормил?! — приговаривал на второй день Сашка, стегая прутом кобеля. — Что же ты, падла, за сторож такой? Тебя же самого украдут и обдерут на унты.

Байкал даже не скулил, понимал — виноват.

С тех пор у Сашки и установился по ночам такой разговор с кобелем. Тот выдавал себя сначала бдительным сторожем, но после бригадировых слов влаивания его становились осторожными и просительными, дескать, прости, хозяин. Потом пес долго и грустно возился в конуре. Он помнил прут из ракиты.

Сашка догадывался: его перекуры по ночам — это ненормально, вредно. И, как мог, боролся с собой.



Просыпаясь от нестерпимого желания покурить, он внушал себе: «Не пойду, пересилю, что уж я, совсем слабохарактерный, что ли?» Он лежал в призрачной темноте и смотрел на окно. Сквозь плотную штору тускло просвечивала лампочка, мотаясь на столбе. У стены ровно дышала жена.

И вдруг ему вспоминалось, как обычно закуривает бригадный учетчик Ванька Натоков. Ванька, ударяя ногтем по доньшку голубоватой пачки, выщелкивал тонкую папироску «Севера», громко продувал картонный мундштучок, потом крепко закусывал папиросу в зубах и прикуривал. При этом первые две-три затяжки делал с жадным привсхлипом.

Сашка вздыхал, переворачивался на другой бок, и сразу же ему представлялось, как дядя Паша Пухтин развешивает для просушки табак. Он нанизывает табачные листья на суровую нитку и прикручивает ее к двум столбикам под специальным навесом. Тут же, на широкой лавке, стоит деревянное корытце с толстым дном и эмалированный таз, наполовину наполненный терпкой буро-зеленой сечкой.

— А попробуй, Сашка, моего, — говорит дядя Паша, смешно шевеля желтыми усами, и протягивает ему горсть табаку.

Сашка в темноте раздувал ноздри, принохиваясь. Ему казалось, что в комнате потянуло струей крепкого, ни с чем не сравнимого табака от дяди-Пашиной самокрутки. Он матерился про себя, осторожно спускал ноги на половицы настывшего пола и тихонько, чтобы не загремели в сенках ведра, выбирался на улицу к заветной поленнице...

Однажды он заметил, что не сразу после того, как покурит, идет в дом. С полчаса, а когда и больше, постоит, послушает ночь, посмотрит на небо.

А были иногда ночи диковинные и все разные, непохожие одна на другую. Каждую весну он слышал, как летят с юга птицы, и поражался, что летят-то они, в основном, ночами. Начиналось это, когда сходили с полей снега. Ночи в это время волглые, тревожные. Кажется, вся природа шевелится в томлении и ожидании, и какая-то легкая тревога разлилась по всей округе. Она в новых звуках замерзающих ручьев, во вздохах оседающего снега, в будоражающих, уже не зимних запахах, волнами наплывающих с полей. И вдруг — знакомый и почти забытый за зиму звук в вышине: «Ковк! Ковк! Ковк!»

Сашка много раз слышал этот птичий призыв в небе и спрашивал у отца, старого охотника:

— Батя, это кто по ночам кричит?

— Да гагары это, Санька.

Но Сашка заметил — уверенности в ответе отца не было. Кто знает, может, старик и сам всю жизнь мучился этой загадкой. А может, и не мучился вовсе, не нужно ему это было. Батя у бригадира был мужик причудливый, себе на уме.

Сашка удивлялся, что по ночам постоянно открывал что-то новое. Ведь не пацан уже. За тридцать. Всю жизнь прожил в деревне. Как же не замечал раньше то одного, то другого? И правда, не замечал. Вот и этой недавней ночью он сначала даже не понял, что птицы летят. Как-то внутренне, в один момент почувствовал — в сырой темноте что-то переменилось. Будто кто-то накрыл небо плотным одеялом. Оно, это одеяло, было живым, шевелящимся, издающим разнообразные звуки. И этому шороху, шепоту, шелесту крыльев вместе с невнятицей гортанных доисторических голосов, казалось, не будет конца и края.

Утром Сашкин батя подтвердил:

— Птица пришла на озера. Рано нынче.

— Ты что же, не спал ночью?

— Почему не спал? — Отец воткнул топор в осиновый чурбак — он насаживал в это время вилы и лопаты на черенки.

— А откуда знаешь?

Старый Грамотин передвинул жаркую шапку со лба на затылок, посмотрел в небо, потом перевел взгляд на заканчивающуюся скирду сена. Она стояла сразу за огородом, а за ней была уже степь. Еще серая, грустная.

— Это и так ясно... Жалко, Санька, ты не охотник. Хочешь, скажу, где сейчас птицу можно посмотреть? Думаешь, она вся на озерах? А мне вот и ехать не надо, знаю. Дорога на Чистоозерку сейчас залита, так они на ней, как суворовцы, рядами сидят! Не веришь? А ты поезжай, посмотри, потом расскажешь. Да не болтай никому, птица сейчас глупая, доверчивая, а дурак с ружьем всегда найдется.

Через несколько дней Сашка на мотоцикле поехал к Сопатому озеру. Дорога была еще не крепкой, грязной, и «Урал» то и дело заносило на высокой, насыпанной из глины грунтовке. Сама же степь хоть и блестела огромными, сверкающими на солнце лужами, но быстро просыхала и кое-где уже зеленилась травой. Околки были полны воды. Тонкие березовые ветви приобрели тот коричневато-розовый цвет, который бывает только раз в году — тогда, когда лопаются на деревьях почки и леса покрываются серо-зеленой дымкой. Обычно после этого падает на Кулундинскую степь короткая, яростная весна. Падает жарким обвальным солнцем, переливчатым стоном жаворонков в поднебесье, коврами пестрых цветов под гривами и призрачным маревом, в котором плавают и причудливо изгибаются белые дома соседних сел.

Сашка знал, как обманчивы ранние весны в Кулунде. Случалось, на деревьях уже полный лист, весь скот на выпасах, и вдруг налетит падера: снег с дождем, страшный ветер. Завоет степь, накроется страшной круговертной пеленой, такой, что белого света не видно. И через сутки уже не поверишь, что вчера сидел в ограде в одной майке и вязал сеть. Кажется, зима никуда и не уходила, и только сжавшиеся под снегом в комочки зеленые листья напомнят об отступившей весне.

В этом году батя сказал Сашке, что весна будет спокойной:

— Птица, Санька, не дура, она знает, когда лететь... — И после паузы добавил: — Хотя всякое бывало.

Эти добавления иногда злили Сашку: без них отец, конечно, не может. И думай потом, как к этому относиться.

Сашка осторожно спустился на мотоцикле с гривы, притормозил и, заглушив «Урал», поставил его на обочине. Все было так, как сказал отец. Сопатое озеро разлилось в сторону яра и перехлестнуло через дорогу, ведущую на Чистоозерку. И не просто перехлестнуло. С другой стороны, пожалуй, теперь тоже целое озеро, а значит, с месяц дорога будет непроезжей. Только сейчас, когда заглох мотоцикл, он услышал сдержанный гомон птиц. Их было много не только на озере, но и на дороге, как и сказал старый Грамотин, действительно, чуть ли не рядами сидела птица. Так близко и так много дичи сразу ему еще не доводилось видеть. Здесь были гуси и даже штук шесть лебедей, а всевозможных уток — не счесть. И кряковые, и шилохвости, и связы, и гоголи, и разномастные чернети, и чирки, и серые... Почему они выбрали это место, дорогу? Грелись на ней, подби-

рали какие-то камешки? Сашка решил спросить об этом у отца. И еще одна странность: не было тех ликующих звуков, громкого гогота, кряканья, который оглушает в середине мая на озерах, заполненных дичью. Слышна была какая-то невнятная разноголо-сица. Словно птицы устали после долгого пути и те-перь о чем-то грустно, вполголоса переговаривались. Поразило бригадира, что они его не боялись. Осенью и на сто шагов не подпустит тебя утка, не говоря уж о гусях — чутких и сторожких птицах. А тут почти и внимания не обращают. В общем, убедился Сашка: не соврал батя...

Как-то в начале мая он курил у своей редующей поленницы, смотрел на небо. Там, казалось, не было и кусочка свободного пространства, не занятого звездами. Сашка вел головой от одной стороны небосвода к другой, вбирал глазами россыпи светил и шалел от непостижимой красоты и непонимания всего этого. Неужели эта бездна, как учили в школе, бесконечна? И как это понять — бесконечность? И почему эта красота видна только ночью, когда люди спят? Значит, не для людей? Для кого?

И тут услышал голоса. Они доносились из-за его сараев. Сашка забеспокоился. Туда он недавно перевез остатки сена. Не дай бог, пацаны курят — сожгут. Он уже хотел было покричать им, когда явственно различил — один голос женский. Сашка прошел через денник в сарай. Там было окно в огород, через которое он выбрасывал наружу навоз. Оттуда и хотел пугануть влюбленную парочку. Тоже, нашли место для свидания! И остановился. Понял по голосам — не малолетки это. Взрослые. Женский голос звучал по-корно и грустно:

— Уже десять лет мы с тобой так вот, Коля... Тяжело так, крадучись, жить. Не обижайся. Раньше

надежда была, что будем вместе. Теперь понимаю, тебе так лучше, удобнее было. А сейчас? Чего уж людей смешить... У нас с тобой сыновья уже вон какие, о девках думают...

— Да ты что? — мужчина попытался обидеться, но сквозь эту деланную обиду пробивалось раздражение. — Знаешь ведь, мать у меня больная, уйду — ей конец. Да и с пацаном беда... Говорили ведь об этом не раз.

Сашка как-то сразу про себя отметил: «А Коля этот — сволота». Он силился по голосам узнать односельчан и не мог.

Женщина возразила Коле:

— Матушка твоя, Коля, дай бог ей здоровья, уже лет пятнадцать болеет. Такие долго живут. Да и не в этом дело. Ты со своей — все вместе да рядом. В одном же дому и хозяйстве крутитесь. Не верю я, что у вас ничего не бывает. И как нарочно: в клуб — под ручку, в магазин — под ручку, на гулянку — под ручку. И все мимо моих окон. А мне вроде как обеды достаются...

— А мне не обеды? А у меня по-другому?

Сашка понял, что такой разговор у тех, кто сидел сейчас у него на сене за сараями, наверно, первый. А Коля продолжил:

— Я, между прочим, с твоим вместе работаю. Так он замордовал уже: моя Нюрка и такая, и эдакая, и вот какая! А однажды ляпнул: «Мне при моей Нюрке ни другой бабы, ни любовницы не надо, всех заменит!» Это мне было как слушать? А ты — под ручку я хожу, видишь ли. А я, что, должен бить ее? За что? Она-то в чем виновата?

Нюра устало согласилась:

— Это точно, они не виноваты. Мы виноваты во всем. И себя измучили, и их. Да и жить все время

в обмане — сил уже нет. Как будто тяжесть какую ношу с собой. Последняя это наша встреча, Коленка. Нельзя так дальше.

Женщина заплакала.

— погоди, Нюра, подожди, — голос у мужчины изменился. Он стал мягким, заботливым и тревожным. — Почему последняя-то? А как же я?

И Сашка понял по этому изменившемуся голосу, по особым ноткам — любит он Нюрку.

Сашка не хотел дальше слушать. Стыдно было. И на душе стало маотно, нехорошо.

Шагая на следующий день на ферму, он думал о вчерашнем разговоре за сараями и все никак не мог сообразить, кто же это был. Колек да Нюрок в селе хватало. И к кому бы он ни прилаживал этот ночной разговор за сараями — ничего не сходилось. «Во страсти! — думал Сашка. — Похлеще, чем в кино. И главное, не где-нибудь, а в деревне! Десять лет крутить любовь, и чтобы никто не знал — это уметь надо!»

А скоро, так вышло, кончились Сашкины перекуры по ночам.

Верка, его жена, пошла как-то в магазин за продуктами и, как всегда, купила Сашкиных сигарет — «Примы». Продавщица, пересыпая ярко-красные пачки в Веркину хозяйственную сумку, заметила:

— Твой, смотри, тоже курит как ненормальный.

— Не говори, — Верка стала жаловаться, — поверишь, среди ночи встает и идет на улицу курить. Дома-то я не даю. Так ему и мороз, и дождь — все одно. Лишь бы покурить. В любую погоду идет.

— Среди ночи, говоришь? — продавщица усмехнулась. — Мой-то тоже курит, да так, что спасу от его дыма нет. И тоже, было, прилажился на улице курить, правда, не по ночам, а по вечерам. Я золу как-то раз выносила, слышу — около гаража нашего «ха-ха-ха»

да «хи-хи-хи». Я — туда. А там девки Тоскуевы и мой, вроде как курит, стоит... Ну я ему быстро табак подмочила! Так что ты смотри, Верка, ох, смотри...

Через несколько дней копали землю под грядки в огородчике. Верка, не отрываясь от лопаты, вдруг сказала Сашке:

— Ты это... По ночам кончай блукать... До утра он потерпеть не может! Еще неизвестно, с кем ты там куришь...

Сашка остановился, с удивлением глянул на Верку, соображая, к чему она это сказала, потом понял, плюнул и, с силой воткнув лопату в землю, ушел из огорода. Противно стало. Ходил, злился и не понимал, чего это на нее нашло.

К вечеру остыл, успокоился. Докопал грядки и даже успел сколотить рассадник под помидоры. Этой же ночью, проснувшись, хотел было потихоньку встать с постели и вдруг услышал:

— Куда? — Жена сидела на кровати, и хотя в сумеречном свете лицо ее было видно плохо, Сашка понял: смотрит на него.

— Ты чего, Вера, встала? Ночь еще. Я покурить.

— Не ходи!

— Да ты что, в самом деле?

— Не ходи, или вместе пойдем.

— Мать твою за ногу, ты что, сдурела?! — Сашка вспомнил разговор, когда они копали грядки, вспылil и выскочил во двор.

Сигарета никак не раскуривалась. А когда все-таки сделал первые затяжки, показались они ему кислыми, невкусными. Подумал: «Все, откурился...»

Сырой ветер бросал в лицо то ли снежную крупу, то ли дождь. Звезд не было видно. Двор в серой сумерке выглядел неуютно. Сашка швырнул со злостью окурочок на землю и пошел в дом.



После этого он стал жить обычной жизнью. Курить вообще перестал. Как отрезало. Днем только иногда, словно видение из другого мира, вспомнит, как гуси в ночи летят, или представит усыпанное звездами небо. И кажется, совсем наяву услышит звонкое пение весеннего ледка под ногами. Только в марте да под утро он так звенит. Или — как вспыхивают июльские зарницы. И много еще чего. Постоит, покачает головой, сам себе улыбнется. Знает — рядом все это. Ночью.

И начнет стучать по карманам, ища сигареты. А там — пусто. И снова покачает головой...



## ЯСНОЕ МОРЕ

*Покос.*

*Самая прекрасная, самая  
трудная, самая певучая пора.*

Василий Шукшин.  
«Вот моя деревня...»

### 1.

— На-ри-на-ра-на-ри-на-р-а-а...

Это Иван Коршунов едет по степи на водовозке и поет. Он сидит впереди огромной деревянной бочки, благостно щурится на ласковое солнышко и тоненько тянет свой мотив. Мягко и дробно стучат колеса брички. Два здоровенных коня с широкими лоснящимися спинами размеренно трюпают по проселку и без всякого понуждения сворачивают там, где нужно. Жеребьятами, рядом со своими матками, они оббежали эту степь вдоль и поперек и теперь знают, куда едет и чего хочет этот добрый рыжий мужик.

Солнце поднимается выше, припекает. Щелкают в траве перепелки, зудят кузнечики. Жаворонками, кажется, заполнено все небо, и на невероятной высоте, под самым солнцем, словно кто-то переливает из края в край тонко журчащее серебро.

У Ивана на душе то сладостно-тревожное состояние, какое бывает у человека, когда он возвращается после долгого отсутствия в родные места. Искупалась, истомилась душа по желанному для глаз

простору. Не сосчитать, сколько раз он проезжал по этим местам, а теперь будто наново открывает для себя эти гривы, покосы, березово-осиновые околки. А воздух!.. Иван дышит и не может надышаться родным, солоновато-сладким степным воздухом.

Возле дороги столбиком поднимается суслик. С любопытством и страхом смотрит он на водовозку. Иван срывает с головы выгоревшую до белесости фуражку-шестиклинку и дурашливо кричит:

— Здравия желаем, ваше благородие!

Суслик пронзительно свистит и, смешно подбрасывая зад, несется к своей норе.

— Ага, попался, рыжий! — подзадоривает его Иван и хохочет-заливается на всю степь.

Давно не было у него на душе так хорошо и приятно. Разве что в детстве...

Кони втаскивают бричку на яр, и теперь перед Иваном — весь совхозный сенокос. Около Лебяжьего озера, у дальнего берега букашками ползают два сенокосных сцепа. Чуть в стороне, там, где кошенина уже подсохла, поднимая легкую сенную пыль и оставляя после себя длинные валки, которые отсюда смотрятся как неровные карандашные линии на серо-зеленом листе бумаги, деловито снуют тракторные грабли. Еще дальше, в глубине поля, будто бродят задумчивые животные. Это тракторы с подборщиками-копнителями. А впритык к Лохматой гриве — самая веселая и трудная работа — бригада мечет сено в скирды. Людей почти не видно. Так, разноцветные пятнышки рубах и платков.

Иван подъезжает к березам, в тень. Останавливается, отпускает чересседельники, разнуздывает коней и идет к свежей копешке сена. Почти всю ее он захватывает в беремя и бросает перед лошадиными мордами:

— Ешьте, пока добрый.

Кони, уже начавшие пощипывать нескошенную траву, какое-то время стоят, помахивая головами, словно раздумывая, приникнуть к сену или нет, но уже через минуту хрумтят им.

— Ну? Как сенцо? То-то и оно! Меленькое, что чай. Сам бы ел, да вам не достанется.

Он удовлетворенно смотрит на коней, как они справляются с неожиданным угощением, и смеется:

— А я что говорю?! Когда я плохое косил? Ну, чего смотрите? Торопитесь, пока свежее, зимой такого не будет!

Иван любит поговорить, побалагурить сам с собой, с лошадьми и со всякой живностью, что встречается в степи. Он и суслика окликнет, и кобчику, зависшему в небе над поляной, замечание сделает. Но в таких случаях Иван приглядывает за собой. Не дай бог, думает, если кто из сельчан услышит, еще решит, что умом повернулся.

Он достает из кустов шиповника припрятанную косу-литовку и, попробовав пальцем лезвие, ширкает бруском по стальному полотну. Лошади поднимают головы и какое-то время настороженно смотрят в сторону Ивана, потом снова начинают подбирать губами мягкое сладкое сено.

Иван проходит «одну ручку» вдоль прокоса, сделанного накануне. Трава здесь долго хоронится в тени от берез, поэтому высокая, обильная. Донник перебит тимофеевкой, мятликом, мышиним горошком, клевером. Все это разнотравье, еще влажное от росы, ложится взлохмаченным валком слева от Ивана.

Он всегда останавливается на этом месте перед тем как объехать бригаду. И старым лошадям отдых, и у самого заделье тут есть. Да и рановато пока к ко-

сарям. К ним надо так угадать, чтобы попасть прямо перед обедом.

Обо всем этом Иван думает, как бы оправдывая себя за задержку. На самом деле ему просто нравится это место, и во всякое свободное время он норовит завернуть сюда. Здесь у него и сенокос, и охота, и рыбалка.

Иван отрывается от косьбы и в который раз обводит взглядом округу. Создал же Бог такое привольное место, где и рукам работа, и сердцу отрада. Тут вот, под яром, который поверху густо порос степными березами, боярышником и шиповником, отдает прикорневой сырью, потаенным грибным духом да еще мокрым смородиновым листом. А пройдешь шагов двести к озеру — другая жизнь, другие звуки и запахи. Дробится мелкая волна о тростник. Жалобно кричат лысухи в камышах, крепко бьют крыльями по воде крякаши. В рогуз, вслед за матерью, вспугнутые чем-то, отчаянно пища, улепетывают покрытые серым пухом утята-чернети.

В конце июля поверх яра рождается еще один особый мир, который так любит Иван. Там по всей гриве на несколько километров тянется пшеничное поле. К этому времени пройдут дожди, крепко завяжется колос, и над землей повиснет знойная марь. В один из таких дней Иван обязательно идет к озеру, а потом, оставляя позади птичий гомон, медленно поднимается на гриву и останавливается наверху, чтобы сразу видеть и озеро, и яр, и пшеничное поле. Далеко на горизонте оно сливается с небом. Здесь стоит звенящая тишина, изредка перебиваемая нежным шелестящим звуком кузнечиков. И в этой первородной тишине, в благодном томлении пшеничного поля таится извечная сила нового урожая.

— Да ясное ты море! — восхищается Иван. Эти слова он произносит по-разному в зависимости от ситуации. Иногда — с радостью, по поводу чего-нибудь хорошего. Иногда — с досадой или с огорчением.

Бывает, что и не хватает слов, и он не выдерживает непосильной красоты жизни и плачет, освобождаясь от переполняющего его сердце изумления. В этих слезах он никогда и никому не признается, даже самому себе. А если кто случайно увидит его таким, он отвернется, смигивая быстрюю горячую влагу, и пробормочет: «Ишь ты, как печет нынче, аж слезу вытапливает...»

Выкосив хорошую прогалину, Иван поднимает голову к солнцу и решает, что пора. Он прячет лиговку обратно в шиповник, потом ходит по поляне, приподнимая ногой кошенину и раздумывая, когда ее сложить в стога. Получается, что вечером, на обратном пути. К этому времени ее ветерком горячим продует, подвялит хорошенько.

Знает Иван: во всяком деле не нужно забегать вперед. Даже в мыслях. Собьешься с ладу, и работа по-другому пойдет. Знает, а все равно не удержится и представит, как вечером будет ходить под яром, мять в кулаке траву, слушая ее на хруст. И понюхает даже, и носком сапога опять поворошит, поподбрасывает. У иных мужиков одна забота — прокалить скошенную травушку чуть не до звона, чтобы волглой не попала в стога. Не то попрееет, возьмется белесыми пролежневными пластами. Отвернешь зимой бок такой скирды — и вместо летнего забытого духа обдаст тебя задохнувшейся плесенью. Какой уж тут корм скоту?

Но Иван и пересушить не хочет сено. Пока будешь складывать его в копны, а потом в скирду да перетаскивать в огород, облетит порохом самый

ценный, мелкий, почти паутинчатый листочек, как раз и дающий сене сытную силу...

Иван осторожно спускается на водовозке под яр и прямо по степи едет к косарям. И неожиданно вспоминает, как привозил перед самой смертью сюда, на яр, своего отца...

## 2.

Раньше здесь да и вообще почти под всей этой длинной гривой были сенокосы. Как первые поселенцы поделили уголья между семьями, так и повелось их передавать от отца к сыну. Батю Ивана Коршунова все тогда в деревне звали Белым дедом. И за старость его дремучую, и за то, что голова его была молочно-белой. И яр этот, возле которого отвели деляны Коршуновым, называли Белодедовским.

Потом случилась революция, насадили колхозы. Нажитое добро полетело прахом, земли отошли государству. Позднее на личных в прошлом покосах, правда, только на тех, что были разбросаны по неудобьям (на хороших-то местах не разрешали) как-то потихоньку, исподволь стали косить сено бывшие хозяева, а потом их дети и внуки. И никто этому во время распределения делянок не перечил. Начальники — из молодых и не из местных — сначала никак в толк взять не могли, что к чему.

— Да там же мука-мучная, а не косьба под этим яром, — отговаривал один из таких новых бригадиров Ивана, — там же не только тракторной, там конной сенокоске негде развернуться. Да еще ямы от бывшей бригады. И дорогу рядом машины набили. А комарья сколько! Озеро же рядом. Давай под Антоновкой тебе покос дам, под Серегиным окошком. Там ровненько, милое дело...

— Ничего, я как-нибудь руками, литовкой... Разреши под яром, Васильич. Я там всю жизнь кошу. Привык уже.

Невозможно ведь объяснить, что глаза и сердце сжились с этим яром, покосом, озером. Что стоит там еще древняя береза, под которой отец, а может быть, и дед всегда ставили первую копну. А рядом в тени берез, в диком смородиннике, из лета в лето, из покоса в покос, из поколения в поколение, пережидая июльский зной, садились обедать и отдыхать всей семьей...

Случалось, после такого отдыха или во время послеобеденного сна, как говорил отец, зависало над яром с виду несерьезное, невесомое облачко. И вдруг оно закрывало на несколько минут солнце и ударяло трескучим громом, слепило молнией. Шумел негаданный бурный ливень. Да такой, что журчали, скатываясь с гривы под яр, ручьи. Сначала пенные, мутные, потом чистые и веселые. Отец, стоя под березой, сокрушался:

— Вот тебе на! И откуда что взялось? Вот напортачил так напортачил Илюха! Спасибочки тебе! И ведь только сено сгребли, а теперь суши его, разбрасывай...

Иван улыбается, вспоминая. Лошади, почуяв ослабленные вожжи, останавливаются. А он и не попускает их.

Иван даже через завесу лет буквально слышит, как они, ребяташки, весело горланят на том ливневом сенокосе, выскакивая под освежающий дождь. Как, дурачась, бегут по обмякшей от влаги кошенине, выбивая из нее чистенькими пятками струйки небесной воды...



Этой своей особенностью — уходить с головой в пережитые годы — он иногда радуется, а бывает, из-за нее тревожится. Видит же, что многие мужики, когда их просят рассказать что-нибудь из далекого прошлого, морщат лбы, силясь вспомнить хоть что-то. И не всегда у них это получается. А уж детали какие-нибудь из детства вообще выветрились. Он же почти натурально переносится в былое. Картинки оттуда яркие, сочные. И что интересно — вспоминаются не только цвета, звуки, но и запахи. Он даже ноздри при этом раздувает, втягивая через нос воздух. Обычно, когда такое с ним происходит, Иван малохольно и расслабленно улыбается и всякая работа валится у него из рук. Аня, жена его, конечно, замечает это, но — что самое для него любезное — понимает. Если он надолго уходит в свои воспоминания, ласково опускает его на землю.

— Ва-а-ня, Ва-а-ня. Ты меня слышишь, Ваня? Давай возвращайся уже, смотри, что творишь-то...

И действительно, если он в это время, допустим, вскапывает грядку, то такого набуровит лопатой — самому смешно становится...

Вот и теперь он весь во власти, казалось бы, давно забытых дней, то есть внутри короткого летнего ливня, который шумел тогда недолго, каких-то минут десять, не больше...

Ливень кончился, снова запылало в небесной верхотуре нестерпимо жаркое солнце. Снова во владеньях Ильи-пророка стало ясно, высоко, чисто. Только по краям окоема, за озером, белокурыми барашками толпились легкомысленные облачка... А вот куда делась ливневая тучка, непонятно. Даже клочочка от нее не осталось, словно растворило ее сенокосное пекло. Но на то он и причудник-июль.

Недаром его называют то царевичем лета, то макушкой. И правда ведь — макушка. Макушка летней благодати... От промокшей травы, что в валках, начал подниматься легкий парок. Все похватали грабли, вилы и выбежали на поле теревить, разбрасывать валки. И он с братьями тоже. А как же! На сенокосе любое подспорье на пользу. Кому не хватило граблей и вил, руками сноровисто раскидывали траву, подпывая, распушивая ее ногами. Важно быстрее все сделать... Получается, не сильно-то дождь и навредил. Это ведь не нудный и морозящий, а короткий июльский баловник... И такие запахи поплыли над поляной от влажной разнотравной кошенины — одуреть можно! Через два часа все и просохло. До заката снова успели сгрести траву в валки.

Спустя пару дней приехали складывать сено. Отец зашел под березы и появился оттуда с двумя молоденькими обабками в руках. Сказал довольный:

— Ну вот, а вы говорили, зачем дождичек. А ну-ка, дуйте, ребяташки, под яр грибы собирать! Мамка жареху вечером с картошкой наладит.

И так это произнес, словно и не он сетовал недавно на нечаянный ливень и обижался на Илью-пророка...

Вспоминая, Иван сначала решит, что на старых местах начали косить после тридцатых, потом возразит сам себе и даже рассердится на забывчивость. Конечно, после войны, и даже после Хрущева! До смерти Сталина попробуй-ка, покоси на своих прежних частных делянках! Быстро бы на Колыму отправили... Вон отец его, Белый дед, ветеринарным санитаром был, так и он загремел ни за что ни про что на десять лет. А обвинили в том, что вроде как мор специально напускал на колхозную животино. Ну он-то хоть вер-

нулся, а остальных мужичков, говорят, постреляли сразу же, через месяц. Приехал тут племянник Санька в майорских погонах — военный корреспондент. Видел, говорит, кое-какие бумаги. Брехня, что мужики в лагерях поумирали, а часть в штрафных батальонах на фронте погибла. Почти всех сразу и расстреляли по приговору «тройки» в тридцать восьмом. Тут Саньке можно верить. Хлопец он дотошный, хоть и шепутной. Только зря он это все развонил, пусть и родне. А если все сильно секретное и нельзя пока говорить? Как бы не нагорело ему. Гайки-то вроде снова закручивают. Вон как Сталина в свое время расчехвостили, а сейчас снова поднимают.

А «тройки»-то эти точно были, припоминает Иван. И в их райцентре тоже. Это значит, что жизнь горемычного «врага народа», чаще всего арестованного по пустому навету, определялась тремя людьми, всего тремя — чтобы отправить его на тот свет по-быстрому, без задержек.

Из двенадцати человек, которых забрали тогда, вернулись только четверо. Среди них и его отец.

Иван машет рукой так, будто отгоняет от себя оводов, а на самом деле непроизвольно отмахивается от лезущих в голову мыслей. Но сегодня это получается у него плохо. Эти мысли плавно несут его по прожитым годам.

Вспоминает, как на их деревню и соседние, словно морок, навалилось проклятое поветрие. Будто безумие какое-то охватило людей — стали писать друг на друга доносы.

Что это было? Жили ведь раньше, как рассказывал отец, одним общинным укладом и друг к дружке относились с почтением... А тут такую паутину страха повесила власть — самих себя стали бояться. Кум говорил Иванову отцу:

— Не поверишь, Федор, ночью в своем дворе в уборную боюсь сходить. Вдруг кто заметит да напишет, что по темноте специально шарюсь, готовлюсь властям вредить... И когда это у нас полстраны так быстро грамотными стали? Смотри, как писать насобачились! А совсем недавно еще крестик вместо подписи ставили.

Потом стали бродить по деревням слухи об арестованных. Мол, того-то видели на фронте. Воюет и приветы передает. А этот — на заработках на Дальнем Востоке. Через год обещает приехать с хорошими деньгами.

Умные люди понимали, что если бы так было, то как-нибудь исхитрились родственники, сообразили весточку послать. Доходили же с фронта письма-треугольнички без всяких марок... Нет, тут было другое. Слишком много отправляли за колючую проволоку людей. Вот и рассеивали вранье энкаведэшные власти, чтобы хоть как-то притишить людишек. Про это Иван, правда, уже много позднее услышал. Сам он в то время на фронте порох с кровью глотал.

...Лошади неожиданно дергают водовозку, Иван резко отклоняется назад и, еще не до конца очнувшись от мыслей, натягивает вожжи:

— Тпруу! Вы что?! Сдурели?

Потом с удивлением обводит глазами степь и смеется. Вот уж, действительно, Ани на него не хватает! Это же надо настолько забыться, улететь мыслями в такую даль! А вспоминать-то начал совсем о другом... Об отце.

Он тогда попросил Ивана свозить его на любимый яр. Приехали под самый вечер. Днем Иван занят обычно, да и жара в такие дни стоит несусветная. Вот и решил: зачем старика тащить по такому пеклу в степь, лучше по прохладце...

Большое закатное солнце опускалось за Лохматую гриву. Отец сидел на самом высоком месте яра, откуда степь была видна до горизонта.

— Иди, Ванька, подкорми коней, — попросил он сына.

Иван догадался — отец хочет побыть один, засмутился и торопливо ушел к лошадям.

Когда вернулся, понял — отец плакал, хотя по лицу этого не было заметно. Но по всему его облику Ивану сразу стало ясно — плакал. От этого у него на душе сделалось неловко, хоть беги куда-нибудь...

— Вот здесь, Ванька, и прошла почти вся моя жизнь, — сказал ему старый родитель. — Как один день прошла... Здесь и с мамкой твоей после войны познакомился. На полевом стане. Он долго тут под гривкой стоял. Теперь все... Прикончилось мое времечко...

Через неделю отец тихо и спокойно умер. Вечером сходил в баню. Как и положено, после нее надел чистое исподнее. Утром увидели — не дышит. Лежит спокойный, ровненький. И руки сложены так, как при погребении их укладывают. Выходит, чувствовал — прощаться ездил с любимыми местами...

А яр этот перед озером так и зовут до сих пор — Белодедовским...

### 3.

Иван, вспоминая это, хмурится. Не любит он мрачных мыслей, особенно про смерть, поэтому перебивает их нарочито громким своим напевом:

— На-ри-на-ра-на-ри-на-ра-а-а...

Он легонько шлепает коней вожжами, трогает повозку с места и немного погодя, окончательно от-решившись от тягостных воспоминаний, снова свет-

леет лицом, радуется абсолютно всему: солнышку, лошадям и огромной бочке за спиной. Да что там — каждой травинке на родной степной земле!

Иван издалека видит, что косари его ждут. Оба сцеха стоят на краю большой загонки. Едва он успевает подъехать к сенокосилкам, как парнишки летят к водовозке.

— Ура! — орут они. — Дядя Ваня приехал!

— Ух я вас! — шутливо взмахивает Иван бичиком, но они знают, что водовоз шутит, и уже берутся у крана с водой. Потом раздаются крики, взвизги. Вода-то ледяная. Иван смотрит на них и улыбается. И хоть покрикивает: мол, меньше, черти, воду на землю лейте, понимает, какое удовольствие — облиться в такую жару холодной водой.

К нему в это время подходят трактористы Никита Калмыков и Костя Пахомов. Здравуются за руку.

Костя, улыбаясь, говорит:

— Вот молодец, Иван Федорович, а то мы уже соскучились по твоей водичке.

— Так возили же и без меня, — улыбается смущенно Иван.

— Возить-то возили, — вступает в разговор Никита. — Да, выходит, не такую водичку, какая у тебя...

Он обходит вокруг Коршунова, шутливо всплескивает руками:

— Ну, Федорыч, это не дело! Мы думали, ты после отпуска будешь круглый, что твоя бочка. А от тебя вроде, наоборот, после этих курортов даже убавилось. Поди, молодуху каку-нибудь на прицеп взял? Они с нас сало-то быстро спускают!

Смеются.

Ребята-косари, в деревне их ласково зовут «косарятами», скоро утомившись, рассаживаются в тень от трактора, достают сумки с едой, какую им за-

готовили мамки. Вынимают вареные яйца, картошку, хлеб, бутылки с молоком, заткнутые газетными пробками, зеленый лук, сало. Кое у кого и первые огурчики выглядывают из узелков. И хотя все это выложено «на общий стол», дескать, не стесняйтесь, ешьте, каждый все-таки налегает на свое. Такова деревенская деликатность. Обедают своим, домашним, они не всегда. То, что в сумках, или, как они говорят, «в сидорах», — обычно для второго перекуса. Ближе к вечеру. Сенокосный день длинный. От солнышка до солнышка. В обед же, как и положено, горяченькое подвозит повариха Нина Просекова. Да вот приболела, а замену ей пока не нашли.

Без трактористов, конечно, не начинают. А те только сейчас идут к бочке. Никита снимает выцветшую майку, которая когда-то была красной, и спокойно открывает кран. Он хочет пацанам показать, что ему ледяная вода нипочем, но все-таки не выдерживает:

— Ух ты?! — вскрикивает, будто удивляясь чему-то.

Костя тут же начинает зубоскалить:

— Чо, Никитка, ошпарился?

— Ага, ошпарился, — поддерживает Никита шутку, а сам, умываясь, следит за Костей и, когда тот подходит ближе, захватывает пригоршню воды, пытается его облить. Но Костя начеку. Ловко отскакивает, хохочет:

— Жинку свою облей!

Ребята пристально, с удовольствием наблюдают за баловством взрослых. Они обожают этих совершенно разных и по характеру, и по обличью мужчин. Бывает, спорят чуть не до драки, кто из них лучше — дядя Никита или дядя Костя.

Никита — плотный, коренастый, будто с припеченным навечно коричневым румянцем на лице. Все лето работает в майке — боится спину сжечь на солнце. Но руки и крепкая шея так прокалены солнцем, что и за зиму этот темно-бордовый загар не проходит. Мужики в бане все время над ним подшучивают.

— Эй, Никита! — кричит кто-нибудь из дальнего угла. — Ты когда степную майку снимешь?!

И правда, впечатление такое, будто он в белой майке.

Никита смущенно похмыливает, посмеивается.

— Сейчас выравнию, — говорит, направляясь с веником в парную.

Когда выходит оттуда, тот же балагуристый голос на всю баню возвещает:

— Ну вот, теперь другое дело, розовая тебе больше подходит!

Никита — мужик, в общем-то, молчаливый. В ответ на шутки с его стороны обычно звучит лишь короткий застенчивый хохоток. Сам основательный и несколько медлительный, пацанов на сцеп подбирает быстрых и вертких, как бы восполняя этим свою неспешливость.

Другой тракторист, Костя Пахомов, наоборот, тонкий, жилистый — полная противоположность Никиты. Крученный — говорят про таких в деревне. Он беспрестанно шутит, кого-то разыгрывает, делает одновременно десяток дел и, что самое интересное, везде успевает, все у него получается.

Долго сидеть на одном месте он не может.

Однажды из-за этой своей непоседливости он чуть не лишился работы.

В тот день они косили сеяный костер. Когда трактор шел по длинной и ровной загонке, Пахомов не-



ожиданно выпрыгнул из кабины и какое-то время бежал рядом.

Так вышло, что именно этот Костин выверт увидел районный начальник, приехавший с проверкой в бригаду.

Во время перекура он, едва сдерживая свое негодование, спросил у Пахомова:

— Ты чего это там высказывал?

Костя среагировал моментально:

— Размяться хотел, пробежаться.

— А в кабине в это время кто сидел?

Пахомов демонстративно молчал, лениво щурился на дальние гривы, с каким-то особым вкусом затягивался махорочной самокруткой, голову при этом наклонял набок так, будто прислушивался к жаворонкам.

— То есть никого, что ли? Ты что, с ума сошел? А если бы случилось что? Ведь под гусеницу можно запросто попасть. У тебя же сзади сцеп с людьми... Это ведь в кабину обратно еще запрыгнуть нужно суметь.

— Да чего там запрыгивать? И зачем? — Костя продолжал валять дурака. Видно, надоел ему непопулярный начальник. — Степь же ровная...

— Не понял, при чем здесь ровная степь?..

— Да я про трактор... Это же «ДТ-54», почти танк. Он по ровной степи может ехать, пока солярка не кончится или пока не упрется во что-нибудь...

Начальника заклинило:

— Не понимаю... Зачем ты все-таки высказывал?

— Да шило у меня там! — оскалился тракторист.

— Где? — совсем уж отупело спросил проверяющий.

— Да вот здесь! — И Костя откуда-то из-за спины вытащил самое натуральное шило. Почти новенькое, с еще не захватанной белой деревянной ручкой.

Где он его взял, когда успел принести, непонятно. Мужики катались со смеху по траве.

Начальник этот потом выговорил старому директору Крохалеву.

— У тебя там придурок один работает, тракторист. Пахомов его фамилия. Ты бы его в скотники перевел, что ли? А то он натворит у тебя дел. Как такому вы технику доверили? Да еще с ребятишками работает... Перекалечит к черту всех. И сам в тюрьму попадет, и нам головы пооткручивают.

Крохалев — мужик крутой, авторитетный, нещадно битый жизненными невзгодами и никогда не заглядывающий в рот начальству, ответил с сердитой досадой:

— Вы бы хоть из своих кабинетов по сторонам, что ли, смотрели! Он, Пахомов-то, у вас в районе на доске почета висит. Как раз, поди, перед вашими окнами... Этот самый придурок, как вы говорите, один из лучших механизаторов. Во время уборки каждый год столько зерна намолачивает, сколько у некоторых полколхоза не нарабатывает.

А сам все-таки попросил бригадира Краснощекова выяснить, что там с этими пахомовскими пробежками. В тот же день бригадир и допросил Костю.

— Слушай, тут мне такое сказали — на голову не натянешь... Ты что, правда, что ли, выскакивал на ходу из трактора? Это же нарушение техники безопасности.

Пахомов уважал Данилыча — так все попросту звали Краснощекова — и за суровую его человечность, и как фронтовика, поэтому при нем на балагурство не сбивался.

— Вот ведь чего понаплели, заразы, — искренне удивился он. И объяснил: — Там по ходу сенокосок лебяжье гнездо было... Оглянулся, а Митька Анти-

пин (как раз на его сенокоску приходилось гнездо) носом клюет. Ну, думаю, каюк птенцам, порежет... Вот и выскочил.

— И что, успел? — постукивая папироской о никелированный портсигар, спросил Данилыч.

— Это вы про что? — вроде как не понял тракторист. А скорее притворился, что не понял... Его ведь, бывало, сразу и не разберешь, этого Костю, с его вечными перескоками от серьезности к зубоскальству...

— Да про лебедят...

— А-а... — Костя улыбнулся. — А как же!

— И получается... — Данилыч взглянул на Костю серьезно и требовательно.

На лице у Пахомова — искреннее непонимание. Бригадир пояснил:

— И получается, что ты трактор во время его работы, то есть движения с работающими прицепными устройствами, оставил пустым... Так?

— Фу ты! Я-то думал, про что это вы?.. Почему пустым? Там Ленька Горохов за рычагами сидел. У него в это время сенокоска сломалась, ее в кузню отволокли ремонтировать... А я его, Леньку-то, помаленьку натаскиваю на трактор... Он же переросток, в восьмом классе уже третий год бьется. Но, думаю, в этом году он школу все ж таки победит. А после ему прямая дорога куда? В «муходавку», — в этом месте он хмыкнул, — так у нас, кажется, называют школу механизации?.. Кстати, его хоть сейчас за рычаги сяди — способный к технике. Это у них там, за партой, он в математике тупой, а здесь... дай бог каждому.

— Ну так бы и сказал уполномоченному, а то он на весь район растрезвонил черт-те что.

— Да обидно, Данилыч, он такие вопросы задавал, будто я задвинутый какой-то и в первый раз вижу трактор.

...Иван сидит в тени под водовозкой, припоминая эту историю, наблюдая за Костей, Никитой и за ребятами, которые на время притихли, расправляясь с домашней снедью.

Моторы тракторов выключены. Над степью колышется переливчатый звон жаворонков. Иван прислушивается. Вот чего ему не хватало там, на юге, где он совершенно неожиданно для себя и для семьи первый раз в жизни отдыхал на курорте. Не хватало этого небесного журчания, сенокосного солнышка и удивительной смеси запахов: солярочного тепла от тракторов, свежей кошенины и душистой терпкой махорки. Трактористы, вольно разлегшись на траве рядом с Иваном в тени водовозки, курят, балагурят. Мальчишки, наоборот, пытаются вести себя солидно, по-взрослому. А как же! Они теперь — настоящие работники. Технику им доверили. И главное, они деньги зарабатывают! И еще — сено. В совхозе тем, кто летом трудится в поле, полагается дополнительная бесплатная скирда. И забот с ней никаких! В начале зимы, уже по крепкому снегу, ее притянут на тракторных волокушах и поставят куда надо.

Отец в такой важный для сына момент обязательно подбодрит, поддержит его. Выйдет за огород встречать трактор и, хотя давным-давно уже известно, где из сезона в сезон удобнее всего для хозяйства ставить сено, скажет:

— Ну давай, хозяин, определяйся со своей кладью.

Тот засмущается:

— Да ладно, папка, ты же знаешь, где всегда была — туда и эту.

Отец согласится, но обязательно доскажет приготовленные заранее слова:

— А сено-то твое подбробнее будет.

Обойдет скирду, поцокает языком:

— Да, точно, подбрее... Тут, я вижу, и люцерна есть, и вязельком все перебито... По-хозяйски получилось, сынок... По-хозяйски...

И хотя сынишка понимает: не все так, как говорит отец, но сердчишко скачет, радуется...

Ребята-сенокосчики, наскоро поев, начинают галдеть, хохотать, бегать вокруг бочки. Один только Генка Рукин, парнишка не по возрасту серьезный, подсунув под голову старенькую фуфайчонку, лежит около трактора. Глаза его задумчиво устремлены в высоченное, выгоревшее до белесости небо. Там два степных орла, плавно паря в восходящих струях горячего воздуха, кружат над степью. И... засыпает Генка под это расчудесное видение.

Остальная пацанва тут как тут. Начинают затевать грубоватую шутку. И вроде она уже приелась, надоела, потому что повторяется из года в год, но нет, снова затевают. Оно и понятно, почему. Каждое лето на сенокосках — новая, подросшая смена. Они об этом балагурстве сто раз слышали, но очень уж хочется повторить самим...

Сашка Сумцов, окунув в специальное ведерко с нигролом будылёк донника, осторожно мажет правую руку заснувшего. Потом берет травинку и начинает щекотать Генкино лицо.

Взрослые видят это и добродушно посмеиваются. Только Никита Калмыков участливо произносит:

— Ох, Генка, просыпайся побыстрее, а то так изгваздают тебя чертенята, до вечера не отмоешься...

Но Генка продолжает спать. На лице еле уловимая улыбка — должно быть, снится ему небо со степными орлами... А щекотливая травинка делает свое дело, и ему кажется, что овод или комар ползает по лицу. Он смахивает несуществующее насеко-

мое и размазывает по щекам и по лбу нигрол. Мальчишки прыскают, зажимая в себе громкий смех. Уж очень им хочется продления бесплатного спектакля. Генкино лицо все в черных полосах, а он все растирает и растирает липкую смазку... И тут пацаны не выдерживают, начинают громко и заливисто хохотать. Генка просыпается, вскакивает и, ничего не понимая, смотрит на приятелей. Потом до него доходит, что произошло, он безошибочно бросается на Сашку Сумцова — заводилу, зачинщика всех шкодливых дел. Тот отскакивает. Начинаются догонялки, подтрунивания. Наконец Никита останавливается:

— Да брось ты, Генка, разве ж его догонишь? Пакостники, они на ноги резвые... Я ему накажу, чтобы по деревне не болтал лишнего. Это наше дело, хоть шутливое, хоть серьезное, — степное... А то у нас на сенокоски спрос-то длинный... Можем и другого посадить.

Пацаны прибирают свои продуктовые сумки, идут осматривать сенокоски. Трактористы заводят трактора...

Иван понимает: теперь не до него. И все равно благодное состояние, наполнившее его душу с самого утра, не отпускает. И длится, длится, подкрепляясь сердечными узнаваниями тех мелочей, из которых все эти годы состояла его жизнь. Казалось бы, обычная, однообразная. А вот, поди ж ты, как вбирает в себя...

#### 4.

Иван зануздывает лошадей, поднимается на бричку и говорит:

— Ну что, братцы, поехали? Знаете, куда?

Лошади помахивают головами и хвостами. Они как будто понимают его, но стоят на месте.

— Я так и думал, — балагурит Иван, придав голосу притворную строгость. — Все без меня перезабыли. А ведь нам к скирдовщикам надо...

И водовозка тут же дергается, разворачивается и направляется в нужную сторону. Иван смеется, довольный. Он, конечно, немного схитрил, незаметно потянув за левую вожжину и дав сигнал коням, куда ехать. Фокус получился. Никита Калмыков, видевший это, качает головой и восхищенно говорит:

— Ну дядя Ваня, ну дает! Нет, с ним совсем другое дело...

А Иван затягивает на своем степном языке:

— На-ри-на-ра-на-ри-на-р-а-а...

Теперь можно. Знает, за гулом тракторов его не слышно.

У стогометчиков не так, как у косарей. Тут одни взрослые. К бочке никто не бежит, не торопится.

Анюта Возовикова отрывается от работы (она подбивала граблями скирду) и, хвастаясь своими белейшими, как и ее платочек, крахмальными зубами, кричит издалека:

— Здорово, дядя Ваня! С приездом!

Все разом поворачивают лица. Улыбаются. Видно, что рады, но длинных вил из рук не выпускают. Они вершат кладь. Дело это и трудное, и очень важное. Не зря же говорят: «Если вершильщик хороший, то и корова довольна». То есть верх скирды должен быть так уложен, утоптан, обчесан, чтобы ветер ее не раздул, дожди не промочили.

Иван останавливает водовозку неподалеку от работающих, возле пухлой копешки сена. Здесь, около кустов ракиты, тенек — пристанище деда Дорофея.

Его пару раз за лето привозит в степь внук Николай. «Нюхнуть сенокосу», — говорит про эти поездки в степь дед и поясняет: «Дак вить зиму пережил, а летом сам Господь велит держаться».

Дед Дорофей самый старый в Ивановой деревне. Вообще-то его фамилия Дорофеев. Но есть у селян такая привычка — сокращать фамилии для простоты употребления. Примаков — Примак, Коршунов — Коршун... Привыкли, и никто не обижается на это...

Он, действительно, очень стар. Воевал еще в Первую мировую. Дед называет ее «германьской». Там его и газами травили, и ранен был несколько раз. За восемьдесят уже деду, а не износился до того предела, когда старики выползают в шубах и валенках на крыльцо — погреться на летнем солнышке. В баню сам ходит. И на охоту да на рыбалку с внуком напрашивается. Тот берет, не перечит. Хотя, конечно, с ружьем и сетями в камыши старик уже не заплывает. Сидит на бережке на соломе, слушает посвист крыльев над головой да гуканье выстрелов над плесами.

Видит он не очень хорошо. Но слышит отменно. Приговаривает, различая выстрелы каждого охотника:

— Это вроде мой Колька душетом саданул. Вот раззява — промазал, кажись. Зря только патроны жгет, стервец. А это Федя Трофимов ударил. Ишь, как у него аккуратно и сухонько «двадцаточка» выговаривает — тресь-тресь... Этот не промажет, жадный у него глаз...

Иван прилаживает лошадей к сену и видит, что около деда крутится Санька. Не уехал, выходит. Хорошо хоть не в форме здесь, а то мужики затравили бы насмешками. Не любят на сенокосе праздных людей.

Он присматривается и недовольно про себя отмечает: племянник что-то выпытывает у деда. В руках блокнотик. Вот случилась же такая несу-



разность — писатель в роду завелся. Взял бы лучше вилы да помог мужикам, а то вертится здесь со своими бумажками.

Иван никак не возьмет в толк, что это за профессия такая у Саньки — чтобы в военной форме да авторучкой махать. У них в деревне про такую никто и не слышал. Вон их сколько развелось, гражданских щелкоперов! Не пересчитать. А тут — майор! У них на войне майор Затулин батальоном командовал — вот это был майор так майор! Настоящий!

Смутно Иван понимает: в Санькиной работе скрыто что-то важное, но что именно, разобраться не может. Взять те же его командировки. Исчез как-то на целых полгода. Ни писем, ни других вестей. Вернулся, а вся голова как мукой посыпана — седьмой перебита. Это в неполных-то тридцать. Где был, что делал, спрашивает родня. Отсмеивается: «На юге загорал...» Только какой такой юг, если пропадал с поздней осени до ранней весны. То есть всю длинную зиму. На нашем юге зима — что осень. А он приехал почти черный от загара. Кто-то потом сказал — в Африке Санька был. Да на кой ему эта Африка сдалась? Брежут, наверно...

Дед Дорофей замечает Ивана. Он легонько отстраняет рукой Саньку и приветствует водовоза:

— Вот и Ванюшка припожаловал. Здравия тебе желаем, солдатик! Привез водицы? Студеная? С ледком?

Иван здоровается с дедом Дорофеем за руку, отвечает ему:

— А как же, дедуня, обязательно с ледком, какую ты любишь.

— Дак зачерпни.

Иван достает из-под сиденья брочки алюминиевый ковшик, наполняет. Воду он набирает не из

крана, а сверху, из-под толстой деревянной крышки. Следит, чтобы в нее обязательно попали льдинки. Знает — воду дед Дорофей пить не будет, чересчур уж студена для старика. Но своеобразный этот ритуал всегда выполняет.

Старик аккуратно принимает ковшик. Смотрит в него, оглаживает пальцами запотевшие бока, пробует на язык ледяную влагу, причмокивает, спрашивает:

— Водичка-то из колодца? Не из трубы, а, солдатик?

— Так точно, — на военный манер отвечает Иван, — из колодца. Из конюшенского.

— То-то я и чувю, что оттуда. Там самая добрая.

Дед Дорофей раньше был большим специалистом по колодцам. Он, как говорили про него, чувал хорошую воду под землей. И совершенно непонятно было, по каким приметам это определял. По глине с песком, которая выброшена из начатой ямы, или по тому, что растет вокруг?..

Бывает, копает кто-нибудь в огороде колодец, дед подойдет, спросит:

— Для чего, Гринька, роешь? Для полива или для дома?

— А как получится...

— Ясное дело. Но здесь только для полива водичка добудется. Больно уж солона она внизу. Да еще и с горчинкой. Она у тебя такая по всему огороду будет.

Вот и сидит потом Гринька на краю ямы, курит и раздумывает, копать здесь дальше или пробовать в других местах...

У деда Дорофея, как у всякого в его годах, немало причудок. Случается, говорит с кем-нибудь, рассуждает о чем-то, потом вдруг обрывает разговор и начинает что-нибудь делать. Как и сейчас. Он неожидан-

но забывает про Ивана. Поглядывает на толкотню у скирды, на коней. Берет в руки пучок травы, что отложил в сторону, когда увидел водовозку, и возвращается к разговору с Санькой:

— Про что ты мне толкуешь, внучек?

Тот краснеет. Он стесняется дядю Ивана. Знает, в родне с настороженностью относятся к его профессии.

«Тоже мне — майор, ясное море! — думает, глядя с досадой на смутившегося племянника Иван. — Как девка».

Санька спрашивает:

— Дедушка, вы воевали на другой войне, ну, не на такой, как была в последний раз... И, говорят, там в плену были...

Старик долго и пристально смотрит своими поблекшими глазами в сторону Саньки. Саньке неуютно от этого. На самом деле, за его плечом на ракиту уселась небольшая птаха, серая, с желтыми пестринами. Людей она совершенно не боится и все время перепархивает с одной ветки на другую. Ветки качаются. За ней и следит старик.

— Ишь она какая! — произносит с восхищением дед Дорофей.

У Саньки на лице глупое удивление. Иван смеется про себя. Он-то все видит.

Дед Дорофей почти минуту наблюдает за птичкой, потом совершенно неожиданно для Саньки выдает ответ, который, казалось бы, никак не связан с его предыдущей фразой:

— Война она и есть война. Хоть та, хоть эта. Грязь, вонища и кровь. И страшно там, и есть все время охота... Да я уже и перезабыл все... А у германцев, точно, был. Сначала со всеми нашими в бараке жил. Потом отдали хозяевам. На скотном дворе у них работал.

И сам заместо скотины. В двадцатом году только и вернулся.

Санька немного тушует, но гнет свою линию, которую, наверно, начал еще до приезда Ивана.

— На той войне с немцами вы, дедушка, наверно, много о родине думали... А как тогда проявлялся патриотизм, ну то есть любовь к ней?

— Ково? — дед делает ладонь ковшиком и подставляет ее к уху, будто плохо слышит.

Иван давно знает Дорофеева и понимает — придуривается.

А тот снова берет пучок травы и, раскладывая травинки перед собой, бормочет:

— Спрашивают черт-те что... Как не скучать, не думать про дом? Я же не скотина безмозглая. У меня уже семья тогда была, малые. Тятка и мамка остались. И сеструхи с братьевьями. А конек у нас какой был Воронок! Черный, как сажа. После ночного за ним приду — бежит, играет, тоненько, залиvisto так ржет. Соскучился, значит... А озеро у нас какое! Дак вон же оно, за той гривой, до сих пор живое... Про сенокос не говорю. Он сейчас другой. Раньше-то ручками да ручками все делали. С конями в обнимку. А сейчас и грабли тебе с трактором, и сенокоски, и эти самые, как их, копнители... Но травка — та же... Запашистая...

Он перекладывает травинки с места на место и произносит:

— Вот тебе, парень, наша пастушья сумка, это — мышиный горошек, это — тимофеевка, ромашка, подорожник, кровохлебка... А вот еще смотри — мятлик, а это — чабрец — богородская травка... Говорят, есть еще такие: одолень-трава, разрыв-трава, плакун-трава... Да и тыщи, поди, других по нашей-то русской земле трав. У германцев мне тоже приходи-

лось косить. Наберу в руку, как вот сейчас... Травки-то вроде знакомые, а понюхаю — нет, не наши. Видишь, парень, на чужой земле и трава по-чужому пахнет...

В это время у скирды — смех, оживление. Высокий, почти двухметрового роста мужик Пашка Кликун набрал огромный завершающий навильник сена и несет его на подрагивающих вилах. Кричат, подбадривают:

— Пашка, не подведи!

— На рекорд идешь!

Пашка в одних трусах. Тело у него блестит от пота, каждая мышщочка обозначена, лицо красное, вены на руках напряжены, вздуты. А давний шрам на спине как бы венчиком фиолетовым окружен. И когда Кликун в самом последнем своем усилии напрягается, чтобы положить пласт сена на верх зарода, подскакивает к нему вечный балагурщик Семен Кривоногов. Семен собирается просто поерничать, повеселить всех — схватиться за черенок вил так, будто только благодаря ему, его помощи Кликун забрасывает наверх сено, но... Но он спотыкается, падает и, цепляясь за Пашку, нечаянно сдергивает до колен его трусы.

Мужской раскатистый хохот, бабье оханье.

Дед Дорофей (а жалуется ведь на зрение) удовлетворенно возвещает на всю округу:

— Вот это струмент так струмент! Справный! Ну и бугаюка ты, Пашка. И на каких харчах такой отрастил?

Хохот еще сильней.

«Вот, ясное море, что вытворяют, — не то восхищается, не то осуждает про себя всю эту канитель Иван, — наломались же, черти, как не знаю кто... Ведь это они какую? Пятую, кажется, скирду кладут.

Так нет, еще на такое сил хватает... Это он что, Семка, специально, что ли?»

Все понимают: такое могло произойти только с Семкой и Пашкой. Один — без царя в голове. Кривоногову бы только перед другими выставиться. А другой... Другой... Иван силится вспомнить деревенскую кличку Кликуна. Вспоминает. Зовут его Пашкой Безмятежным. И точно — безмятежный. Невозмутимый, малоразговорчивый. С виду — так еще и с некоторой ленцой. Но это обманчиво. Силы он необыкновенной.

По молодости, в те времена, когда парни из-за девчонок схватывались деревня на деревню, его после одного случая перестали брать с собой. «Да ну его к лешему, — говорили, — из-за него еще в тюрьме сидеть. Мы-то друг друга побуцкаем, потом синяки отмочим, и завтра снова на работу. А после этого черта сплошное членовредительство остается». В одной из драк, когда пацаны из соседней деревни после танцев стали одолевать поселковых, выворотил Пашка Кликун целый пролет забора из штакетника и припер им сразу четырех человек к стене клуба. Ну и поднажал еще маленько. До легкого хруста... И отправил, таким образом, молодых работников на бюлетьень — с поломанными ребрами. Еле отделались тогда любители подраться из-за девок от милиции, хотя складно ввали с обеих сторон. Да кто же поверит в то, что сразу четыре здоровых парняги одновременно «неловко упали и ушиблись». Но деревня есть деревня. На второй день такие сплетни по домам гуляли — нарочно не придумаешь!

Пашка Кликун между тем аккуратно и точно кладет на скирду громадный навильник сена, не торопясь возвращает свои трусы на законное место и спокойно, даже чересчур спокойно, шагает к Семе-

ну. С вилами. Становится тихо. Почти все понимают, что шутка должна была быть другой. А эта, грубая и несуразная — нелепая случайность.

Пашка оглядывает всех, а потом черенком вил, не со всей силы (а то бы каюк пришел Семке), но с хорошим потягом смачно отоваривает Семку по заднице. Когда тот летит на землю, успевает еще выговорить:

— Что ж ты, срамец, творишь? Я ведь мог споткнуться и... рассыпать сено.

Тут раздается громкий голос:

— А ты ему еще добавь, Пашка, только не черешком уже, а вот моим бичиком! Он добрый у меня. Гнедко все время на него жалуется.

В сутолоке и гаме многие и не заметили, как к месту скирдовки подъехал на ходке бригадир Краснощеков.

Но Пашка будто не слышит его. Он подходит к Семке, подает ему руку, помогает подняться, что-то тихо спрашивает и даже отряхивает Семкину спину от сеной трухи.

Дело в том, что Семка с Павлом друзья. Причем самые настоящие, без всякого подмеса. И семьями дружат. У каждого из них по двое ребятишек. Те тоже не разлей вода. Но в этой, как многим кажется, странной дружбе случаются вот такие выверты.

Иван думает, что здесь есть какая-то скрытая пружинка-тайна. Только какая? Иногда на гулянках мужики припирают Семку вопросами, мол, ты чего вытворяешь? Зачем его цепляешь? Ненормальный, что ли? Не рассчитает как-нибудь свою дурную силу Кликун и размажет тебя по стенке. Семка неопределенно улыбается и как-то уж совсем по-детски, наивно отвечает: «А чего он такой здоровый, как не знаю кто?.. Хоть расщекотать его маленько...»

Ходит, правда, один любопытный слух по деревне, в который мало кто верит. Рассказывают, что служили Семка и Павел вместе на горной погранзаставе. Находясь вдвоем в секрете, попали в сложную заваруху. Рация была разбита, Семка контужен от разрыва гранаты, а Павел тяжело ранен. Усугубляло положение то, что во время преследования нарушителей они оказались в глубоком ущелье. В общем, трое суток оглохший и почти ослепший Семен как мог выхаживал беспрерывно теряющего сознание старшего сержанта Кликуна и в конце концов вытащил его на тропу, где их и нашли пограничники...

Иван отвлекается от этих мыслей, потому что для него снова начинается маленький праздник. Его водовозка опять в центре внимания. Теперь уже бочку окружают скирдовщики. Пьют холодную колодезную воду. С остановками, с побрякиванием, с добрыми словами в адрес Ивана, величая его по имени-отчеству:

— С возвращением, Иван Федорович! Ишь, какой ладный водопой нам устроил!

— Спасибо, Федорыч! В самую точку угадал, а то сегодня такая жаринь — пот не успевает выскрывать наружу, сразу засыхает.

Иван сверху зачерпывает одно ведро за другим, подает вниз, а там снова уханье, возгласы. Мужики обливаются, смывают пот, налипшую траву со спин и боков. Женщины — Анютка Возовикова и Катя Перепрыгова — берут другое ведро, наливают в него воду и идут за скирду. Скоро и оттуда доносится звонкий хохоток и оханье.

— Ишь ты, как девок водичка разбирает, — неожиданно комментирует это дед Дорофей, и все снова смеются.



Он буквально помолодел от всей этой здоровой веселой круговерти и, когда кто-нибудь с восклицаниями обливается, тоже, как от озноба, передергивает плечами.

Закончат с водой — начинают соображать обеденный стол, раскинув у скирды кусок брезента. И одновременно вопросы подбрасывают бригадиру. И шуточные, и серьезные.

— Данилыч, ты там, случаем, пару пузырей с горючкой не прихватил? Само то к столу бы было.

— Когда обед-то настоящий подвозить станут, а? На сухом пайке не очень-то весело сено ворочать, товарищ бригадир. Кастрюлю с борщом не засунешь в сидорок...

— А что с расценками? Повысят их?

Краснощеков, как всегда, отвечает одним длинным монологом, в котором сразу и ответы, и вопросы, и претензии.

— Насчет горючки это ты к жене своей Наталье обращайся, она быстрый тебе ответ даст... Хорошо, если не сковородкой. Обед горячий с послезавтра организуем. Выписалась повариха-то наша, Нина, слава богу. А проценты за выполнение и перевыполнение нормы станут начислять с завтрашнего дня... Теперь вот что хочу спросить: кто это моду такую здесь завел — в одних трусах работать? «Хозяйство» свое, что ли, так проветриваете, а, мужики? Так и вовсе лишиться его можете, как вон Пашка сегодня. И не стыдно трясти этим самым перед женщинами? Сроду у нас такого не было! И как вас оводы только не берут? Гнедка вот моего грызает какой, так полдня у него шкура трясется... Да, кстати, передовики доблестные... Я тут мимо ляги проезжал... А чо это ты, Пашенька, сразу отвернулся? А, товарищ главный скирдовщик?.. Так вот, увидел я, что вы там

вчера смастерили... Куда это так торопились? На гулянку? Чего глазами лупаете? Как попало слепили, скособочили скирду! А вершил кто? Кольку-дурачка из Парамоновки, что ли, приглашали? В общем, переложить! Проверю! Иначе — проценты долой! Сколько сегодня скирд уже подняли? Пять? Ну, тут ничего не скажешь — молодцы! И плотные, смотрю, и ровненькие, как в строю.

После этой длинной речи он подходит к Ивану.

— Зачерпни и мне ковшичек, Ваня... Ну, как я им всыпал?

— Чапаев! — отвечает Иван, улыбаясь. — Только чуточку лишка загнул.

— Да ладно тебе, загнул, им только послабку дай, так они шут знает что вытворят... Кривоногов этот. Ну что это за шутки? Тьфу ты! Это еще спасибо, Пашка такой, как его... безмятежный. А если б кто другой? Перепоролись бы вилами...

— Да ты не понял ничего, Данилыч...

— Ну да, а Пашка понял. То-то он ему поддал...

— Вот именно, Пашка как раз и понял, и другим показал, что срамные шутки не к месту...

— Ладно, Ваня, давай о другом... Разберусь... Ты мне вот скажи, ты чего это с курорта сбежал? Ведь тебе еще две недели оставалось отдыхать.

— Да ясное ты море! И ты туда же, Данилыч! Не захотел и уехал...

— На курорте не захотел? — Краснощеков недоверчиво смотрит на водовоза. — Там же, говорят, почти рай. Жизнь — не бей лежачего.

— Во-во! Не бей лежачего — это ты в самую середку. Ты сам-то на курортах бывал?

— Да не доводилось как-то.

— А рассуждаешь. Понимаешь, Данилыч... — Иван думает, как бы перевести разговор в полушут-

ливое русло, и придумывает. — Понимаешь, дома-то в нашей степи вон как хорошо глазам. Простор. Далеко видно. В сторону другой скирды глянешь — и разглядишь, не ошибешься: Гришка с Генкой бутылку разливают...

Краснощеков озирается с тревогой:

— Где? Покажи, Иван!

Тот смеется:

— Да я к примеру говорю. А там, на юге, эти горы, каменюки. И кто их только наворотил? Куда ни помотришь — мешают. Их прямо с глаз счистить хочется. И как люди без вольного простору живут? Хотя, конечно, море у них... — На лице у Ивана появляется мечтательное выражение. Он пытается подобрать нужные слова, а они не подбираются, поэтому со вздохом заключает: — В общем, море — оно и есть море...

— Ладно, вижу — не хочешь откровенничать. Это твое дело. Надумаешь, послушаю.

Молчат. Потом Краснощеков поворачивает разговор совсем в другую сторону.

— Слушай, а ведь и правда, — оживляется он, — вернули водовозку, и веселее работа пошла в бригаде, даже и народ какой-то другой стал... Надо же, все вертится около какой-то бочки с водой! А тогда прямо в одночасье упразднили ее...

Он умолкает, закуривает. Теперь каждый думает о своем. А может быть, об одном и том же...

## 5.

Да, было время, когда Иванову водовозку упразднили. Прошлым летом перед самым сенокосом заболел Краснощеков. Заболел серьезно, надолго. Стало начальство гадать, кого на его место поставить. И по-

лучалось — некого. Должность-то эта только с виду начальственная, а на деле — так попросту собачья. Мало того что надо в полеводстве разбираться, морочить в технике и вникать одновременно в сотни дел, так еще и уметь с людьми ладить, понимать их. Одни отказывались от бригадирства, понимая, что это за лямка, другие не подходили по разным причинам.

И тут в конторе вспомнили про тракториста и комбайнера Юрку Самопалова. Мужик молодой, чуть-чуть за тридцать, он уже несколько лет слыл передовым механизатором. Водку пил умеренно, но из компаний не выпадал. Было, правда, у него одно завихрение, речи иногда толкал странные, начитавшись газет. Но это списывали на молодость. Юрка перед всей этой канителью с бригадирством на зимнем ремонте серьезно повредил руку. Сделали операцию, подлечили, но с комбайном и трактором ему пришлось распрощаться. В последнее время был на подхвате. То организовывал работы на току в складах с зерном, то хоздвор сторожил...

В общем, назначили Юрку. Он уже в первый день работы, собрав утром бригаду на летучку, убил всех и поведением, и своим внешним видом. Был он в костюме, в рубашке с галстуком и в капроновой шляпе. На ногах — «плетенки» с пестрыми носками. Из карманчика пиджака торчала четырехцветная авторучка, в руках — дерматиновая папка. Короче говоря, начальник.

Он оглядел вагончик, будто видел его в первый раз, подстелил газетку на табуретку, сел и сказал:

— Товарищи механизаторы, я хотел...

Но тут его перебил Костя Пахомов, первым преодолевший шок от вида нового начальника:

— Ты что, Юрка, охренел?..

Самопалов не дал ему договорить, он догадывался, что может быть дальше в пахомовской фразе.

— Попрошу, Константин Васильевич, быть пожепливее, и всех тоже, товарищи... Я думаю, вы помните, что меня зовут Юрием Дмитриевичем...

Начались мучения. У бригадира с механизаторами. У механизаторов с бригадиром. У каждого — свои...

Самопалов и придумал «рационализаторскую идею» по новому снабжению бригады водой. Водовозку — долой. А он, дескать, будет для трактористов утрами привозить на ходке ведерные лагушки с водой. Вот и пусть каждый их в своем тракторе держит. Когда захочет, тогда и попьет. Тут и экономия времени, и не надо коней с бочкой гонять по степи. Кому понравится, могут и сами эти лагушки «заправлять». Не хотят водой, можно и квасом.

И ведь сумел убедить начальство.

Начался сенокос. Наступила жара. И все как-то пошло наперекосяк. Сено, конечно, косили, скирды ставили, вывозили, но не было того настроения, с каким собирались раньше люди, встречая водовоза.

Нового бригадира костерили на чем свет стоит. В лагушках вода, набранная из сважины, становилась теплой и противной уже через несколько часов. Ни умыться толком, ни попить. А ее ведь, пока она холодная, еще и в радиаторы тракторов доливали...

Но тут и в другом было дело, рассуждал Иван. Сенокос у русских людей с давних пор считался праздником. Пусть с тяжелым, даже изнурительным трудом, но праздником. Недаром в поле в это время практически не было нерях или пьяниц. Прихорашивались, наряжались. Обязательно надевали чистое, опрятное...

Теперь стали меньше работать артелью, гуртом даже на сенокосе. Он понимал, что его водовозка — последнее крохотное напоминание о совместном труде «на миру», том, на котором «и смерть красна». Скоро не станет, наверно, примитивных сцепных сенокосилок, не будут вручную укладывать скирды, придумают какие-нибудь машины, при которых и люди-то не нужны... Да и придуманы уже. Просто сейчас время такое — все вперемешку: ручной труд и машинный. А в киножурналах показывают и стогометы современные, и копнителы, и как прессуют траву... До них пока это все не дошло. Но дойдет ведь...

Выздоровел Краснощеков, снова занял место бригадира. Повеселели люди. И вроде грубоват был Данилыч, и до ругани иногда спорили с ним, но всегда знали — свой мужик. Когда надо, будет с тобой под трактором лежать, ремонтировать, а если провинишься, перцу задаст по первое число. Но вот случится праздник в семье, и первое приглашение ему: «Уважь, Данилыч»...

Когда Краснощеков вернулся в бригаду, то спустя пару дней через забор (они по соседству жили) спросил у Коршунова:

— Иван Федорович, ты бочку свою сберег? Не рассыпалась?

У Ивана дрогнуло сердце — неужели?

— Целехонькая, у конюшни стоит. И бричка ухажена... Ты же знаешь, я снова при конюшне, как и зимой, вот и приглядываю.

— В общем, налаживай свое хозяйство. Я с управляющим сегодня разговаривал. Будем снова воду возить на бригаду. Ждут тебя люди.

Все это почти мгновенно пролетает в Ивановой голове. Он смотрит, как бригадир тщательно гасит

папироску, втаптывая ее в землю. Водовоз коротко взглядывает на солнышко: как оно, где? И произносит:

— Пора к грабельщикам.

Пока он возится с конями, Краснощеков обходит кругом бочку, стучит по дереву костяшками пальцев.

— Надо же, — говорит, — все время она у меня на глазах, а только сейчас разглядел, из каких толстых плах сделана. Кто-то ведь думал про жару.

Иван улыбается, и бригадир вспоминает:

— И как я забыл? Ты и заказывал! Старая в ту пору как раз развалилась. Ты мне другое скажи: а вода из скважины чем хуже? Я, например, не понимаю разницы. Женщины наши, наоборот, сильно хвалят, мягонькая, дескать, стирать хорошо. Чего ты с колодезной возишься?

Иван удивляется:

— Да ты что, Данилыч?! Вот уж от кого не ожидал... Да там щёлок один, поэтому она так и мылится. Пить можно, поэтому ее в колонки и провели. Но это — кому как...

— Ладно-ладно, — успокаивает его Краснощеков. — Я к тому что из шланга легче наливать, чем черпать ведрами из колодца. Тут ведь ого-го сколько ведер будет! Под силу тебе?

— Нормально. Мне Тимка мой помогает, здоровый уже. И лед он колет.

— И долго не степливается?

— До грабельщиков додуживает. Лед, конечно, уже растаивает, но до самого вечера вода еще — куда с добром! Да и это помогает, — он хлопает ладонью по толстому брезенту, которым укрывает сверху бочку...

Скирдовщики в это время заканчивают обед, кто курит, кто просто лежит на траве, отдыхает.

Иван едет дальше. Его сенокосный день идет на убыль. Теперь в мыслях у него Краснощеков. Как-то не по-соседски, не по-дружески объяснил ему, почему приехал с юга раньше срока. Да и объяснить-то почти невозможно. Получается, что он чеканутый какой-то, что ли...

«Ладно, — решает, — как-нибудь возьму беленькую, загляну к Данилычу, посидим, выпьем, и расскажу. Он должен понять. Тоже фронтовик».

И снова сам себя спрашивает: а собственно, что рассказывать?

## 6.

На курорте совхозный водовоз Иван Коршунов оказался совершенно неожиданно. Раньше он никогда на юг не ездил, не собирался и сейчас. Туда ехать — это идти выпрашивать путевку, как-то оформлять ее. Он эту канитель не любил. Да и видел: хоть рабочком совхоза путевки и выдавал, но выборочно. Как-то так получалось, что летом да осенью отдыхали начальники или их жены, а зимой простые работяги.

А тут в самом начале июня его неожиданно вызвали в контору. И не к кому-нибудь, а к директору Крохалеву! Конюха-водовоза — к директору совхоза! Иван даже растерялся немного. Пошел.

После приветствий Крохалев сказал:

— Тут, — ладонь директора легла на какие-то бумажки, лежащие на столе, — на тебя, Иван Федорович, пришла именная путевка в военный санаторий. В Крым. Чтобы прибыть туда в срок, надо выезжать через три дня.

— Мне в санаторий? Зачем? — не понял Иван.



— Ну это уж я не знаю, — развел руками директор. — Ты ведь у нас фронтовик? В общем, из военкомата специально приезжали передать путевку.

— А если я откажусь, не хочу?

Крохалев был мужиком прямолинейным:

— А ты, Ваня, не отказывайся. Путевка, я же тебе говорю, именная, то есть на твою фамилию, бесплатная. Ну и потом, мне райвоенком лично позвонил и попросил, чтобы без выкрутасов...

И что тут прикажете делать? Пришлось соглашаться Ивану. Как в известном кино: «куда крестьянину податься?» Когда он развернулся, чтобы уйти, Крохалев не выдержал, спросил, уж очень его разбирало любопытство:

— Может, мы чего-нибудь не знаем, и тебе где-то там, — он показал на потолок, — полковника или генерала присвоили?

Иван почувствовал язвинку в голосе директора, мол, это вполне нормально: конюху-водовозу присвоить генерала. И, усмехнувшись, озадачил Крохалева:

— А кто его знает...

В санатории он понял, что приехал в сказку, был все время напряжен, каждую минуту ждал разоблачения. Даже представлял, как подойдет милиционер: дескать, дяденька, извините, вы попали сюда по ошибке вместо такого-то важного чина, поэтому извольте отсюда под одно место мешалкой.

К концу первого дня успокоился. Стал осматриваться. Попал он, действительно, в военный санаторий, один из лучших в стране, у самого подножия известной горы Аю-Даг. Здесь отдыхали, в основном, офицеры и их жены. Было несколько человек из гражданских. Но, так сказать, условно гражданских — военные пенсионеры.

Сначала он слегка терялся от всего: от идеально чистых номеров, от убранства внутри корпуса, от разнообразия вкусной еды, от людей из обслуживающего персонала, которые бесшумно возникали там и сям, готовые откликнуться на каждую твою просьбу, и даже от аромата воздуха, настоящего на розах, кипарисах и теплом дыхании Черного моря.

Да, море... К нему Иван спустился в первый же день. Было странное ощущение, что он когда-то уже видел его. Огромное, живое, с длинными зелеными волнами. Он чувствовал себя его частью, словно море всегда жило в нем.

Загадка с его присутствием в военном санатории разрешилась на третий день.

Иван, привыкший к постоянной работе в доме, во дворе или в поле, здесь чувствовал себя неловко от вынужденного безделья. Он не мог понять, как можно полдня бесцельно лежать на лежаке у моря или сидеть на диване, уставившись в телевизор. Но как только пытался принять хоть малейшее участие в чем-то — помочь уборщице передвинуть пылесос, полить клумбу или вынести мусор — сразу же раздавалось почти испуганно:

— Товарищ отдыхающий! Извините, вам нельзя, это наша работа...

Он чертыхался про себя и отходил в сторону.

А тут решил поправить плетеную загородку вокруг дерева. Только нагнулся, как услышал:

— Товарищ отдыхающий, не трудитесь, мы сейчас все сделаем!

Иван распрямился и сказал с досадой:

— Да едришкин ты корень!

А ему на это — еще один голос:

— Неправильно! По-другому говорил мой хороший знакомый, когда был чем-то недоволен...

Перед ним стоял высокий дородный мужчина, кого-то смутно напоминавший. Не успел удивленный Иван открыть рот в ответ, как курортник, знакомо прищурившись, продолжил:

— Я говорю, совсем по-другому сказал бы в сорок третьем году сержант Иван Коршунов.

Иван все понял, догадался, узнал... Он уже улыбался, когда спросил:

— А как?

— Помкомвзвода сержант Иван Коршунов сказал бы: «Да ясное ты море!».

— Товарищ майор!.. Товарищ комбат!.. Товарищ Затулин!..

— Почти верно, но не все. И не комбат, и давно не майор. А вот Затулин — это точно. А лучше зови меня Сергеем Александровичем, не промахнешься. А ты, Иван, у нас Федоровичем будешь?

— Так точно.

— Отвечаешь почти как в армии... Не забыл? Больше двадцати лет прошло после войны.

— Разве такое забудешь?

Они сидели в кафе. Командовал за столом, понятно, Затулин. Когда после первых фронтовых добавили еще, сообщил:

— Сразу скажу, чтобы ты не ломал голову. Это я все затеял с путевкой через военкомат. И не тревожься, ничего это тебе стоить не будет, все за счет государства. Положение у меня сейчас такое, кое-что могу. Поворачиваемся, так сказать, лицом к ветеранам войны... Ты извини, встретить я тебя должен был в тот день, как ты приехал, но не получилось, срочные дела, понимаешь, появились. Вот и запутал тебя.

Иван оглядывал богатый стол, помещение кафе. Слава богу, все прояснялось. Спросил о том, что его еще занимало:

— Только непонятно, Сергей Александрович, я-то каким боком здесь? Вроде фигура не та...

— Та, Иван, фигура, самая та! Сейчас поясню. Это я, опытный и битый балбес, промашку дал. Я хотел собрать тех, кто от первого состава нашего батальона остался. А в живых сейчас, дорогой ты Иван Федорович, всего девятнадцать человек.

— Девятнадцать?! — Иван своим восклицанием ненароком перебил Затулина. Он никогда не думал об этом, не размышлял.

— Да, Иван, девятнадцать. Ну и хотелось, чтобы ребята хоть раз в жизни увидели такую вот красоту — море, горы и отдохнули вместе, повспоминали. Ты ведь первый раз у моря? Киваешь. Я так и думал. А мне сказали: сразу девятнадцать нельзя! Санаторий только для военных. Я мужик упорный, да и положение немаленькое, стал давить на все педали. Не надавилось. Вот одного тебя и... продал. Но я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. Соберемся вместе. И всех наших вспомним... всех...

Они снова выпили, посматривая друг на друга, потом Затулин вынул из кармана фотографию, переснятую со старенькой, мутноватой, положил на стол.

— У тебя, случаем, нет такой?

Иван придвинул снимок к себе... И загрохотало, засвистело у него в голове... В центре снимка стоял он с автоматом, за его спиной — молодой Затулин, еще в капитанских погонах, а по бокам — ребята из его саперного взвода. Всего шесть человек. Фотография втягивала в себя Ивана, не отпускала. Он растерянно посмотрел на Затулина.

— Понял, — сказал тот. — Это я на всякий случай спросил. Мне ее из архива фронтовой газеты передали. Ты не помнишь, как на передовую к нам корреспондент приезжал в сорок третьем?.. Вот и я подзабыл. А тут позвонили, увидев на обороте надпись: «Капитан Затулин со своими бойцами». Я, кстати, судя по той надписи на карточке, где число, через несколько дней майора получу. Мне еще распечатали, а эту возьми на память.

Иван никак не мог оторвать взгляда от фотографии. Затулин понял его состояние. Он снова осторожно наполнил рюмки водкой и, приглушив голос, продолжил:

— Я когда вас, пацанов, увидел на этой фотографии, во мне прямо взорвалось что-то. Подумал: ну сколько осталось этой жизни еще? (А я ведь старше вас был). Что сделать, чтобы добром помянуть всех? Вот и попробовал, да как-то все не так получилось. Может быть, это идет и от того, что забывать кое-что стал. Никак не вспомню, например, детали, как фотографировались. Кто-то же скомандовал, готовились. Посмотри внимательнее — награды успели надеть. Значит, передышка какая-то была. Это сейчас в фильмах показывают, как с орденами да медалями в атаку идут. Дурачье! Во время боя это помеха. У тебя, к слову, можно разглядеть «Красную Звезду» и «За отвагу». А «Славу» ты, наверно, позднее получил?.. Помню, представлял тебя за тот мост. Но меня потом в другое место перевели. Не проследил. Да и как это можно было сделать тогда?.. Ты чего так смотришь? Не получал, что ли?

Иван все еще был внутри себя. Он бережно погладил фотографию рукой. Поднял глаза на Затулина и почти просительно произнес:

— Помянем ребят, Сергей Александрович... —  
И встал.

Помянули.

После паузы Затулин хмуро спросил:

— Я не понял, Иван, ты что, орден Славы не получил?

— Да не в этом дело, Сергей Александрович. —  
У Коршунова совсем на другое было настроено в этот момент сердце — он сейчас находился там, на войне. Все остальное казалось неважным, несущественным...

— Именно в этом, именно, — накалялся теперь уже совсем незнакомый Коршунову Затулин. — Я, понимаешь, на всех вас, девятнадцать оставшихся в живых, не просто запрос сделал еще полгода назад, а попросил поднять личные дела и проверить, кто, где и как живет. А про награждения в запросе особо подчеркнул. Сегодня же позвоню, и кому-то мало не покажется за халатность! Ну ошиблись когда-то, так исправляйтесь!

...После кафе Иван пошел прогуляться. Хотел проветриться, освободиться от мучивших его мыслей. Да и тяжело стало к концу застолья общаться с бывшим комбатом. С каждой новой рюмкой он все больше и больше наливался начальственностью. Говорил теперь длинно, путано. Иван, когда сидели, все прикидывал, сколько сейчас лет Затулину и в каких начальниках он ходит. По всему выходило, что в больших. А вот в каких конкретно, определить было трудно.

Он направился в старый уютный парк. Шел потихоньку к его центру и чуть в стороне от аллеи заметил одноногого пожилого мужчину. Тот стоял на костылях перед огромным грабом. У дерева на уровне человеческого роста не хватало большой ветви.

Незнакомец положил на то место, где был спил, цветы. И поклонился. «Дереву, что ли?» — удивился Иван.

Когда остался один, полюбопытствовал: что же там, под цветами? И увидел гладкую, словно сделанную из цемента, заплату. На ней — выдавленную надпись: «Дерево ранено в 1942 году». Иван заплакал... Прорвалось из души то, что накопилось за день. Ему почему-то представилось, что именно под этим старым грабом и был ранен одноногий человек с цветами. И, возможно, этим же снарядом — и дерево.

Вечером в своем номере он достал фотографию и стал ее рассматривать более тщательно. Снова загремело, засвистело в его голове и вокруг него... «Это надо же, — подумал, — прямо на войну приехал, а не на курорт».

И чем дольше вглядывался в снимок, тем сильнее он его притягивал и, казалось, буквально вбирал его в тот военный год, когда он полз с саперным проводом...

Да, полз...

Накануне ночью удалось-таки заложить взрывчатку под опору моста, который костью в горле стоял у нашего командования. Через мост с интервалами шли немецкие танки и мотопехота. Остановить их могло только одно — его уничтожение. Причем сделать это нужно было именно в то время, на которое был назначен прорыв наших войск. Под утро от моста с саперным проводом в сторону наших окопов, где стояла подрывная машинка, ползком продвигались рядовые Авдей Кошелев и Сашка Питиримов из взвода сержанта Коршунова. Но недолго продвигались.

гались. Немцы что-то почувствовали и стали буквально «подметать» простреливаемое пространство длинными очередями из пулемета.

Шло время, саперы не возвращались. Капитан Затулин смотрел на часы и матерился. Он знал: с парнями что-то стряслось. Посылать кого-то еще — значит, отправлять на гибель.

— Разрешите, — тронул его за рукав сержант Коршунов. Он уже не первый раз обращался к комбату.

— Что разрешите, что разрешите?! — не выдержал, сорвался Затулин. — Ты что, охренел?! Не видишь, что там пулемет вытворяет? Тут хоть весь батальон поднимай — толку-то?! А сверху жмут. Комдив только что связывался со мной. Мы для чего, кричит, придали тебе саперный взвод... Ему же отсюда не видно, что здесь происходит. Это сейчас там один пулемет, а только увидят, что мы зашевелились, все эти, что по мосту идут, по нам ударят. И что тогда? Нас сколько? Не знаешь? А я знаю... Батальон, называется. Да хоть бы роту сейчас наскрести!

Коршунов не отступал:

— Надо попробовать, товарищ капитан. Там Авдей с Сашкой остались. Как же они?

Прошло еще полчаса, после чего комбат подзвал к себе Коршунова.

— Вроде притих пулемет. Грех на душу беру. Но другого выхода у меня нет. Действуй, сибиряк. Если что, затаись где-нибудь и лежи, не дергайся. Ночью поднимемся, будем тогда всех вытаскивать. Не бросим.

До ребят сержант дополз быстро, хотя, конечно с остановками, с оглядкой. Они лежали почти рядом. Кошелев — ничком, уткнувшись лицом в землю. Коршунов пошевелил его, потолкал рукой и по-



нял: нет больше Авдюхи с Алтая. Провод был у Питиримова. Иван только коснулся его, тот застонал. Что делать? Сержант прикрепил бухточку с проводом к своему ремню, ухватил Сашку за руку, почти у плеча, и стал потихоньку его тащить. Тут же проснулся немецкий пулемет и хлестким бичом очередей стал полосовать землю рядом с Коршуновым. Одна с глухим стуком прошила Питиримова. Он дрогнул, вытянулся...

— Простите, братцы, — прошептал Иван и откатился от ребят в сторону.

Пулеметчик словно играл с ним. Или это сама судьба насмеялась над сержантом, который полз к своим с саперным проводом? Очереди ударили то справа, то слева, то спереди, то сзади. Но Ивана пули щадили. Были в этой смертельной игре короткие передышки. Сержант догадывался — немец менял пулеметную ленту. В это время он полз быстро, рывками, продирая насквозь одежду и срывая кожу на локтях и коленях.

Единственная, как потом оказалось, мина прилетела, когда он был уже в двух метрах от спасительного окопа и навстречу ему выскочили двое солдат. Взрыв разметал их. Солдатики были ранены. Стонали. Коршунов молчал.

— В окоп их! — срывая голос, прокричал комбат, а сам, схватив провод, стал его торопливо зачищать и засовывать концы в подрывную машинку. Через полминуты мост вздыбился, стал оседать и рушиться. До окопа докатилось эхо...

Затулин стоял перед распростертым Коршуновым. Лицо у сержанта было черное от копоти, смешанной с землей от взрыва.

— И что он?

— Ни одной царапины, товарищ капитан, — ответил санитар, — да вот, видите... — И стал снимать каску.

— Погоди, не торопись, — остановил его Затулин.

Комбат заметил, как слегка дрогнули серые губы Коршунова, и сержант явственно сказал:

— Ясное море!

Открыл глаза, посмотрел мутно на всех:

— А мост? Ребята?

— Нет моста, — ответил Затулин. — Ты взорвал, сержант. И твои ребята.

Коршунов снова потерял сознание, но ненадолго. Контузия была легкой...

Утром из приоткрытого санаторного окна Иван услышал знакомый голос. Сергей Александрович что-то сердито и приглушенно бубнил, а другой, молоденький голос отвечал:

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант! Все будет исполнено в срок, отдыхайте.

— Да с вами тут отдохнешь! Ты директивы министра обороны, как я приказывал, по штабам разослал?

— Так точно, разослал.

Иван закрыл окно. Надо же, Затулин — генерал-лейтенант! Что большой начальник — это ощущалось. Но чтобы такой — Ивану и в голову это не приходило. Бывший комбат в санатории был все время в гражданской одежде...

Они потом еще несколько раз встречались с Затулиным, сидели в кафе, говорили о войне, вспоминали, выпивали. Иван чувствовал себя скованно. И не только оттого, что узнал о генеральстве Затулина, а вообще от всей этой курортной жизни. Иногда,

словно очнувшись, удивлялся: «Елки-палки, куда меня жизнь занесла? Живу как барин какой-нибудь, с генералом водку пью. Ох, как бы не полететь отсюда вверх тормашками...»

Ему казалось, что самое главное они сказали друг другу при первой встрече. Ну какие они, к шутам, собеседники? У него вон с министром обороны дела! Иван теперь как ни старался, с трудом соотносил того, близкого ему боевого комбата, с генералом.

Затулин все чаще отвлекался на свои военные дела, выезжал из санатория. А Иван в конце второй недели пребывания на юге затосковал. Он уже побывал на экскурсиях в Севастополе и Гурзуфе, сходил на Аю-Даг, поднимался на Ай-Петри, несколько раз прокатился на прогулочных катерах по морю. Все было вроде хорошо, но происходило будто не с ним, а со сторонним человеком. Однажды чуть не поругался с врачом, который заставлял его ходить на оздоровительные процедуры. Иван отказывался.

— Вы мне скажите, — резонно спрашивал он врача, — он, осколок-то мой, что до сих пор торчит у позвоночника, рассосется, что ли, от ваших ванн? Нет? А я, между прочим, из-за этого профессию, о которой мечтал, не смог приобрести... Так-то.

Потом казнил себя: врач-то при чем? Он разве виноват в его ранении?

И еще заметил, что с каждым днем становится раздражительнее и говорливее. Стал почти непрерывно думать о доме, об Ане и ребятишках. Подсчитывал, будут ли после его приезда еще петъ жаворонки или уже рассядутся по гнездам. Иногда мысленно ругался с Володькой Малыгиным. Тот вместо него сейчас остался. Наверняка ведь замордует по жару

коней, а уж воду-то точно из скважины набирает, а не из колодца.

Но больше всего угнетали праздность и отсутствие степного простора. В общем, хотелось сбежать отсюда, как говорится, куда глаза глядят.

Произнеся внутри себя однажды эти слова, решил: «А почему, собственно, сбежать? Я же не в тюрьме? Соберусь да и поеду домой!»

Сразу стало легче на душе, и он начал обдумывать, как это сделать.

Казалось, что препятствия были небольшими. Иван знал, что обратный билет ему уже куплен на определенное число, но у кого его получить, не мог сообразить. Еще слышал, что по возвращении нужно сдать в военкомат санаторную карту. Отмахнулся и от того, и от другого. В конце концов, он сюда не напрашивался. Кое-какие деньжонки у него были, на билет и обратную дорогу хватит.

Как подумал, так и сделал. На второй день Коршунов со своим чемоданчиком выходил из санатория. Его задержали у проходной, и он страшно этому удивился, думал, что стеклянная будка стоит у ворот для видимости. А тут вежливо спросили:

— Извините, вы отдыхающий?

— Да, — ответил Иван.

— Выписались, выезжаете?

— Да, — снова ответил он и хотел пройти дальше, но его потверже, с нажимом остановили:

— Предъявите, пожалуйста, санаторную карту, нужно сделать отметочку...

Короче, приехали... Вернее, приехал Иван Федорович Коршунов назад в свой санаторий.

Через полчаса он сидел в кабинете заместителя начальника санатория, а тот допытывался:

— Скажите, пожалуйста, по какой причине вы раньше времени решили прервать отдых? Вас кто-то обидел?

— Нет, все в порядке, никто меня не обижал.

— Выходит, вам что-то не понравилось? Может быть, лечение, питание, условия проживания?

— Я же говорю, все нормально...

— Но как же так? Ведь что-то послужило причиной того, что вы прерываете санаторный курс?

— Хорошо, отвечу честно. Я просто хочу домой. Соскучился.

Тут медицинский служака (Иван, поглядывая на него, гадал, в каких он военных чинах) сказал то, что, по-видимому, не должен был говорить. Оплотность эту он допустил, скорее всего, не сумев побороть свою спесь, ставя, как он думал, Ивана на место.

— По своим коням соскучились, Иван Федорович?

Иван вздрогнул от этого вопроса. Сразу стало тоскиво и противно. Он сообразил, что здесь он не просто отдыхающий, про него знают почти всё, с самыми мелкими подробностями. И, наверно, даже приглядывают за ним по просьбе Затулина.

— А вы спросите об этом у генерал-лейтенанта Затулина, — неожиданно для самого себя ответил он, — а я проверю.

Санаторный хам побледнел.

В коридоре Коршунов почти столкнулся с генералом.

— Привет, Иван! О! Куда это ты с чемоданом?

Коршунов понял, что ему нужно делать.

— Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Я домой собрался. Помогите мне, пожалуйста.

— Домой? И чего это ты так официально? Погоди, погоди... Тебе же еще рано домой?

— Вы только выслушайте меня, пожалуйста... Измучился я здесь, понимаете, не мое это все, — обвел он рукой вокруг себя, — здесь, конечно, замечательно, сказка... Но как же все время сидеть без работы? Не понимаю. Сейчас вот лето-летечное стоит, столько у нас дел. Сенокос идет. Все люди в поле. А дома? Сарай надо достроить, дрова на зиму наколоть, уголь привезти, детей обиходить, одеть, обуть к школе... Да и Ане моей помощь нужна. Мы ведь там с огорода да с сарая в основном живем... У нас хоть и Сибирь, а жары в эту пору стоят несусветные. Поливу, знаете, сколько? Она же, бедная, руки себе с ведрами, наверно, отмотала напрочь...

Увидев, как серьезно его слушает Затулин, Иван, осветившись детской улыбкой, сказал:

— Вы вот говорили, как товарищей наших фронтовых собрать? А приезжайте все к нам в деревню! Знаете, как мы вас встретим! И самогончики нагоним сибирской, и ушицу такую заварганим с дымком, что запах на всю степь пойдет! А столы накроем на улице, как после Победы делали... Рядом с вами посадим деда Дорофея. Есть у нас один старикан такой золотой, еще в «германскую» воевал... И правда, давайте соберемся у нас! От всей нашей Сибири приглашаю! Я ничего не говорю, здесь хорошо, здесь очень даже хорошо... Но, понимаете, товарищ генерал, это не для нас, не для солдат...

Остановился. Замолчал.

Генерал смотрел в окно. Глаза у него блестели.

— Дай-ка ты мне руку, сержант Коршунов, — и так сжал ее, что у Ивана ладонь занемела. — Поэтому мы и выиграли тогда войну, Иван, понимаешь, поэтому... Потому что мы... Потому что вы... Да, именно вы... — он махнул рукой. — А вопрос мы твой сейчас

в момент решим. — И, распахнув дверь, без стука вошел к санаторному начальнику.

И поехал Иван домой.

## 7.

У грабельщиков и копнильщиков Иван задерживается ненадолго. У этих ребят работа как бы на особицу, то есть не артельная. Какая артель, если трудятся группками по два-три человека? Один в тракторе сидит, другие на сцепе. Между собой почти не общаются. Иван за много лет заметил, что люди на грабли и копнителы словно специально подбираются молчаливые, сосредоточенные. И на этот раз у них все происходит быстро, по-деловому, почти без слов. Пьют, наполняют лагушки свежей водой, курят — и снова за дело. Никаких тебе обливаний или шуток. Ни здравствуй, ни прощай. Такой вот здесь народец...

После них Иван отправляется к своему любимому яру проверить сено, которое скошил утром. Он с удовольствием отмечает, что трава подсохла. Радует, что не ошибся. Хотя как тут ошибешься, если жара стоит день-деньской? Он сгребает сено граблями в кучи, затем складывает его в высокие островерхне копны. Времени в запасе у него еще много, поэтому не спешит. Часто останавливается. Стоит, глядясь в синеющие на горизонте просторы, потом спускается вниз к воде, слушает птичью возню в камышах. Закончив работу, сидит, отдыхая, на любимом месте своего отца. Когда озеро становится розовым от предзакатного солнца, поднимается, говорит лошадям:

— Ну что, братцы, давайте собираться домой.

И снова кони трюпают по дороге, снова Иван потихонечку напевает:

— На-ри-на-ра-на-ри-на-р-а-а...

Солнце завершает дневной путь, опускаясь за дальнюю гриву. Оно теперь у него за спиной. Иван часто оборачивается. Много его еще осталось? Лошади бегут домой быстрее, охотнее. Да и водовозка стала намного легче. Впереди легкая пыль от прошедшего недавно стада. Воздух пахнет травой, молоком, деревенским уютом.

Иван подъезжает к дому, распрягает коней, спутывает их, и они, неуклюже подпрыгивая, скачут к роще, где и будут пастись до утра.

А он хлопочет около брички: переливает остатки воды в колоду для домашней скотины, подмазывает колеса, аккуратно развешивает сбрую на заборе. Делает все не торопясь, обстоятельно. Слушает, как его Аня доит корову. Струйки молока сначала громко звенят о подойник, а когда ведро наполняется, становятся шуршащими, потом и вовсе затихают... Ребята еще на улице, в ограде толкуются. Тимка, как всегда, захлебываясь словами, что-то доказывает Андриюшке.

Ивану по сердцу этот полусумрак, который будет еще долго висеть над летней землей. Нравятся женские голоса — они так странно и высоко раздаются в воздухе в эту пору. Это хозяйки ищут овец, забредших в чужие дворы. У Николая Рогозина, что живет слева, гудит паяльная лампа, справа кто-то торопливо ширкает ножовкой. Наверно, Данилыч уже вернулся и торопится что-то доделать. В сенокосные дни мужикам всегда не хватает времени...

А тут и Аня выходит за ворота...

— Вот и Ваня приехал, — говорит она приветливо, — я уже выглядывала два раза, да прозевала... Чего во двор-то не идешь?

— Сейчас, Аня, сейчас...



Он еще немного медлит, глядя на рдеющую полосу заката на западе, на первую проклюнувшуюся звезду.

За ужином Аня сообщает ему новость:

— Не знаю, как и сказать, Ваня, потому что не все поняла... К тебе из военкомата приезжали. Офицерик. Такой ладный, высоконький. Сказал, что послезавтра надо у них быть в двенадцать часов. Да как-то строго так сказал: «В двенадцать ноль-ноль». И заторопился, заторопился — ему машина сигналлила с улицы... И вот тут я не совсем поняла... вроде как фронтовой друг твой Слава нашелся, что ли? Не помню, чтобы ты упоминал такого... Я про другое подумала: не заругают ли там тебя, Ваня, за то что с курорта раньше уехал? У них за это, наверно, деньги проплачены... Как бы не высчитали?

Иван хрустит молодым огурчиком, улыбается. А сам прикидывает в уме: «Что-то уж очень быстро все провернулось. Две недели в санатории, столько же потом дома догуливал, восемь дней на дороге. Если Затулин, действительно, звонил сразу же, как они встретились, на третий день, то... Месяц с небольшим, получается? Впрочем, если документы были давно готовы и просто где-то валялись, то вполне могло сложиться. Только вот интересно, где они лежали — столько лет после войны прошло...»

Жену успокаивает:

— Не высчитают, Аня. Не беспокойся. Это по другому делу, по хорошему.

А про Затулина думает: «Нормальный мужик, не растерял своего комбатовского характера...»

После ужина, только касается подушки головой, как ему сразу снится море. Ясное-ясное, чистое-чистое. Сразу за ним, то есть за морем, родная степь. На берегу, на траве, рядом со скирдами сена стоят ребя-

та из его взвода и Затулин. Как на той фотографии, которую он подарил Ивану. И ребята те же, только не с автоматами и винтовками, а с литовками и граблями. Затулин говорит:

— На сенокос к тебе, Иван, пожаловали. Возьмешь в свою команду? Только к обеду чтобы водичка была холодненькая из колодца. Обеспечишь, сержант?

Иван смущается, машет на них руками:

— Да ну вас, придумали тоже...

И просыпается. С полминуты соображает, переплывая из сна в действительность, где он?

— Дома. Я дома, — шепчет он счастливые слова.

И снова засыпает.



## ЗАГОНКА

Директор акционерного общества «Степноозерный» Иван Прохоров только вошел в кабинет, как зазвонил телефон.

— Иван Иваныч, — забасила трубка, — это Борунов. — Прохоров узнал начальника районного сельхозуправления. — Много у тебя необранного осталось?

— Заканчиваем. Гектар двести еще стоит. Если всю технику туда подтянем, то дня на два работы.

— Это алексеевская пшеница, что ли?

— Ну да, та самая, экспериментальная, будь она неладна. Ох и повозились же мы с ней.

— Вот черт, — вздохнул Борунов. — И как она?

— Сроду такого урожая не было! Один круг по загонке сделали, так центнеров по сорок на гектар выходит.

Прохорову было слышно, как Борунов снова вздохнул в трубке.

— В общем, так, Иван Иваныч, знаю, что ты людям выходной объявил, но назавтра передали штормовое предупреждение: и дождь, и снег, и ветер. Почти как в песне. Полный комплект. Что хочешь делай, а за ночь пшеницу нужно убрать.

— Да ты что?! — Прохоров устало присел на стул, выцепил из мятой пачки беломорину. Его рябое от оспин лицо зарозовело. Одной рукой он держал телефонную трубку, другой шарил по карманам, искал спички. Не нашел.

— Я же только сейчас оттуда, с Алексеевской гривы, — накалялся он. — Мужикам сказал, чтобы пораньше закончили и завтра не выходили. Они же три недели пластались без продыху. По четыре часа спали...

— Да подожди ты, Иван, не кипятись, — Борунов снова перешел на неофициальный тон. — Я, что ли, погодные сводки составляю? У тебя вот двести гектаров осталось, а у соседей твоих, таинцев, половина пшеницы на корню. «Вечный зов», туды их мать, всю осень смотрят! И ничего не скажи — перестройка! Это я уж с тобой так говорю по старой памяти, знаю, что ты меня не пошлешь... В общем, я тебя, Иван, предупредил, а дальше как знаешь.

Спичек в карманах Прохоров так и не нашел. Он понял, что забыл их в машине и полез в ящик стола, где про запас держал несколько коробков. Закурил.

За окном совхозной конторы сентябрь приканчивал зелень, раскрашивая кленовую и тополевою листву розовым, оранжевым и лимонным цветом. В последнее время директор в кабинете почти не бывал. В конце августа упала на Кулундинскую степь сухая благодатная осень, и он все дни пропадал в полях. Урожай в этом году, как говорил его агроном Евдошкин, разразился страшный, такой, какой приходится на эти трудные степные земли раз в пять-семь лет. Оставалось только молиться на небесную канцелярию. Прохоров не молился, но, когда забегал в дом своей матери, нет-нет да поглядывал на потемневшие иконки...

Он был директором старой закалки, переделывать себя не собирался, жил по раз и навсегда заведенному порядку. Мотался по полям и токам, говорил с людьми, убеждал их, материл, угрожал, сам иногда садился за руль комбайна — словом, вывора-

чивался наизнанку, чтобы только дело шло, чтобы пшеничку косили, молотили, свозили на тока. Ему верили и чертомелили до надрыва. Правда, он ощущал тот предел в работе, когда нельзя уже ни приказывать, ни просить. И на этот раз, почувствовав, что механизаторы выдохлись, объявил выходной. И вот на тебе — штормовое предупреждение! С какими глазами теперь ехать к ним, что говорить?

Но ехать было надо. За руль уазика уселся сам. Серега Кузнецов, его шофер, сунулся было с вопросом, но Прохоров отрезал:

— Отдыхай, сам поеду. Людмиле моей скажи — буду поздно, а то и вовсе заночую в бригаде.

Сначала заехал на ток. Почти вся шоферская братия сидела под навесом склада. Курили, травили анекдоты, хохотали. Их он уговорил на удивление быстро. Да они и не переработались. Кроме того, он знал, чем взять этих гавриков. Каждый шофер, как и все в деревне, держал хозяйство, скотину. А значит, на зиму обильно запасались кормами. На этом и сыграл. Побалагурив, директор сказал:

— В общем так, мужики, кто сегодня в ночь выйдет на работу — кроме премиальных, после уборки дополнительно каждому выдам по три центнера зерна.

Помолчали, затылки почесали и согласились.

А Иван Иванович помчался к Алексеевской гриве. Дорога шла мимо редких березово-осиновых околков, нестерпимо пылающих желтой и бордовой листвой, мимо обмелевших к осени озер, поднималась на гривы, опускалась в низины. Он любил эти ясные дали, когда глаз охватывает сразу много пространства.

Однажды зять Валерка, сманивший дочку Ивана Ивановича жить в Ростовскую область, его подку-

сил. Они тогда в перерыве гулянки оказались вдвоем на веранде.

— И что ты, отец, нашел в этой степи? Все равно как... эта самая, побритая. Дикость и пустота. И как вы здесь живете?

— А ты еще и дурак, Валерка, — с неожиданной злостью ответил ему Прохоров, сплюнул окурок и ушел в дом.

Зять обиделся и с тех пор в Степные Озера не приезжал. Ну он-то ладно. А Лидка? Ведь дочка родная, выросла тут! Нет, тоже удила закусила, телеграммками отделяется.

— Ну и еще раз дураки, — подытожил Прохоров по пути к Алексеевской гриве. Он так и не придумал, что скажет комбайнерам, как их будет уговаривать.

По совести сказать, он не понимал, на чем держится в последние годы их хозяйство, бывший совхоз «Степноозерный», а нынче акционерное общество с таким же названием. Может, все дело в привычке? Он по привычке командовал, ему по привычке подчинялись. Или в чем-то другом дело? Вон в бывшем Таинском совхозе, про который говорил Борунов, действительно все перевернулось с ног на голову.

А началось с того, что приехал туда прошлым летом с виду неприметный длинный хлопчик. Сразу после выпуска из сельхозинститута, агроном. Тут как раз назначили выборы директора. Демократия же, мать ее за ногу... Длинный этот хлопчик взял да себя и выдвинул. Да как начал речами сыпать! Да гладко так, да напористо. Вы, мол, мужики — рабы коммунизма. Мантулите без выходных и проходных зиму и лето, а что видите? Если меня выберете, ваше хозяйство на научной основе станет развиваться, по самым современным канадским методам. И деньги у

вас будут, и сено, и комбикорм, и по два выходных в неделю, и нормированный рабочий день...

Прохоров даже сейчас, вспоминая это, хмыкал и крутил головой. Нормированный рабочий день! Это в селе-то? В летнюю да в осеннюю страду?!

А хлопчика того, между прочим, неожиданно для многих выбрали директором. И понеслась Таинка в пляс! Что ни день — что-то новое отчебучат. Стали механизаторы в поле работать с девяти утра до шести вечера. Старики чуть с ума не посходили: травы цветут, время самое золотое, сенокосное, солнце еще бог знает где, а работнички домой едут культурно отдыхать! А в эту уборочную еще и умные дяди с московского телевидения отличились. Сразу после вечерней программы «Время» стали повторять известный кинофильм «Вечный зов». Так таинцы на общем собрании единогласно решили, чтобы их с полей автобусом прямо к началу картины подвозили. Это когда пшеницу можно напрямую молотить до двух ночи!

После одного из совещаний в районе этот длинный хлопчик, новоиспеченный директор по фамилии Гринько, подошел к Ивану Ивановичу:

— Поблизости живем, а в гости не заезжаешь, — неожиданно, на ты, вроде как начал упрекать он пожилого Прохорова. — Деревни-то наши всего в семи километрах друг от друга. А у нас много чего интересного можно посмотреть сейчас...

— После уборки заеду, — отцепил его от себя директор, а сам подумал: «Эх, соплячок ты, соплячок... Посмотрю я на тебя, когда ты урожай соберешь да перезимуешь со своим хозяйством. Это тебе не экзамены сдавать в институте».

Прохоров издали увидел, что мужики собираются домой. Комбайны были согнаны в одно место

под яр. Подъехал ближе — точно, собираются. Одни умывались, другие выхлопывали одежду. Иван Зимин устало сидел на траве, привалившись к колесу комбайна. Борис Мокров что-то рассказывал своим друзьям — Вальке Писаренко и Сергею Геращенко.

— Не заблудились, Иван Иванович? — подошел к Прохорову пропыленный насквозь деревенский зубоскал Генка Рощин. — У нас же с вами только два часа назад было свиданьице? Или соскучились по ударникам жатвы?

Прохоров и вправду улыбался ему, как невесте на свидании. А куда деваться? Поулыбаешься, когда тут такое дело.

— К хорошим людям можно и несколько раз в день заезжать, — принял Генкин тон директор.

Он сел рядом с Иваном Зиминным на траву. Иван был в спелых мужицких годах, чуть за сорок пять, и, как все в его роду, носил на щеках кирпичный румянец, а на губах — неожиданно-застенчивую улыбку.

— Савельич, — обратился к нему по отчеству Прохоров, покосившись на самодельную папиросу, — отцовский куришь?

— Его, — устало улыбнулся Иван. — Отсыпать?

— Давай, больно уж хороший табачок твой батя делает.

Отец Ивана Зимина выращивал лучший табак в селе, и сам, несмотря на возраст, нещадно дымил.

Иван как-то спросил:

— Он тебе, табак-то, не вредит, батя?

— Да ты чо, Ванька? — удивился тот. — Табак — он, кому надо, силу дает. Я как-то после войны пробовал бросить, так, веришь, думал, помру.

Сидели под комбайном, курили. Прохоров не знал, как приступить к непростому разговору. Прислушивался.



— Ох и дам же я сегодня жару! — говорил и жмурился Генка Рошин. — Я передал своей, чтобы баню натопила. Приеду — и сразу на полок. Наведу кипятка в тазике, а туда — веник. У меня тесть хар-рошие веники вяжет. В каждый вплетает одну смородиновую ветку. Запарю его, вытащу, к лицу приложу — запах! Потом пару ковшичков на каминок брошу и не сразу, прошу заметить, не сразу, а после хорошей выдержки, когда первый пот сойдет, начну листиками по телу щекотать... А потом как дам чесу!

— Тебе, Генка, писателем бы быть, — отозвался на банные рассуждения Валентин Писаренко, молодой худенький комбайнер. — Так расписываешь, аж тело зудится. Моя-то, наверно, тоже догадается натопить баню.

— Да какая у тебя баня! — отмахнулся Генка. Он еще жмурился, весь во власти своего рассказа, будто и впрямь только что сидел в парилке на полке, а его оттуда силком выволокли. — Был я у тебя, пожадничал ты на доски, скопидом. У тебя же в парилку моя задница с трудом влезет. А уж я сделал — хоть ложись, хоть садись, а хоть с бабой играйся.

Мужики засмеялись, а Прохоров подумал: вот зубоскал вроде Генка, а в работе основательный, мастеровитый. И баня, и дом, и сарай, и гараж — все у него добротное, сделано крепко, с выдумкой. И механизатор стоящий. Чуть где какая поломка — все к нему бегут. И тогда Генка превращается в Дмитрича. «Выручи, Дмитрич», — обращаются к нему. Он, конечно, поехидничает, шутливо поломается, но поможет. И пацаны его любят. Всегда во время сенокоса просят к нему на сцеп...

— А я, братцы, пельмени уважаю, — совершенно неожиданно свернул с банной темы на кулинарную Серега Геращенко. Когда он говорил, его лицо преоб-

ражалось и становилось каким-то хищным. Почти все зубы у Сереги были стальными. — Галя моя знает это и в морозилке всегда сотенку замороженных держит. Банька — это само собой. Но хорошо после нее стопарик холодненькой под горячие пельмени бабахнуть.

— Отставить! — закричал, ерничая, Роцин. — Отставить эту тему, а то мы до дома не дотянем и точно кого-нибудь на пельмени или шашлык пустим. Кстати, Иван Иванович, вы по дороге автобус не встречали? Где это он, собака, заблудился?

— Не встречал, — ответил Прохоров и поймал на себе вопрошающий взгляд Зимина.

— Что-то случилось, Иван Иваныч?

Стало тише, и Прохоров решил, что сейчас он и скажет про непогоду. И еще понял — многое сейчас будет зависеть от заводилы Генки.

— Да, есть один неприятный момент, Иван. — Он говорил одному Зимину, а сам чувствовал — все ловят каждое его слово. — Бурю на завтра с утра обещают. Ветер и дождь со снегом. Вот ломаю голову, что делать, а придумать ничего не могу... С вами хочу поговориться.

Прохоров ожидал, что мужики загомонят, закричат, протестуя. Но они молчали. Только Валентин Писаренко пробормотал:

— Навернулась банька-то...

И, конечно, тут же к Прохорову чертом подскочил Генка Роцин. Все смотрели на него, ждали, что скажет. Генка, как всегда, скалился во все зубы, но глаза были усталыми, злыми и серьезными.

— Ну хорошо, выйдем мы в ночь, — заговорил он, обводя всех взглядом, как бы приглашая мужиков к общему разговору. — Хлеб сухой, давно дошел. Можно не на свал работать, а молотить напрямую. А кто

вывозить будет? Это же все совхозные машины поднимать надо.

— С шоферами я договорился, — ответил Прохоров.

— Договорился? — Генка будто споткнулся на бегу. — Ну тогда... — он искал какие-то слова и никак не находил. И ляпнул первое, что пришло в голову, совсем как пацан: — А что нам за это будет?

Мужики оживились, заговорили почти разом:

— И правда, Иваныч, зазря, что ли, горбатиться будем?

— Ага, жди, орден Сутулова тебе пожалуют.

— В Тайнке вон и убирают, и по два выходных имеют.

Разговор приобретал опасный уклон. Прохоров встал, отряхнул брюки от приставшей соломы и неожиданно сказал:

— А что хотите, то и просите. — И тут же, спохватившись, добавил, — в пределах разумного, конечно.

Генка не выпускал инициативу:

— А нам много не надо, верно, мужики? Ящик водки и хороший шашлык... Ты, говорят, Иван Иваныч, на гулянках с районным начальством такие шашлыки делаешь, что пальцы откусишь. Вот, пока мы полюсу добивать будем, и нажарь нам, а? Очень уж хочется хоть раз в жизни директорского шашлыка попробовать. Но чтобы вволю. Заодно и погуляем, и отдохнем.

Прохоров направился к уазу.

— Вы куда, Иван Иванович?! — закричал ему вслед Генка. — Что, не понравилось наше предложение?

— Как куда? — обернулся Прохоров. — За водкой и шашлыком. Покемарьте пока, через час буду.

Но приехал еще раньше. Не выходя из машины, поманил к себе Рощина, посадил рядом с собой и

снова умчался в степь. Когда вернулись, Генка вылез из легковушки какой-то озадаченный.

Подходя к комбайнерам, еще издалека начал говорить:

— Ну что, мужики, давайте заводите своих коней, а то от деревни уже машины наяривают, а у нас — ни одного бункера...

— Подожди, а шашлык? — спросил кто-то.

Генка смущенно хохотнул, словно припоминая что-то необычное:

— Да все точно, мужики, на том краю полосы стоит ящик с водкой, а рядом баран, за колышек привязанный, ходит, бекает. Так что — поехали.

Прохоров стоял посредине гривы, у кромки пшеничного поля, курил. Слабый ветерок пошевеливал тугие стебли, и легкое, как зыбь, желтое волнение уходило до самого горизонта. Не верилось, что все это к утру будет скошено, обмолочено и зерном лежать в ворохах на току.

Вечер был ясный. Солнце полого садилось за гриву, и в тревожные метеосводки не верилось. Директор теперь даже подумать боялся, что они не сбудутся. Тогда мужики из него самого шашлык сделают. На горизонте показались светящиеся точки. Это шли комбайны с включенными фарами. Так они будут двигаться туда и обратно, сбрасывая на жнивье копны соломы и, оставляя все меньше и меньше нескошенной пшеницы.

Он несколько раз сходил под яр, поросший боярышником и березами, натаскал сушняка и развел костер. Хотел, чтобы набралось побольше углей. Да и ребятам будет видно, что он их ждет.

Потом, почему-то заторопившись, вытащил из машины два больших куса брезента, несколько буханок хлеба, эмалированный таз, ведро с огурцами

и помидорами, вязанку лука. Достав из-под сиденья нож и попробовав лезвие пальцем, сказал, глядя в сторону:

— Прости меня, Господи... Ну, что, барька, будем из тебя шашлык делать.

Прохоров свежевал барана, нарезал мясо, складывая его в эмалированный таз, а сам все посматривал в поле. Быстро темнело, но только половина неба была занята звездами. Другую затягивало тучами. Когда сидишь у костра, темнота вокруг кажется плотнее. Но Прохоров видел по огням комбайнов, которые обкашивали пшеничную полосу с двух сторон, что они приближаются к центру, а значит, огромная загонка постепенно уменьшается. Иногда в небо вздыбливались лучи фар — это поднимались на гриву машины, едущие за зерном и возвращающиеся с ним на ток. Прохорову с детства были знакомы эти картины, но всегда, наблюдая за игрой света в ночном небе, находил в ней что-то тревожное и нереальное.

Жаря шашлык для комбайнеров, он мысленно представлял, как будут гулять мужики после того как добьют эти самые двести гектаров. Сначала с заковыристыми шутками умоются, после усядутся на брезент вокруг еды и выпивки, восклицая: «Вот это стол, ну даешь, Иваныч!» Или что-нибудь в этом роде... Потом выпьют по первой и замолчат. А вот когда добавят еще пару раз по полстакана, начнутся смех, разговоры с перебиванием друг друга. В общем, пойдет почти настоящая деревенская гулянка, которая только со стороны кажется бестолковой. На самом деле, есть в ней и свой смысл и свой порядок...

Получилось по-другому. Стало брезжить на востоке, когда, пройдя свой последний ряд, подъехал на комбайне Иван Зимин. Он спрыгнул с лесенки, равнодушно обвел глазами богатую закуску, бутыл-

ки, отблескивающие от костра, сел прямо на землю и закурил. Стали подъезжать другие. Лица у всех были в серой пыли, словно застывшие маски. Комбайн Валентина Писаренко подрулил последним. Заглох мотор, и стало тихо. Слышно было, как открылась дверца кабины и простучали сапоги по лесенке. И... пропал...

— Валька, ты чего там? — окликнул его Генка и решил проверить, что случилось.

Подошел. А тот спит прямо около комбайна. Генка растолкал его, привел. Валентин смущенно улыбался и крутил головой:

— Вот это загонка получилась...

— Что, шибко большая для тебя? — попытался войти в разговор Серега Геращенко.

— Да нет, я в другом смысле: мол, загонка получилась для нас...

— А-а-а, так у нас в деревне вся жизнь — загонка... Хотя нас хрен загонишь. А? Иван Иваныч?

Почти не переговариваясь, умылись, кое-как уселись на брезент. Прохоров не знал, что говорить. И все-таки, разлив всем водку и посмотрев на каждого, сделал попытку:

— Хочу сказать вам, мужики... — А дальше заклинило. Но он все-таки выдал враз севшим голосом: — А вы говорите: таинцы...

И, отвернувшись, долго смотрел в степь, точно увидел там что-то необычное...

Выпив по второму разу, мужики натаскали из копен соломы и стали укладываться спать. Уснули. Только Генка Роцин несколько раз возвращался к костру и говорил Прохорову одно и то же:

— Ты нас уважил, Иваныч, а мы тебя...

Скоро утомился и он. Дождь пошел, когда совсем рассвело. Он гулко, часто бил по брезенту, на-

тянутому между комбайнами. Спящие люди ничего не слышали.

Прохоров смотрел на степь, затянутую мокрой пеленой. Он представил, что стало бы с пшеничным полем, если бы в эту ночь комбайнеры не приехали сюда.

И вдруг шагнул прямо в падеру, в ее мокрую круговерть, и пошел по стерне, по раскисающему на глазах убранному полю. Ветер с дождем лупили по лицу, заставляя сгибаться почти до земли, выбивая то нервное напряжение, которое держало весь вчерашний вечер и всю ночь.

Неожиданно все стихло. Он увидел, что стоит перед небольшим огрехом — несокошенным клинышком пшеницы. Удивился. Начал прикидывать, чей это мог быть ряд. Высчитал. Скорее всего — Валентина Писаренко, приехавшего последним. Ему показалось странным, что один из лучших комбайнеров так промахнулся, скривил и оставил необрушенный клочок. Что же здесь ночью случилось? Заснул, что ли, на мгновение в этом месте Валентин и поэтому вильнул в сторону?

Подошел ближе. И тут из недокошенного участка выскочил промокший заяц и задал стрекача. Метров через пятьдесят остановился, оглянулся, как бы упрекая Прохорова за то, что тот его спугнул, и поскакал дальше.

Директор засмеялся:

— Что, и тебя загнали, косой?

Он представил, как было дело. Писаренко обкашивал свою загонку, когда в свет его фар попал заяц. И каждый раз, когда комбайн приближался к тому месту, где он прятался, зверек перебежал от надвигающейся на него ослепляющей громады в спасительную тень еще не скошенной пшеницы. А потом за-

гонка стала совсем узенькой. Ее и недокосил Валентин, чтобы не покалечить зайца.

Когда Иван Иванович вернулся, дождь снова разошелся... Директор глядел на спящих мужиков, и перед глазами вдруг встала картинка: его взвод, спящий вповалку после боя около одной украинской деревеньки... Он отмахнулся от видения — не любил вспоминать войну.

— Отдыхайте, солдатушки! — сказал он механизаторам. — Хорошо повоевали.

Неожиданно приподнялся Генка Рощин, обвел всех непроснувшимися глазами и произнес:

— Так точно, Иван Иванович! А шашлык был — во!.. — Поднял вверх большой палец и снова упал на солому.

Прилег и директор. Дождь продолжал греметь по брезенту. Он теперь никого не мог напугать.





## НА ДВА ГОЛОСА

*Светлой памяти моих родителей  
Ивана Васильевича  
и Елизаветы Степановны Сайдаковых*

*От сумы да тюрьмы не зарекайся.  
Русская пословица*

### **Лида и Степан идут с гулянки**

Деревня Степновка. Ранняя осень. Воскресенье. Сухо, тепло, хорошо. Вечернее томление природы. Темнеет быстро — не лето уже. На одной из улиц заканчивается гулянка. Расходятся гости, и говор расплзается в разные стороны села. То там, то сям вдруг вскинется вверх песня и тут же скомканно оборвется. Около совхозной столовой Гришка Дорогин, никогда не поющий на гулянках, вдруг выдает густым басом:

— Ой, не растет трава зимо-о-о-ой, поливай, не полива-а-а-ай...

И тут же получает пару тумачков по спине от жены. Слышен ее урезонивающий голос:

— Здравствуйте, приехали! Надо же, мало ему!

Она и там, в гостях, с ним намучилась. Только поплясать — он за стакан. Вот теперь и злится.

А он что-то гудит своим трубным голосом, добродушно-пьяно посмеивается:

— Ты чего, Нюрка, дерешься?

И через несколько минут снова упрямо доказывает:

— Ой, не растет трава зимо-о-о-ой...

В общем, всё как всегда после хорошей деревенской гулянки. Где смех, а где и слезы пьяные.

Одна из пар сворачивает на улицу Садовую. И он, и она — оба небольшого роста. Он с гармошкой. Она держит мужа под правую руку и подпирает плечом, чтобы ровно шел. Но его все равно водит по сторонам.

Он — Степан. Она — Лида. Фамилия у них красивая — Артёмовы.

Лида тихонько выговаривает ему:

— Ох, Степа, Степа, просила же тебя... Ну отставил бы гармошку, сел за стол, закусил как надо. Нет же, на ходу... Ну чего так-то? Да и сосед наш там был, сменил бы тебя, он ведь тоже может...

— Сосед? — Степан неожиданно останавливается. — Да что он может? «Тына-тына у Мартына»?

— Да ладно тебе... Играет же на других гулянках.

Степан — один из лучших деревенских гармонистов. Это у Артёмовых фамильное. Все мужчины в их большой семье играли на гармошках, гитарах, балалайках. У Степана талант особый. Он еще и импровизатор — во время игры такие музыкальные коленца выделывает, что любо-дорого послушать. Иногда одновременно и поет. Начинает всегда с вальса «На сопках Маньчжурии». Потом идут украинские «Верховина, мати моя...», «Виют витры, виют буйны...»

Украинские песни здесь любят. Срабатывает родовая память. У половины села прадеды и деды — переселенцы из южных краев.

Когда Степан поет, к нему обычно подходит Лида. Вдвоем у них так слаженно и красиво получается,

что нередко не подпевают им, а только слушают. Не хотят портить песню.

Бывает, он и без гармошки ходит на гулянки, и тогда Лида довольна — не напивается допьяна Степан. А вот когда доводится играть, тут уж как придется. Случается, в пьяном кураже как заведутся гости плясать, так чуть не на полдня.

Глядишь, вроде уже и устали от «Подгорной», и снова усаживаться за стол начинают, и вдруг загораются те, кто раньше и ногой на кругу дрыгнуть не мог: «А ну врежь, Степа, я им покажу, как надо!»

Или же утомонятся, стихнет пляска, зазвякают стаканами, посудой, и тут кто-нибудь песню затянет. Так что гармошку из рук Степану выпускать некогда...

Да и когда приглашают, сразу оговаривают:

— Ты уж, Степан, и гармошку захвати. Пару-другую раз сыграешь, ладно?

Степан, который погулять вообще-то любит, сначала отнекивается:

— Знаю я эти «пару раз». Только начни, потом с табуретки не слезешь.

Так и получается.

Ну и в самый разгар гулянки какой-нибудь сердобольный мужик обязательно поднесет стакан прямо к Степановым губам:

— Хлебни, Степа, а то тебе и рук поднять некогда. Да ты играй, я подержу. — И кусок холодца на вилке в рот ткнет или помидор соленый.

Следом и другой привяжется:

— Эх, Степа, золотой ты человек! Как играешь! Сердце — прямо на части! А как Лида твоя поет! Выпей, Степа, со мной, будь другом, а то обижусь, ей-богу, обижусь...

И хоть усадит потом Лида мужа за стол основательно поест, но он, уже пьяный и перебивший

аппетит, будет только мотать головой, беспомощно улыбаться и говорить:

— Ну не хочу я, Лида...

«Да все бы оно ничего, — думает иной раз Лида, когда выговаривает Степану, — да ведь нельзя пить ему, совсем нельзя...»

На Садовой Лиду со Степаном уже поджидают. Как всегда...

Но сначала о названии этой небольшой улочки. Давно подмечено: в сибирских, особенно степных деревнях, нередко встречаются улицы Яблонева, Сосновая, Вишнева... В них — мечта. На самом деле в палисадниках растут клены, тополя да желтые акации. Остальные деревья приживаются грустно, нехотя. Как и на Садовой. Через много лет научатся в Степновке разводить веселые фруктовые сады. Но пока — увы... Кстати, эта улица немного отличается от других в поселке. Тут двухквартирные, совершенно одинаковые совхозные домики покрыты оранжевой черепицей. В знойные дни яркие крыши видно издалека. Они как будто парят над домами, причудливо изгибаясь в миражном воздухе.

А сейчас вечер. И не жарко. Ждут Степана и Лиду на Садовой в основном старухи. Так сложилось за много лет: на какой бы гулянке Артёмовы ни были, домой возвращаются всегда по этой улице. Выйдя на нее, Степан с Лидой обычно заводят песню. К ней-то и интерес. Послушать хотят. На Садовой привыкли к этому. Вот и сейчас рассаживаются на лавочках, переговариваются. Голоса от дома к дому:

— Ну что, идут?

— Идут. Да только вот захотят ли?

— А у кого они гуляли?

— Да у Голубенкиных. У Нины с Петром нынче серебряная свадьба, а они же кумовья.

— Вон оно что! А я думаю, что за праздник? Такого песняка давали на том конце, аж сюда долетало!

— Лида-то сердится, поди, на него?

— Похоже... А то давно бы уже начали... Перебрал, видать, Степа.

— Он, может, и не перебрал, а нельзя ему. После тюрьмы, я слышала, у него это.

— Ну дак попросим Лиду...

— Эх сволочуги, такого мужика засадили тогда! И живут же, глазами своими бесстыжкими лупают...

— Ты что, Нинка, сдурела? А ну замолчь! Прижми язык!

— Да ладно, не то время.

— Замолчь, говорю. У нас всегда *то* время. Так загремишь — костей не соберешь.

У Степана с Лидой о своем разговор.

— Ты, Степа, дома присмотри за собой, дети ведь там...

Есть у него такая манера: все время рвется поиграть с ребятишками, когда пьян. А Лида не любит этого, не хочет, чтобы пацанята его пьяным видели.

— Дети... — Степан останавливается. Умильная улыбка бродит у него по лицу. — Дети... Лида, какие у нас тобой дети! — с пьяным восторгом говорит он и с удивлением смотрит, как восходит над кузницей луна, будто наблюдает это в первый раз. Мотает головой, чтобы освободиться от наваждения, а потом будто вспоминает ее, луну-то, и теперь смотрит на нее уже с каким-то хитрым пониманием и даже пытается подмигнуть... И продолжает: — Митька читает, читает, аж страшно. — Он вздыхает. — Ох, Лида, говорят, когда чересчур много с книгами, так вредно. А Петька что-то мастерит постоянно, строгают. Вот увидишь, в инженеры пойдет. А малыши! Слушай,

Лида! Как это ловко вышло у нас! Два светлых — в меня и два черных — в тебя. И по глазам совпали — голубые да карие...

### **На сопках Маньчжурии... и на Простудной гриве**

Впервые Лида Климова увидела Степана около их магазинчика на Первой ферме, куда они с подружкой Танькой Угловой в обеденное время побежали, услышав, что завезли нитки мулине для вышивания. Было странно в деревне посреди летнего рабочего дня встретить парня, сидящего на тарных ящиках и что-то тренькающего на гитаре. Он привстал, снял со своих светло-русых, выгоревших на солнце волос фуражку и по-клоунски поклонился.

— Ничего себе, — сказал, — вон какие, оказывается, здесь красивые крали ходят.

Танька хихикнула, а Лида строго зыркнула своими черными глазами на парня и прошла в магазин. Купили нитки, вышли наружу. Незнакомец снова вскочил с ящиков и вдруг, ударив по струнам, запел какую-то дурацкую ерническую песню:

Разрешите, барышни, с вами познакомиться,  
Разрешить-шить-шить с вами познакомиться...

И даже ногой по земле шаркнул. Танька снова захихикала, но Лида дернула ее за руку, и они побежали на ферму.

Лиде этот парень тогда не понравился. И светлой яркостью волос, и, как ей показалось, развязной гитарой, и... кирзовыми сапогами, подвернутыми так, что их ушки болтались снаружи. Именно таких она не любила.

— Повезет же кому-то, — произнесла с осуждением. — Откуда взялся у нас этот блатячок, Танька?

А та вроде как обиделась, что ли. По крайней мере, в голосе ее зазвучало возражение:

— Никакой он не блатячок. Вполне даже интересный. Это механик из колхоза Молотова, что на Чанах, его зачем-то к нам прислали. Так-то он все время в мехцехе, а сегодня чего-то здесь. Недельку уже живет в совхозе. Ты же в клуб совсем перестала ходить, вот ничего и не знаешь.

— Да чего там делать в нашем клубе? Три калекки собираются. Смотреть, как Колька Снатков терзает свою гармошку — «ту-ба, ту-ба, ту-ба, ту-ба»? Под его музыку танцевать — одно мученье... Надо же, в каждой деревне столько гармонистов, а у нас ни одного путящего.

— Не скажи, — Танька, обычно покладистая и во всем соглашающаяся с Лидой, на этот раз рьяно возражала, — вчера полдеревни там толпилось. Кто-то накануне ляпнул, что из Кауровки Санька Перегудов приедет с каким-то особым трофейным патефоном и пластинками. Сначала около клуба его ждали. Потом выяснилось, что наврали про Саньку. Немного потанцевали под Колькино пиликанье, а тут и свет выключили. После этого собрались, как всегда, за огородом Притулиных... Ну, где качели со скамейками. Вот там уже было интересно...

— Что, дед Притулин хоровод затеял? — засмеялась Лида.

— Да ну тебя, Лидка! Ты чего меня подкусываешь?

— И правда... Прости, Таня... Ну расскажи, расскажи... Я закутилась в последнее время. Папа приболел, снова осколки у него зашевелились. Смотреть на него, как мучается — сердце разрывается...

— В общем, туда неожиданно этот пришел, — сразу же затараторила Танька, — ну, который около магазина. Сашка Акимов на балалайке что-то брэнчал, брэнчал, а этот, его Степаном зовут, балалайку у него попросил. Ух как он играет! Наплясались так, что ноги пооббивали. Даже Иван Константинович приходил.

— Иван Константинович? Надо же... — удивилась Лида.

Иван Константинович Перфильев к ним в деревню приехал полгода назад. В Степновке это был тот человек, к которому Лида и ее подружки относилась с уважением и заинтересованностью. Был он вежливый, обходительный. Чувствовались в нем какая-то непреклонность и сила. В их деревне таких людей, да еще с высшим образованием, было раз-два и обчелся. С точки зрения Лиды и ее подружек, в женихи, конечно, тридцатидвухлетний агроном не годился, староват. Но неудержимо притягивал к себе. Говорили, что воевал он артиллерийским офицером, а семью свою — жену и маленького сына — потерял. Они погибли во время бомбежки Киева, где отдыхали летом сорок первого у своих родственников. Для молодежи в клубе он иногда проводил своеобразный ликбез. Девчатам рассказывал о нормах приличия. Парням — об обхождении с девушками. Делал это неназойливо, уважительно, без назидательной снисходительности, которая частенько проскальзывает у тех, кто неожиданно «выбился в люди» из деревенской среды.

Заметив задумчивость Лиды, Танька поддела:

— Ага! Ты, Лидка, я давно замечаю, неравнодушна к Ивану Константиновичу.

— Да ладно болтать, подумай, что несешь! Это ты, я смотрю, с этим гитаристом обзнакомилась вовсю. И имя уже знаешь.



— Да он и не смотрит ни на кого. Со всеми одинаково обходится. А вот про тебя, кстати, спросил.

— Надо же? И чего?

— Где, говорит, ваша подружка черноглазая?

— А ты?

— Она, ответила я ему, она у нас к танцам не очень расположена. Да и гармониста в деревне нет... И знаешь, что он тогда сказал? Что может и он поиграть в клубе, если мы не будем возражать... Да кто же возразит?! Обрадовались!

В этот день около конторы и на ферме девчонки то и дело вспоминали, как провели прошлый вечер. Называя имя Степана, вздыхали: жаль, мол, что он командированный. В общем, когда Танька заскочила к Лиде вечером, та согласилось пойти в клуб. Очень уж хотелось посмотреть на перемены, которые там начались.

Но ничего особенного не было. Собравшиеся играли на улице в «Третий лишний», а Лида терпеть не могла эту игру. Когда в ней делается что-то полушутя, еще ничего. Самое завлекательное, что можешь выбрать себе в пару человека, который нравится. Но, бывает, встанет в круг какой-нибудь придурок и так ожжет тебя ремнем, что и про танцы забудешь. Какое же это веселье, если больно?

Потом все потянулись в клуб, но и там ничего интересного не происходило. Коля Снатков, как всегда, спотыкаясь на нотах и непрерывно фальшивя, подбирал какую-то мелодию, остальные посмеивались, лузгали семечки, хотя Наталья Санина, завклубом, раза три уже прокричала:

— Всех вижу, кто щелкает! После танцев подметать будете!

На самом деле, танцев как таковых и не было. Лида хотела уже идти домой, но в это время в проеме

клубных дверей появился Степан. Он сразу заметил ее с Танькой и через зал пошел прямо к ним. И снова, как тогда у магазина, парень снял фуражку и вроде как поклонился:

— Здравствуйте, — сказал, — потанцевать пришли?

— Да уж тут у нас потанцуешь, — ответила Танька.

Лида молчала, краснела. Такая наступательность парня, особенно у всех на виду, ей была не по душе.

— Это мы сейчас организуем, — пообещал Степан и подошел к Снаткову. — Разрешите на минуточку ваш инструмент, — как-то вычурно-вежливо попросил он гармошку. Сел на стул и, продолжая смотреть на Лиду, громко произнес: — Вальс «На сопках Маньчжурии».

— Ого! У нас артист появился! — язвительно прокричал кто-то из парней на весь клуб.

Но Степан, не обратив на это внимания, заиграл. Уже по первому перебору все поняли — гармонист. Раздались восклицания, приглашения на танец, и пары закружились по серому некрашеному полу. И тут, проиграв два куплета, Степан неожиданно встал и запел чистым глубоким баритоном:

Тихо вокруг.  
Сопки покрыты мглой.  
Вот из-за туч блеснула луна,  
Могилы хранят покой.

Такого в клубе еще никогда не было — чтобы не просто играть вальс, но и петь одновременно. Степан просто ошеломил всех. Танец остановился, но из круга не выходили. Смотрели на него. Было впечатление, что никто раньше не знал, что скрывается за этой мелодией.

Тихо вокруг,  
Ветер туман унес,  
На сопках маньчжурских воины спят  
И русских не слышат слез.

Каждое слово падало прямо в сердце. Всего три года назад закончилась война. И хотя о далеком времени пел Степан, но все понимали — и об этом, недавнем, тоже...

Плачет, плачет мать родная,  
Плачет молодая жена,  
Плачут все, как один человек,  
Злой рок и судьбу кляня.

Кто-то всхлипнул, кто-то вышел из зала, не хотел показывать слез.

Степан не знал, когда начинал песню, что получится так. Ему тоже передалось то настроение, которое было в этот момент в зале и переносило всех на печальные маньчжурские сопки.

Пусть гаолян  
Вам навевает сны,  
Спите, герои русской земли,  
Отчизны родной сыны.

Слова кончились. Он еще два раза сыграл мелодию вальса. Никто не танцевал. И тут раздался голос. Говорил высокий, плотный, с проседью в черных волосах, молодой мужчина. Потом Степану скажут, что это был Иван Константинович Перфильев.

— А давайте поаплодируем нашему гостю. — И первым начал хлопать.

Крепкими натруженными ладонями, непривычными к такому занятию, поддержали его парни и девушки. Хлопки звучали сухо и гулко.

Степан смутился, но тут же нашелся и заиграл «Краковяк». Потом были еще вальсы, польки, а в самом конце — неудержимая сибирская «Подгорная»...

Когда возвращался по тропинке через березовую рощу на квартиру, где поселился, его притормозили три парня. Один из них, плечистый, коренастый выбросил в траву папироску, искоркой описавшей дугу, и протянул ладонь:

— Дай пять. Ну ты даешь, до самых печенок достал... Меня Геннадием зовут, фамилия Сумин, а это Сергей с Лешкой Прутиковы.

Степан пожал всем руки, назвался.

— Ты извини, Степан, мы хотели тебя для знакомства... немного того... сильно шустрым ты нам показался... Извини... Воевал?

— Было дело, — ответил Степан.

— А я что говорил? — обратился Геннадий к своим спутникам. — Наш.

Постояли еще немного вместе и разошлись.

Лида в это время дома расспрашивала отца:

— Папа, ты слова вальса про маньчжурские сопки знаешь?

— Помню, а что?

— А я до сегодняшнего дня, представь, не знала. Это как же мы танцуем под эту мелодию? И хохочем, и веселимся. А оказывается, там такое... А где это было и что?

— Неужели не слышала? Это еще в Русско-японскую войну случилось, в девятьсот пятом году, когда полег наш полк. Погоди, да у меня где-то вырезка про это есть из журнала. Сейчас найду.

Лида читала, но мысли все время сбивались на Степана.

Какой странный парень... С виду напористый, говорливый, бесшабашно-веселый, и как будто в нем

ничего серьезного нет, все какие-то шуточки, при-  
сказулечки, а внутри его вон что... Говорят, воевал.  
И на гармошке играет, и на гитаре, и на балалайке.  
Да еще как! А поет! Не просто слова под музыку пере-  
дает, а свое что-то вкладывает. Или ей показалось?  
Странно, будто два человека живут в одном.

Через неделю произошло событие, которое пере-  
менило Лидину жизнь. И под знаком этих душевных  
перемен она жила до самой осени...

На специальной черной афише около клуба, где  
обычно сообщалось о фильмах, появилось крупно  
написанное белилами объявление: «Танцы». Но не  
это удивило. В летнее время танцы организовыва-  
лись как бы и сами по себе, почти каждый вечер. Без  
напоминаний. Если не в клубе, то в каком-нибудь  
другом месте. С музыкой, конечно, были проблемы.  
Выручали патефоны. Правда, несколько пластинок,  
которые крутили на них, были так заезжены, что  
уже трудно было разбирать слова... В объявлении же  
привлекла мелкая приписка внизу: «Под оркестр».  
Какой оркестр? Откуда взялся? Все эти вопросы зада-  
вали Наталье Саниной. Но та держалась стойко. Мол,  
ничего не знаю, не скажу, приходите — узнаете.

В субботу клуб был почти полным. Вышли му-  
зыканты. Степан — с гармошкой, Сеня Казьмин — с  
гитарой, Санька Акимов — с балалайкой, Илья Коше-  
лев — с барабаном и Колька Снатков — тоже с гар-  
мошкой (подыгрывать на басах).

Начали раздаваться разочарованные возгласы:

— Мы думали, из района кто приехал...

— Ну и артисты...

— Колька, не забыл, для чего кнопки на гармошке?

Но когда музыканты заиграли, стало тихо. Орке-  
стрик вел игру слаженно и умело. Даже не верилось,  
что из таких с виду немудреных инструментов мож-

но извлекать складные и задушевные мелодии. Молодежь зашевелилась, начались танцы. Танцевала и Лида. Она догадывалась, кто придумал этот оркестр, и все время посматривала в ту сторону, где сидели музыканты. А потом... Потом оркестр заиграл как-то пожиже, побледнее, потому что не стало слышно гармошки. Лида подняла голову и увидела, что перед ней стоит Степан. Играли медленный танец.

— Разрешите?.. — пригласил он, подавая руку, и она, моментально вспыхнув и чуть помедлив, положила на его ладонь свою...

Дальше все было, как в нелепом кино. Во время танца новоявленный гармонист совершенно серьезно, глядя ей в глаза, поинтересовался:

— Свадьба осенью? У вас ведь тоже, наверно, после уборочной их играют?

— Какая свадьба? — заторможенно улыбаясь, не поняла Лида.

— Наша, конечно, — без тени улыбки и подвоха сказал Степан.

Она споткнулась, чуть не упала, задохнулась от негодования и, вообще-то не очень решительная и уж точно не грубая, от неожиданности перешла на ты.

— Слушай, как там тебя?.. Ты нормальный?

— Степан Васильевич, — слегка наклонил он голову. — Понимаете, я вас полюбил и понял, что мы очень подходящая пара. Я страшно волнуюсь, и простите уж... за такую наглость... Это от волнения...

— Слушайте, вы... ты... Степан... Вы что? Делаете мне предложение? Но разве так можно? Мы ведь даже не знакомы толком.

— Так я же и говорю — Степан Васильевич. А вы — Климова Лидия Петровна. Вы, если что хотите про меня узнать, расспросите, я все расскажу.

Она рванулась, чтобы выскочить из круга, но Степан крепко держал ее за талию и за руку.

— Давайте дотанцуем, а то на нас обратят внимание, сплетни пойдут... Еще отдубасят меня ваши парни ни за что, они мне уже тут обещали подкинуть, ребята серьезные, быстрые. А как делать предложение, я и сам не знаю. Я это совершенно серьезно говорю. Подумайте, Лида... Я почему заторопился? Вы такая красивая и хорошая, боюсь, кто-нибудь опередит.

Провожать с танцев Степан Лиду не пошел, и она отметила, правда, позднее, что поступил он правильно. После того как приезжий ошарашил ее своим предложением, какие-то еще действия с его стороны были не просто лишними, они бы вызвали у нее только отторжение. Лида не любила назойливых и хотела, как от наваждения, отмахнуться от него и забыть поскорее то, что произошло в клубе. Ему-то, гармонисту-балагуру, эти шуточки привычны, а ей в деревне жить и замуж выходить. Куда же без этого? Правда, стоящих женихов на горизонте не наблюдалось. И все равно лишняя слава не нужна. Она держала себя строго, и многие парни считали ее гордячкой.

От Таньки она узнала, что Степан пробудет здесь примерно месяц-полтора, и решила все это время в клуб не ходить, а там белокрысый гармонист (она все пыталась найти в нем какие-нибудь неприятные ей черты) уедет, и, слава богу, все забудется. К тому же начинается сенокос, потом подоспеет уборка хлеба, и, получается: ей теперь до самой глубокой осени жить на полевом стане, в бригаде, как и многим совхозным парням и девочкам.

Впрочем, вагончики бригады стояли не так уж далеко от Степновки. На гриве, сразу за Кругленьким

озером. Это километров пять от поселка. Для стариков, может, и приличное расстояние, а для молодежи — так, пробежка. Бригадиром тогда был Роман Удалов, и он, как и положено, ворчал на тех, кто заявлялся с танцев под утро, перед самым выездом в поле.

— Увижу, спать будете на сенокосках, бичом отхожу! — грозился он.

Девчата и парни посмеивались, отвечали:

— Смотри сам не засни, дядя Роман.

Он сердился, отмахивался от них. Была у бригадира слабинка — в середине дня он обычно прилаживался прикорнуть в поле под скирдой. Уже и знали все: если в степи около стога стоит его норовистый жеребчик Воронок и, мотая головой и хвостом, отбивается от оводов, то тут же дремлет и дядя Роман. Подшучивали над бригадиром без зла. В Гражданскую войну он был контужен. После госпиталей да больниц как будто восстановился, но никак не мог отцепить от себя невидимую хворь — иногда внезапно налетающий и обволакивающий тошнотворный морок. В такие минуты он буквально валился с ног, ему нужно было прилечь и вздремнуть полчаса. После этого поднимался бодрый, крепкий.

«Свежий, как огурчик, — говорил он, — такое у меня, понимаешь, лекарство». И снова бросался в круговерть бригадирских нескончаемых забот...

А молодежи что? Не поспать сутки-двое в таком возрасте — да какая тут тягость?! Тем более в первые годы после войны, когда все, а особенно молодые, буквально летали по жизни на крыльях, приподнятые победою, радостными надеждами и тем, что именно теперь можно абсолютно все легко и просто преодолеть и превозмочь.

Лида уже три дня жила на бригадном стане. Готовились косить сеяный костер — он вымахал на



этот раз по грудь. Да такой густой, что, как говорил с притворной сокрушенностью бригадир, мышь не проползет. Сам же был доволен-раздоволен. А сокрушался, потому что сенокосилки не выдерживали нагрузки, ломались одна за другой, и он не успевал за запчастями в совхозный мехцех ездить. Вот поэтому и решили попробовать свалить костер прицепами комбайнами. Лида была штурвальным на «Сталинце». Его готовили к покосу травы, и она все время находилась рядом с механизаторами. Помогала. Специальность штурвального она получила в местном городке Куйбышеве, раньше он назывался Каинском. В военное время девчонки по всей стране учились в ФЗО и, пока отцы, мужья, братья и женихи воевали, садились на трактора, машины, осваивали другую технику.

В середине дня дядя Леня Лопатин, приехавший на двух битюгах-лошадях с огромной деревянной бочкой воды, отыскал Лиду и сообщил:

— Батька у тебя, Лидонька, расхворался. Тетка Валя передала: если получится, заскочи на часок другой, не может что-то она разобраться с лекарствами.

Тетка, сестра отца, помогала Климовым по хозяйству. Матери у Лиды не было. Она неожиданно умерла еще до войны от сердечного приступа, оставив на руки своему мужу Петру троих ребятишек...

В это время в совхоз как раз бригадир собирался, и Лида напросилась к нему в попутчицы. Объяснила все и пообещала:

— К утру буду на месте. А то и раньше.

— А назад как? — спросил он.

— Да ты что, дядя Роман, шутишь? — засмеялась Лида. — Как всегда — ножками. Дело привычное. Да тут бежать-то, господи, всего ничего!

— Да-а... — грустно протянул он. — И я бы побежал. Ох как побежал бы... Да не бежится уже. Радуйтесь, пока молодые, бегайте.

Дома Лида быстро разобралась с делами. К врачу сходилась, порасспросила, что дальше делать с отцом, грядки вместе с теткой Валею прополосала, воды из колодца наносила в кадки для полива, в колоду для скотины и в дом тоже. Но, как ни торопилась, пропурхалась, как говорила когда-то ее мать, до позднего вечера и спохватилась, когда солнце закатилось за ближнюю гриву. Быстро ополоснувшись из бочки в огороде, собрала кое-какое бельишко и через рощу, напрямую, быстрым шагом пошла на полевой стан. Сумерки на глазах становились гуще. Она шла на широкую пунцовую полосу заката, которая с каждой минутой сужалась, темнела. Понимала: придет в бригаду уже ночью. Не боялась. Все было привычно. Столько уже хожено-перехожено по этой тропинке каждое лето во время войны и после нее тоже.

На середине пути встретила Таньку Угловую. Она в бригаде работала поварихой, а сейчас с туфлями в руках, босиком, спешила на танцы — большая любительница всяческих игрищ была Танька. Приостановились на минутку.

— Ох, смотри, добегаешься, — пожурив Лида подружку.

Та отмахнулась:

— Не бойсь, Лидонька! А ты чего не осталась на вечерок? Утречком бы и прибежали.

— Не могу, завтра первый укос будем делать комбайнами. И бригадиру я обещала.

Только хотели разойтись, как глазастая Танька, глядя сквозь сумерки в сторону деревни, сказала:

— Вот тебе на! Смотри, кто-то еще из совхоза в бригаду чешет. Интересно, кто? Кроме нас с тобой,

вроде все на месте. А руками-то отмахивает — ну прямо солдат! Или в Тайлинку? Да нет, тогда бы правее брал. Подождешь?

— Нет, — ответила Лида, — вон как быстро темнеет.

И разошлись. Лида прибавила шагу. Шла и волновалась. Ей почему-то сразу подумалось про Степана. Но что ему делать в бригаде?

Она иногда оглядывалась и видела за собой еле различимый силуэт. Догнал ее Степан (не ошиблась в своем предчувствии Лида), когда она шла вдоль Круленького озера и на небе стали проступать звезды.

— Привет, — сказал он, — ну ты и летишь, не догонишь, я совсем запыхался.

— Здравствуй, — ответила она. После тех памятных для Лиды танцев они были на ты, хотя встречались мельком всего пару раз. — А чего меня догонять, иду себе и иду...

— Да, думал, вдвоем будет веселее. Давай передохнем немного. Это что там? — показал на чернеющее пятно у самой кромки озера.

— А-а... Это сеялка старая, брошенная.

Подшли к ней, присели на прицеп.

— А ты чего к нам в бригаду? — спросила Лида. Она осмелела в темноте. — Только не ври, что из-за меня.

Он засмеялся:

— А ведь хотел врануть, а ты вот взяла и перебила. Эх, испортила все, — забалагурил было он, но, ощутив, что она не поддерживает дурашливый тон, добавил уже серьезнее, — директор ваш попросил что-то там помочь по комбайну. Бригадир предложил ехать утром с ним, но я решил не дожидаться. Прогулялся да и тебя вот встретил... А далеко еще до бригады?

— Как раз за этой гривкой, — она показала рукой. — Там мы и стоим. А напротив — Простудное озеро. Кстати, и грива так же называется.

— Смешное название.

— Это есть. А у твоей деревни не смешное — Кулеба?

— Не думал. Я привык, родился же там, с детства в ушах это слово. Но у нее и другое название есть — колхоз Молотова.

— А насчет названия Простудного... Ты знаешь, люди, наверно, не ошиблись. Это озеро, действительно, как насморк: то появится, то пропадет. Иногда воды, как сейчас, «с ручками». И купаться можно, и караси опять появились, ловят. И вся дичь на нем к осени собирается. А то, бывает, пересохнет до такой степени, что по бывшему дну крепкую дорогу накапывают. Напрямую потом по ней ездят в Сорочи — это деревня на следующей гриве.

Помолчали.

Над ними развевалась просторная степная ночь. Тихая, теплая. В небе все добавлялись и добавлялись звезды. Они спускались по темно-лиловой полусфере до самого горизонта и задумчиво мерцали, отражаясь в воде озера.

— Мама ты моя! — восхитился Степан. — Это что же творится, а, Лида? Посмотри! А я думал, только там, где живу, такое. Знаешь, дома я люблю иногда ночевать в лодке. Она у нас, как у всех, у мостков за огородами стоит. Тулуп туда брошу, лягу. Лодку волной качает, а звезды... Но здесь еще чище будет... Да ты вот рядом...

Лида встала, разговор начал приобретать не тот уклон.

— Надо идти. Послушай, Степа, — она впервые назвала его так. — Не надо нам одновременно появ-

ляться. Нехорошо. Я побегу, а ты позднее подойдешь, ладно?

— А и верно, — сразу же согласился он, — как же я сам не дотумкал? Беги. И... спасибо тебе, Лида.

— Это еще за что?

— Да вот... за то, что встретились...

— Да ну тебя! — засмеялась она ему уже из темноты.

Какое-то время еще был виден ее белый, мелькающий в сутеми платок, а потом он исчез.

Степан пришел на полевой стан через час. Лида уже легла спать. В вагончике было душно, а снаружи тепло, воздух вольный, дождя не предвиделось, и комары пока не сильно досаждали. Девчата расположились на прошлогодней соломе, которую предварительно застелили брезентом, захватили с собой одеяла с подушками. Неподалеку вишневым глазком шаял кизячно-полынный костер, нанося иногда на них горьковато-пряный дымок, отпугивающий гнус. Где-то рядом, в темноте, фыркали лошади. Тонким шелестящим звуком баюкали ночь цикады. Иногда вскрикивала спросонья какая-то птица на озере.

Все эти родные, привычные летние звуки и запахи стали вдруг для Лиды острыми, внятными, они проникали прямо в душу, беря ее до слез. Она слышала, как пришел Степан, как разговаривал у вагончика с учетчиком. Потом на длинном тесовом столе засветился керосиновый фонарь, зазвякали алюминиевые миски и ложки. Значит, его покормили, отметила она и обрадовалась, потому что думала об этом — неужели голодным уложат спать? Таньки-то рядом не было — на танцы усвистала.

Вскоре фонарь погас и все затихло, только из вагончика доносилось похрапывание мужиков и парней. Лида долго еще не спала, смотрела на голо-

вокружительную россыпь звезд над головой. Вспомнила, что говорил про них Степан у Кругленького озера. А ведь раньше она как будто и не замечала звезд... А тут словно зрение стало другим — небо не просто притягивало к себе, а поглощало ее и одновременно вливалось в душу своим молочным сиянием. И поняла: нет, не смогла она, да и не сможет, наверно, отмахнуться от Степана. И будто услышала любившуюся мелодию вальса. Осторожно, зыбко она прибавилась к нежному звону цикад: «Тихо вокруг. Сопки покрыты мглой...» Успела подумать, что надо поподробнее разузнать все про него... и зачем, кстати, он к ним в Степновку приехал? И вместе с расслабляюще-грустной мелодией, звучащей в ней и несущей по волнам новых чувств, провалилась в звезды, в пригожую июньскую ночь, в настигшую ее в это лето любовь... И, уходя в молодой и легкий сон, светло и счастливо заплакала.

### Степан едет в Степновку

Вообще-то в Степновку ему ехать не хотелось. Он так и сказал председателю колхоза Сергею Петровичу Стороженко.

— Да что мне там делать, Сергей Петрович? Вы посмотрите, как язь пошел! Сам лезет в трал, да отборный, хоть на весы не клади, один к одному... А станок этот я и сам потихоньку освою...

— А мне не надо потихоньку, — настаивал председатель, — мне нужно быстро и хорошо.

Сыр-бор разгорелся из-за токарного станка, который колхоз имени Молотова закупил для своих нужд. Но подготовленного специалиста для работы на нем не оказалось. А необходим был позарез. Хозяйство здесь считалось солидным. Моторные де-

ревянные баркасы (местные рыбаки называли их мотодорами), дизельный двигатель, крутивший генератор для подачи электричества в дома, трактора, комбайны, молотилка, сенокосилки, копнителы, сеялки... Всего набиралось немало.

В основном колхоз занимался рыбой, которую вялили, солили в бочках, а необработанную в тот же день отправляли по воде в соседний рыбхоз. Оттуда ее вывозили на машинах со специальными охладителями в райцентр. Но и коров держали целую ферму. Само собой — лошадей. Без них никак нельзя. И небольшую отару овец. Колхозы находились на самообеспечении, а как жить без мяса и молока? Не покупать же у соседей. На островах пшеницу с овсом сеяли, сено косили. И ко всему была приставлена какая ни есть техника. А она изнашивалась, ломалась. И если раньше кузница справлялась с ее ремонтом, то теперь захлебывалась. Да и то сказать: чтобы изготовить, к примеру, один болт, нужно было сначала греть металл, рубить пруток на части, потом ковать под определенный ключ головку, делать ручную леркой резьбу, закаливать. На станке на выточку этого самого болта уходило времени и труда в пять раз меньше. Вот и хотел председатель послать Артёмова в Степновский совхоз, где директорствовал его приятель. Там был мехцех с токарным участком. Размышлял так: Степан парень головастый, присмотрится, попрактикуется и через месяц-полтора освоит токарные премудрости. А там, глядишь, загорится новым делом и можно будет вернуться к разговору о должности механика. В ФЗО, где минимальный срок учебы полгода, отправлять Артёмова председатель не хотел. Случись что — тут хоть он под рукой.

Степан был механиком-самоучкой, причем не освобожденным от лова рыбы в бригаде. Когда где-то

что-то ломалось, его на время снимали с основной работы и просили «посмотреть». Он «смотрел», вернее, копался день, а когда и больше, находил неисправность, чинил. Отдельно за эту работу денег не платили, хотя председатель предлагал:

— Степка, светлая у тебя голова по части техники. Давай мы тебя сделаем штатным механиком и на правлении, как положено, утвердим должность. И деньги будешь получать не меньшие, чем на рыбе...

— Нет, Сергей Петрович, и не уговаривайте. Мне на море с бригадой лучше. Там вольнее. В деревне на одном месте сидеть — с ума сойдешь.

— Чудак-человек, многие, наоборот, просят, наедает им в воде булькаться, ревматизм копить, а ты упрямишься.

— Вот и пусть просят, а мне на моем месте хорошо, — артачился Степан. — Когда нужно будет, всегда помогу.

— А меня это «когда нужно» как раз и не устраивает, — сердился Стороженко. — Мне надо в любое время дня и ночи. Понимаешь? Вот в прошлый раз срочно понадобилось цистерну с соляжкой подтянуть к рыбопункту, а у трактора что-то заклинило, и у Борька Свищова тоже заклинило, ничего не получается... Кинулись к тебе, а ты на озере, на тоне. Что прикажешь мне делать в таком случае?

— Так я ведь тоже не специалист. Это вы же после войны отправили меня на курсы учиться рыбному делу. Разве забыли?

— Да этому добру, кто у воды родился, каждый научится, — отмахивался председатель, хотя, когда отправлял на учебу Степана, говорил совершенно другое. — А вот к технике тьма нужна, соображение, что к чему. Нет у нас сейчас такого человека, кроме тебя.



Степан не соглашался. В рыболовецкой артели ему было лучше, желаннее. И он, если из-за ремонта отрывали от привычной работы, скучал по ней. Особенно любил утренние ловы, когда вставать нужно было потемну, идти, спускаясь по огородному яру, к озеру, подернутому легким туманцем. Там, около причала, уже ждали мужики, куря первые утренние папиросы. У воды пресно пахло камышом и рогозом, соляркой от мотодоров, размокшим деревом, смолой и рыбой. Вся эта смесь запахов, приправленная крепким табачным дымом, была как бы преддверием рыбалки и настраивала на дело вроде бы привычное, известное до самых мелких мелочей, но каждый раз новое.

Заводили моторы, рассаживались, выплывали через резь на озерную равнину, распускали направляющую часть невода, за ней закрепляли хвостовую. Ее называли кутком. На специальном тонком, но прочном канате тянули большую лодку — баркас. Рыбаки, которые в ней сидели, следили за этим самым кутком, и когда он, заполненный, закипал бьющейся в нем рыбой, подтягивали к борту, опрастывали и снова, аккуратно расправив, чтобы не запутался, опускали в воду.

Все это со стороны выглядело обыденно и даже примитивно. На самом деле такая работа требовала не только сноровки, но и особой слаженности. Мотористы на обоих катерах и рыбаки в лодке должны буквально чувствовать друг друга. Тут важны были и одинаковая скорость мотодоров (они должны были идти вровень), и умение за очень короткое время проделать сразу несколько операций, чтобы практически без остановки продолжать лов. Степан одинаково хорошо управлялся и в баркасе, и за штурвалом мотодора, когда требовалось.

Обычно на большую воду заплывали до восхода. Солнце выкатывало свой малиновый бок из-за низкого горизонта, а он снимал фуражку и дурашливо орал ему, перекрывая гул катеров:

— Привет! Ну что, выспалось? Давай, наяривай! Начинай денек!

Напарник Митька Бучельников вздрагивал, морщился:

— Да не ори ты так, Степка! Взбесился, что ли? Вечно пугаешь.

Степан хохотал на все озеро. Он зорко следил за тралом и в то же время вертел головой в разные стороны. Мимо проплывали полуострова, острова. Там еще с ночи тлели костры-дымокуры. Около них грудились табунки лошадей. Мальчишек — а в основном они стерегли в ночном коней — видно не было. Дрыхли, наверно, без задних ног, просидев всю ночь у огня, рассказывая друг другу страшные истории. Иногда только поднималась где-нибудь неясная фигура на татакающий звук мотодоров и, лениво махнув рукой, снова исчезала. Это, скорее всего, были деревенские дедки — их отправляли для присмотра за ребятами. Известно, старикам не до длинных снов.

У Степана шевелилось что-то тревожно-теплое в груди. Радовался детским воспоминаниям и внезапно возникшему желанию — бросить все и рвануть к мальчишкам, пожить с недельку у костров, под звездами. Да не рванешь. Для этого нужно самому снова стать мальчишкой. А он уже вон какой дядька, войну прошел.

Он встряхивал головой, удивляясь — неужели это с ним было? И еще размышлял об одной странности, какую подметил у своих приятелей, молодых фронтовиков. Вот вернулись они в приозерную деревню с войны, человек десять таких ребят, как он (больше

ведь там легло, в чужой земле)... Вернулись... А возраст — от двадцати до двадцати пяти. Самое заветное и нежное, что переживает человек в юности, на войну легло. Там и с жизнью прощался, и от страха трясся, и, люто ненавидя абсолютно все и самого себя тоже, шел в бой в приступе отчаянной храбрости, в которой одно желание билось: хоть смерть, хоть что, только побыстрее. Да, и такие моменты случались, чего уж врать и придумывать ненужное.

Когда война пошла на перелом, выжить хотелось во что бы то ни стало. И грезилось, какая мирная жизнь будет. Беспеременно хорошая, правильная и честная. Без всяких ссор и обид. В мирной жизни осталось все вроде бы такое простое, но теперь почти недостижимое: зеленая трава, синее небо, родные степи и озера. И тишина. Вернее, нет, не тишина — другие, совершенно другие звуки. Там умиротворенно плескалась вода о мостки, журчали в небе жаворонки, свистели в степи суслики...

Степан часто представлял восходящее солнышко, и обязательно в июле. Он, проснувшись, бежит босиком через двор по прохладной, еще сырой от росы траве-конотопке, залетает в огород и умывается из деревянной бочки, щедро обливаясь только что налитой жгуче-холодной колодезной водой. Крепко, до горячей красноты растирается грубым суровым полотенцем, какое-то время смотрит на озеро, на проснувшихся чаек и мартинов, потом — туда, где вплотную к Чанам подходит степь.

Снова, теперь уже из огорода, бежит по траве к дому, а на крыльце стоят мать с отцом. Отец смеется: — Силен гвардии старшина Артёмов! Ну, как тебе дома?

Степан все надеялся, что, когда вернется с войны, его будет ждать батя. Живой...

Он понял, что снова сбился в мыслях, глядя на поднимающееся над островами и протоками солнце, ведь начал-то думать о молодых фронтовиках, своих ровесниках, а уплыл памятью совсем в другую сторону.

А занимало Степана то, что буквально через год мирной жизни они как бы вернулись в свою приостановленную юность, которая, казалось, растворилась, исчезла — ведь они стали совсем другими. Такого не смотрелись, натерпелись и пропустили через себя — не приведи господь. Мнилось, что никогда уже им не вернуть былой бесшабашности и запальчивости, мальчишеской горячности. Но многое неожиданно вернулось. Не у всех, конечно. Кое-кто словно проморозился войной да так и остался в том состоянии, в каком находился на фронте, в бескомпромиссном времени, где не существовало полутонов и все было предельно ясно. Но таких было немного. Остальные все-таки оттаяли душой. Снова, как и раньше, бегали на танцы, ревновали девчонок, навешивали «фонари» друг другу во вспылчивых потасовках. И только в бане как бы строжали, неестественно громко и грубовато шутили, потому что здесь недавнее прошлое проступало на их телах пунцовыми причудливыми шрамами...

Об этом думал Степан, глядя на зеленовато-коричневую чановскую воду за бортом... А еще о том, что на заветные острова он и в этом году все-таки попадет.

Когда начинался сенокос, он обычно шел к председателю и напрашивался на недельку на самую веселую и трудную деревенскую работу. Стороженко почти никогда ему не отказывал — руки на сенокосе всегда были на вес золота. Тем более что подмену себе в баркасе Степан нашел. Он давно приуныл

к рыбалке своего племянника. Тот учился в девятом классе, а трал ворочал не хуже взрослого... Крепкий рос парень.

Лов рыбы привлекал Степана еще и тем, что результат был сразу — тут же, в лодке. То есть не как в другой крестьянской работе, где приходилось долго и терпеливо ждать, пока, допустим, пшеница созреет или быки с лошадьми подрастут. Тем же притягивал и сенокос — там тоже все делалось быстро, на глазах. Через пару-тройку дней после того, как скашивали траву, женщины уже валки ворошили, пацанва, что постарше, с гиканьем на конных волокушах стаскивала копны, а самые крепкие и умелые мужики складывали их в надежные скирды. Сенокосный воздух, напитанный цветущим разнотравьем, — а каждый год выделялся какой-нибудь один запах: то чабреца, то морковника, то донника — истомно плыл над островами. Такой, что, как говорил его дед Иван, хоть нарежай да ешь.

Недели на сенокосе Степану хватало, чтобы вспомнить его целый год. А потом снова неудержимо тянуло к воде, к мотодорам, к тралу, к тому, что срослось с душой и телом и о чем часто мечталось на войне.

Приятно было возвращаться домой в огрузневшем от рыбы баркасе и слышать на причале рыбопункта от девчат:

— Вот это мы понимаем, рыбаки! А это что у вас за чудища ворочаются? — спрашивали они про особенно крупную рыбу, несколько штук которой обязательно попадало в трал после каждой тони.

Это были или длинные, уже позеленевшие от возраста, напоминавшие осиновою замшелую чурку, щуки, или огромные, с надменно сомкнутым ртом, отливающие темным серебром, похожие на важного чиновника язи, или неправдоподобно боль-

шие и круглые, раскормившиеся до немислимых размеров коричнево-янтарные карасищи. В Кулебе ни у одной хозяйки, наверно, не нашлось бы такой сковороды, куда они могли бы поместиться. Степан обычно каждой рыбине давал прозвище с намеком. Щуку обзывал старым крокодилом-сторожем, язя — председателем, карася — медным тазом с буркулами, а иногда, оглянувшись на всякий случай, дядькой Кошманом, известным в деревне своим объемным станом и сварливым характером. Девчата хихикали.

После одной из таких рыбалок Стороженко и насел на Артёмова по поводу поездки в Степновку. Как ни отбивался, пришлось согласиться. И победили здесь не доводы председателя. Степан, когда надо было, стоял на своем до конца. Здесь верх взяло, скорее всего, любопытство. Очень уж хотелось посмотреть, что такое совхоз и чем он отличается от колхоза, потому что всяческих слухов по этому поводу ходило немало. И о том, что зарплату там выдавали только деньгами, и что работали, как в городе на заводах, с девяти утра до шести вечера. Недаром они назывались не колхозниками, не совхозниками, а рабочими совхоза. У каждого — паспорт в кармане. Когда захотел — уволился и покатил. Хоть тебе в город, хоть в соседнюю деревню. А еще Степан слышал, что там кругом сплошная техника.

В общем, поехал. Увидел, правда, немало нового, поразился, что здесь, действительно, многое было механизировано. Не ввали, выходит, в киножурналах, до которых он был охоч, но к которым относился с некоторой долей сомнения. Этим легким недоверием он заразился, пройдя со своим полком Польшу и Германию, где к каждой деревушке или хуторку дороги были вымощены крупными, впритирку подогнанными друг к другу вечными булыжниками.

Глядя на них, сразу вспоминались родные степи, раскисшие в ненастные дождливые месяцы солонцы, по которым нужно было долго и утомительно добираться до райцентра. Особенно его поразили крашенные полы в коровнике на одном из хуторов под немецким городком с чудным названием Либерозе. Там они оказались с фронтовым другом Володькой Гуркиным — вылавливали прячущихся фашистов. Когда потом курили под этим сараем (немцев в нем не оказалось), он, никогда не ругавшийся черными словами, не выдержал:

— Да растудыт твою! Что же мы-то так живем?

— Ты о чем? — скручивая самокрутку, спросил Володька, спокойный и рассудительный парень из череповецких мест.

— Да ты понимаешь, — возмутился Степан, — у нас половина деревни — это избушки из самана или камыша. Полы деревянные — ну в домах трех, не больше. У остальных — глиняные. Крыши пластами дерна крыты. А здесь для коров камнем все вымощено, полы красят! И ведь все дома такие. И сараи тоже. Вот слышим: буржуи, буржуи... Угнетают рабочий люд. Так у всех же здесь такие дома! А уборная? Кругом плитка цветная. Я ее здесь в первый раз только и увидел. И это в деревне!

Гуркин, пригревшись на заграничном солнышке, лениво улыбался:

— Парень ты, Степка, вроде толковый, а иногда послушаю, рассуждаешь, как бестолочь. Половину нашей страны с тобой протопали, Европу уже дошагиваем. Разве сравнить размеры? Попробуй нашу махину обеспечить всем, чем нужно! Так ведь еще и не дают, мешают. Эти самые, с крашенными полами.

Степан пыхтел, не соглашался. А Володька посмеивался, глядя на него. С явным наслаждением курил.

Почти неделю старшина травил их взвод приторнокислыми трофейными сигаретами, а тут снова подбросил родной моршанской махорки. Вот Гуркин и расслаблялся. У него была удивительная способность — в любом месте, где они останавливались пусть даже на пяток минут, устраиваться уютно, надежно, будто привал объявили по крайней мере на полдня.

— И потом... Это во многом зависит от того, где живешь. У вас, как ты рассказывал, там степь голая...

— Ну как голая? Озер много. Околки небольшие осиновые да березовые есть.

— Вот видишь, из чего же строить? А у нас под Череповцом дома, между прочим, только деревянные, двухэтажные. И всё из дерева — крыши, потолки, сараи, бани. И полы, понятно, тоже. Лес же кругом, мы и топим только дровами, понятия не имеем, что такое какой-то там кизяк, про который ты говорил, или камыш...

— Двухэтажные? Да ты что? — удивился Степан. Долго думал над словами Гуркина, потом решительно сказал: — Ничего, вот закончим войну, и в наших степях все исправим.

— Да? И ты уверен в этом? — усмехаясь, спросил Гуркин.

— Ты чего это, Гуркин? Не веришь, что ли?

— Ты сегодня прямо как особист наш наскакиваешь на меня, Степка.

— Ладно тебе, придумываешь тоже ерунду, с особистом сравнил.

— Ты, Степка, немного язык придерживай, а то ляпать стал что ни попадя. Зацепит тебя опять этот старлей рыжий. Помнишь, тогда таскали? Это у тебя после того, как шарахнуло, такое стало... Хотя... хотя... — Он затушил окурок о подошву сапога и продолжил. — Хотя самому иногда в голову такие мысли



приходят, будто тоже кто-то по башке лупанул. Живем мы точно хуже. Но ведь с чего начинали?..

Теперь, в Степновском совхозе, Степан вспомнил этот разговор. Вспомнил, когда, немного пожив здесь, рассмотрел местные порядки и понял, что все не так просто в его огромной стране, если в шестидесяти километрах от любимой Кулебы совхозная жизнь так отличалась от их колхозной.

Он тогда еще не знал, что скоро рассорится со своим председателем Сергеем Петровичем Стороженко и будет ночь не спать, думая о женитьбе на Лиде и о переезде из Кулебы в Степновку, потому что Лида напрочь отказывалась ехать в его деревню.

Объяснила просто:

— Я воды, Степа, боюсь, а у вас там все вокруг озера вертится. — И взглянула на него темно-карими, почти черными глазами, наполненными тревожными слезами.

До рассвета тогда промаялся Степан, бродя по поселку, мысленно прощаясь с Чанами. В конце концов, здесь, в Степновке, решил он, есть и охота, и рыбалка, и озера, пусть и небольшие. Да и Кулеба не на луне, до нее всего-то шестьдесят километров...

Утром по телефону председатель Стороженко назвал его безответственным балбесом и предателем. Степан почти радостно согласился с ним. Он думал о Лиде.

### **О суровом Петре Андреевиче и сватовстве**

Лида была готова пойти за Степана замуж, но неожиданно воспротивился отец.

— И за кого? — спросил он, когда дочь ему об этом намекнула.

Сказала.

— За этого приезжего белобрысого шелапута? — удивился он и даже присел на табуретку от неожиданности.

— Почему же он шелапут? — обиделась Лида. — Нормальный парень, мне нравится...

— Выбирала, выбирала и довыбиралась! — не удержался Петр Андреевич. — И когда вы с ним успели-то... так сблизиться? Он ведь здесь без году неделя.

— Не неделя, а почти два месяца. А насчет «выбирала»... Папа, из кого выбирать-то?

— Да есть ведь молодежь.

— Какая молодежь? Почти все на войне остались, а кто вернулся — женились давно. Остальные — пацанва зеленая.

— А вот слышал, — отец немного замялся, — слышал, будто на тебя Иван Константинович виды имеет...

— Ух ты! Как интересно! И где же ты такое слышал, что даже я этого не знаю? Да и не в этом дело — он же старый уже, папа. Ему тридцать два года. И женат был.

— Ну не такой уж и старый. Разница не шибко велика.

— Да просто не нравится он мне, и все. Конечно, Иван Константинович человек видный, грамотный. И нас в клубе, когда там бывает, всякой обходительности учит. Но... — она не договорила, прыснула.

— Чего ты?

— Да представила, как он говорит: «Не изволите ли, Лидия Петровна, в сарае за коровами навоз почистить?» Нет, папа, это не по мне.

У Петра Андреевича на жестком лице мелькнуло подобие улыбки.

— А этот гармонист шебутной, выходит, по тебе? — произнес отец и непроизвольно скользнул взглядом по портрету жены, висевшему на стене.

Лида заметила это, вздохнула, встала и пошла.

— Не торопись ты, дочка, со своим замужем, — сказал он ей вслед.

Лида обернулась в дверях:

— И правда, куда мне торопиться?! Годы, папа, не спрячешь. Я и так уже пересидела...

При встрече со Степаном сказала:

— Времена, конечно, сейчас новые, Степа. Но против воли отца я не пойду. Подождем чуток, что-нибудь да изменится, главное, что мы вместе. Знаешь, как мне его жалко! От ран своих до сих пор мается, и видно, по маме сильно скучает, хотя столько лет прошло. Не перебила война его любви! А вдовы на него поглядывали. Были среди них очень даже путящие. И мы, дети, не противились. Нет, ни в какую...

Петр Андреевич между тем стал присматриваться к парню. Артёмов это заметил, когда стал встречать Лидинога отца то в одном, то в другом месте. И каждый раз ему везло. Он мог показать себя таким, каким был на самом деле.

Утром как-то собрались мужики у конюшни возле рыжего коня. Галдели, что-то обсуждали... Подошел Степан и увидел, что не дается молодой мерин, не хочет, чтобы его запрягли.

— В первый раз, что ли? — спросил он.

— Если бы! — недовольно произнес низкорослый парень в черном морском бушлате. — Два года уже Игрунок в упряжи ходит. Сейчас вот нужно директору подавать, а он упирается. И конюх наш Гришка, как назло, заболел. Тот-то умеет с ними ладить.

— Можно взглянуть?

— Смотри, не жалко, только осторожнее, а то так гвозданет — зубы потом не соберешь. Он норовистый.

Степан присматривался, присматривался, потом сказал:

— Да у него с ногой что-то передней, видишь, как бережет, не наступает...

— Придуряется он так, — откликнулся на это парень в бушлате. — Не хочет, гад, запрягаться...

Степан подошел ближе и, вспомнив своего дядьку Сергея из Кулебы, который с детства таскал его на конюшню, стал приговаривать тихонько, ласково:

— А грива-то какая шелковая-прешелковая, а копыта белые-пребелые, а сам-то игрунистый и добрый... Кося-кося-косенька...

Еще подсвистел маленько тем особым свистом, которым приманивал к себе жеребят дядька. А сам уже гладил переносицу рыжего, ласково отведя его челку от грустных раскосых глаз.

И конь вдруг заржал прерывисто, жалобно.

Степан нагнулся к правой передней ноге, стал ее поглаживать, опуская ладонь все ниже и ниже, потом бережно взялся за белую бабку и, приподняв, заглянул в копыто.

— Ишь ты, стоит и не шелохнется, будто хозяин пришел, — сказал кто-то удивленно.

Степан попросил:

— Мужики, принесите кто-нибудь клещи.

Принесли. И тогда он аккуратно, но крепко, все уговаривая коня нежными тихими словами, ухватился за что-то клещами в копыте и быстрым точным рывком вытащил оттуда гвоздь.

Все ахнули. Конь подрагивал золотистой шкурой и, как бы проверяя, пытался приступить на ногу, из которой у него вынули опасную железную занозу.

Степан улыбался.

А парень, который пытался запрячь Игрунка, сказал:

— Ты фельшар, что ли, конячий? Как это ты ловко без станка!

За ужином Петр Андреевич спросил у Лиды:

— А он, этот приезжий твой, случаем, не из цыган будет?

— С чего это ты взял, папа?

— Да с лошадьми он, я видел, разговаривает — ну чисто цыган. Хотя... — он задумался, потом добавил, словно уверившись в чем-то, — хотя нет, конокрадов у нас давно повывели.

Лида качала головой и улыбалась.

В то время Степан прошел уже свою «токарную практику», но в Кулебу не торопился, хотел окончательно решить вопрос с женитьбой. С директором совхоза он уже договорился и о переезде, и о работе. Теперь у него было свободное время и он празднично ходил по деревне. Часто забегал в механический цех, где для него по-прежнему открывалось много нового и интересного. Заглянул однажды в кузницу. Там было неожиданно тихо. Не звенела наковальня, уголь в горне еле тлел. И тут зашел Петр Андреевич. Поздоровался, прищурился со света, пытаясь разглядеть заскочивших на перекур молодых мужиков, спросил:

— А где Митрофаныч?

— Здесь я, Петр Андреевич! Чего хотел?

— Да вот, — показал Лидин отец три металлических стержня, — надо из этого соорудить одну штуку к хедеру комбайна. Заводские, понимаешь, не выдерживают, рвется металл... Здесь вот хорошо бы припустить на четыре сантиметра, здесь вставить кольцо...

И он стал объяснять, что и как нужно сделать, но кузнец его прервал:

— Не получится, Андреич. Тебе это к какому сроку?

— К завтраму.

— Не получится. Молотобоец мой в Катино уехал. Пацаненок у него сильно заболел, повез в райбольницу.

— Вот едришкино горе... Что же делать?

Митрофаньч посмотрел на курящих, предложил:

— А может, из вас кто, хлопцы, стучал раньше, так помогите. Только тут нужно дело знать, как металл оттягивать.

Все заотнекивались.

— Я могу попробовать, — сказал Степан.

Пока кузнец прибавлял огня в горне, подбрасывая туда уголек, раздувал пламя, он выбрал себе кувалду по руке, пару раз примерился к наковальне, позвенел немного ею и встал обочь, готовый к работе. Митрофаньч выхватил из горна раскаленный почти добела прут и своим мастеровым молотком указал, где бить и с какою силой. Молот послушно заходил по нужным местам.

— Пойдет, — удовлетворенно одобрил Степана мастер и застучал быстрее.

Мягчело сердце у Петра Андреевича, но и щемило его иногда: уж больно балаболистым казался ему этот парень. А дочку-то навсегда замуж отдавать.

«Хотя и рукастый, — думал он. — Рукастый, тут ничего не скажешь».

Петр Андреевич понимал, что Лиду никак не отговорит. Дочь унаследовала многие его черты. Уж если что задумывала, добивалась своего. И все-таки он, вроде как для верности, решил по поводу Степана справиться еще и у старого токаря Алексея

Ковальского. У него Степан как раз и набирался премудростям.

Не поленился, сходил в токарную. Поболтали с Ковальским во время перекура о том да о сем, потом он как бы между делом спросил:

— А как тебе этот практикант из Кулебы?

— Змей, — ответил Ковальский, пропуская сквозь пушистые усы папиросный дым.

— Что такое? — не понял старого товарища Петр Андреевич.

— Да ты представь, с недельку я его погонял (а ты знаешь, как я это делаю с молодняком), — Ковальский самодовольно улыбнулся. — Потом, как у меня и положено, говорю: «А теперь давай сам».

Ну он и взялся. Только смотрю, почти не меряет заготовку. Я ему: «Ты что, парень, творишь?» А он: «Да я и так вижу, что все нормально, дядя Алексей». «Я тебе дам, нормально!» — грожусь. Беру штангель — представляешь? — точно! «Точи дальше», — наседаю. Проточил — снова меряю, и снова точно, а там же доли миллиметра. Вот я и говорю — змей. Ну, хвоста-то я ему накрутил. Глаз, мол, глазом, а перемеривать надо постоянно. Думаю, понял...

Окончательно покорила своего будущего тестя Степан сватовством. Ровно в середине августа, в субботний день, Петр Андреевич вернулся из бани и сел за стол отдыхать после парной. Зашла Лида, принесла кринку кваса, налила в кружку. Села напротив, подперев щеки руками. Когда отец допил квас, сказала:

— Завтра Степан придет свататься. В двенадцать часов.

Петр Андреевич закашлялся.

— Вот, — подняла она палец, — а ты говоришь, что я тебя не жалею. Пока ты пил квас, я ничего не говорила, чтобы не поперхнулся.

Она тут же поняла, что шутка вышла неуклюжей и настороженно посмотрела на отца.

Тот молчал, глядя в окно. Махнул рукой:

— Тебе жить, дочка, пусть приходит.

Лида подошла к нему сзади, обняла, прижалась.

Утром отец достал из сундука старую гимнастерку, попросил погладить, надел, привинтив ордена и приколов медали. Подошел сначала к портрету жены, потом к зеркалу, вздохнул, вспомнив свое сватовство к родной Катерине. За окном что-то загремело, зазвенело. Выглянул. Мать ты моя! У калитки стоял рыжий Игрунок, весь в лентах, с колокольцем под дугой. С ходка спускались гости. Наряженные, в орденах. Постучали, вошли. Впереди — дородный, с черными кудрями, дядька жениха — Сергей. Следом за ним сам Степан и его брат Аким.

Петру Андреевичу как-то сразу в глаза бросились на Степановом пиджаке орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». И ведь слышал, слышал, что воевал будущий зять, но орден и такая медаль — об этом как-то и подумать не мог.

Степан, оказывается, накануне позвонил в Кулебу, чтобы приехала родня по такому случаю.

Сватовство проходило по всем правилам.

— Ехали мы, ехали, — гудел дядька Сергей, — мимо лесов и озер, оврагов и камышей и видим — пригожая деревня стоит, а в красном доме красна девица живет...

Началась замужняя жизнь Лиды. Хорошо началась. Прилаживались друг к другу, привыкали, прилюбивались. Сначала жили в избушке, что пустовала во дворе Лидинога отца. Потом собрали помочь, построили рядом дом.

Все для нее слилось в тихий спокойный праздник. Светло и незаметно, хотя и в постоянной работе



(а что она для молодых и крепких?) проходили зима, весна, лето, осень... Ребятишки затопали по широким крашеным половицам. Сначала один мальчишка, потом другой. И так — до зимы пятьдесят второго года. До той страшной и черной для Лиды зимы, когда арестовали Степана.

### Как Степан попал в тюрьму

В этих степных сибирских местах редко в начале января выпадал такой звонкий и светлый денек. Обычно на дворе хмуро, пасмурно. А тут с утра было ясно, солнце играло на небе и в снегах. Мороз стоял крепкий, острый, но не сбивал дыхание, не гнал в избу.

Степан шел на конюшню, поскрипывал промерзшим снежком, веселил глаза праздничными зимними подарками: развесистым куржаком на березах, цветными искрами, вспыхивающими в сугробах. На сорок, что слетались на обочину санной дороги, покрикивал:

— Чего собрались, стрекотухи?! А ну кыш отсюда!

И на конюшне, пока запрягал коня, не проходила эта легкая, куражливая, как в молодости, приподнятость. Вообще его настроение можно было определить по тому, как он разговаривал с Гнедко. Если ворчал, значит — не очень. Если по-дружески подтрунивал над меринком — проси, что хочешь, исполнит за милую душу.

— Что, Гнедко, заждался? Ох, а переступает-то как, а переступает! Прямо плясун ты у меня. Размяться надо, да? Размяться? Сейчас разомнемся. На ток с тобой поедем, там, говорят, что-то от веялки отломилось, в кузню чинить повезем.

В это время подошел управляющий отделением Игнат Солодкин. Высокий. В черном полушубке, в

новых самокатных валенках. Лицо от мороза красное. Брови седые, обвислые.

— Здорово, Степа, — пожал он Артёмову руку, — дело есть. Будешь около склада, там тебе мешок овса в сани бросят, завезешь ко мне домой.

Голос у него густой, медленный, начальственный.

Степан сощурился, взглянул на низкое солнышко (в это время оно никогда здесь высоко не поднималось), спросил, что-то соображая про себя:

— Без накладной, что ли? А если...

— Все разрешено, договорено, не беспокойся. Лежит бумажка, где надо. Лады?

— Так чего ты не сам? — Степан кивнул на коня управляющего, запряженного в кошевку.

— Да тут такое вышло... В Белово надо слетать до темноты. Договаривались, что их скотники сена нам подвезут. И ни слуху ни духу. Загуляли, говорят. Там во дворе у меня калитка будет открыта, Татьяна моя дома. В общем, ворота расчинишь и в ограду заедешь, завезешь. Чего по улице тащить?

На току, в большом складе с высокими конусообразными ворохами зерна, пока мужики откручивали сломавшийся барабан от веялки (Степан тут же стал помогать), у него вылетела из головы просьба Солодкина. Вспомнил, когда с этим самым барабаном оказался уже около коня. Заметил, что сено в саях в одном месте бугрится. Пощупал — мешок. С овсом, кажется. Удивился. Кто положил? Когда? Почему скрытно?

И настроение сразу замутилось, стало блекнуть.

Он заскочил в склад спросить, но там никого уже не было. Мужики, которым помогал, куда-то ушли через другой выход.

«Выбросить, что ли, к шутам этот мешок?» — подумал он. Но припомнились слова Солодкина, что все решено и договорено. Успокоился. «Ладно, — решил, — отвезу, но уж выговорю ему по полной. На хрена мне такое нужно?..»

Славный разгорающийся день погасил тревожные мысли. Дорога к кузнице шла краем села. С правой стороны тихонько шумела деревня с высоченными столбами дымов над домами, с шапками березовых роц под густым инеем — слышались взлай собак, детские голоса возле школы и звук радио, бубнящего басом около клуба. На все это накладывалось глухое постукивание копыт по снежной дороге да шуршание полозьев и соломенных объедьев, которые свешивались с рядок саней. А слева глаза слепила степь — крепкая, по-зимнему матерая, белая-пребелая. Только на гривах, у самого горизонта, пейзаж перебивался слегка подсиненными березово-осиновыми околками.

Степан, несколько лет назад переехавший сюда из Кулебы, постепенно начал привыкать к здешним местам. Каждый день ведь на одно и то же смотришь. Здесь он из-за Лиды, из-за жены остался. Теперь вот и ребятишками укрепился в деревне. Два пацаненка по избе бегают. Вспомнив их, поулыбался, коня подбодрил:

— А денек какой! А, Гнедко? Прямо смеется денек-то! — И затянул потихоньку, забывшись: — Ой, мороз, моро-о-оз...

После кузницы сразу поехал к Солодкину, чтобы отделаться от нехорошего мешка. Там-то и поджидал еще один «подарочек». В ограду попасть не смог. Ворота и глухая калитка оказались запертыми изнутри. Постучал. Сначала в калитку, потом в окно. Никто не отозвался, не вышел. Минут десять

походил возле ограды, чертыхаясь. Потом двинулся домой. Жил он неподалеку, буквально через поляну. Время было обеденное. Сказал себе: после того, как поест, еще раз заедет и, если снова у управляющего никого не будет, оставит этот мешок прямо у ворот. (Он тысячу раз потом пожалел, почему не сделал так сразу.)

Дома было хорошо натоплено, уютно. Пацанята гоняли кота по комнатам. Лида хлопотала у плиты. В углу прихожей стоял привязанный к толстому гвоздю, вбитому в стену, коричневый теленок с белыми пятнами на боках. Он взбрыкивал еще не оббитыми восковыми копытцами, оскальзываясь на деревянном полу...

— Чего это? — удивился теленку Степан.

— Да, Степа, — смущенно стала объяснять Лида, — смотри, морозы как заворачивают, думаю, вдруг простудится в сарае. А тут брат как раз забегал, вот и помог перетащить. Пусть деньков пять побудет, а?

Степан сам подумывал об этом, потому легко согласился:

— А и ладно. Раньше всегда так делали. Я быстренько, Лида. Чего-нибудь похлебаю — и на ферму. Сегодня там у меня дела.

Помыл руки, сел за стол. И только принялся за свой любимый борщ, в дверь постучали, и сразу же, без всякой паузы после стука, она отворилась, и в морозных клубах пара предстал участковый — старший лейтенант Калитин.

У Степана так больно стало в груди, будто кто-то изо всех сил саданул туда чем-то тупым и одновременно горячим и острым. В его сознании в одно слилось: глупость положения, что ничего не докажешь, и крохотная надежда, что это случайный приход милиционера. Ведь он и раньше навевывался к нему.

И еще захотелось выскочить из избы, пропасть, раствориться, чтобы все было не здесь, не на глазах Лиды и детей. С лицом, ставшим красным, он все-таки сумел произнести:

— Проходи, Никитич, как раз к обеду...

И тут теленок вдруг весело взмыкнул и пустил на ярко выкрашенный пол журчащую струйку. Все растерянно уставились на него и смотрели, как по полу растекается лужа, становясь все больше и больше. И только когда теленок закончил свое дело, Калигин, опомнившись, скомандовал:

— Лида, ты с ребятишками иди в другую комнату. А ты, Степан, — он говорил торопливо, с нажимом, — а ты, Степан... Сейчас сюда люди зайдут. Думай, что говорить! Понял? Думай!

Тут же, распахнув дверь, он пригласил:

— Понятые, входите!

И уже чужим, казенным, меняющим всю жизнь Степана голосом произнес:

— Артёмов Степан Васильевич? Вот постановление. Одевайтесь, пройдем вместе на улицу к саням.

...Суд был не простой, показательный. Модно тогда было для острастки населения устраивать такие общественные зрелища. И это больше всего терзало Степана. Он, когда его привезли в саманный клуб, где все происходило, думал, что и головы не поднимет, чтобы посмотреть на земляков. А потом вспомнил своего взводного лейтенанта Варфоломея. Тот однажды, уже в конце войны, после одного из боев в Чехословакии сказал: «А нам-то теперь чего бояться? Мы уже по десять раз умирали. Ну умрем еще разок. И может, это не страшнее, чем уже было».

Степан встряхнул головой и вздохнул. Стыд его все-таки мучил. Не за себя (знал же, что не виноват),

за людей. Была у него такая особенность — стыдиться за других. Зачем вот они это сделали? Кому он мешал?

В клубе, когда его поставили между двумя милиционерами лицом к сцене, то есть к суду, подумал: «Слава богу, хоть на людей не смотреть...»

Но судья словно подслушал его и тут же изменил порядок:

— Конвойные, — сказал он, — разверните подсудимого лицом к залу.

Развернули... То есть он сам, конечно, повернулся. И... странное дело. Когда поднял голову, все оказалось наоборот — на кого бы он ни взглядывал, человек отводил глаза. Степан высматривал Солодкина и не мог найти. Уже во время следствия он решил, что не будет выгораживать себя, называть фамилию управляющего. Да и в камере его просветили по поводу групповой статьи.

И еще он боялся натолкнуться на глаза Лиды, хотя просил передать ей, чтобы она в клуб не приходила.

Само по себе это выездное заседание суда было коротким, по сути дела, на нем зачитали только приговор, во время оглашения которого произошла незапланированная районным судом сцена. В середине приговора из зала раздалось:

— А может, не того садите?

Судья споткнулся на полуслове, кивнул одному из милиционеров на кого-то и продолжил читать. И вот, когда прозвучало: «...Шесть лет в исправительно-трудовом лагере общего режима...» — от дверей раздался срывающийся, рыдающий голос Лиды (пришла все-таки, не выдержала):

— Да что же вы творите, а?! Ведь не виноват он! Скажи им, Степа, что не виноват!

И закричала тонко, пронзительно. Степан дернулся. Но один из конвойных крепко взял его за локоть и сказал:

— Не вздумай, будет хуже.

И он своим, уже не «гражданским», а будто проснувшимся в это мгновение фронтовым чутьем понял, что да, будет хуже, ничего делать нельзя. И опустил голову.

Зал загудел, зароптал. К Лиде уже бежали милиционер, председатель сельсовета, парторг. Увидев, что порядок будет наведен, судья постучал по графину толстым красно-синим карандашом и строго внушил:

— Граждане, не нарушайте, а то будете привлечены к ответственности. Выведите гражданку из зала.

После оглашения приговора выступали директор совхоза, парторг, председатель сельсовета, комсомольский секретарь. Говорили они почти одно и то же: что «нужно выжигать каленым железом», «выкорчевывать тех, кто расхищает социалистическую собственность и мешает строить коммунизм под руководством партии и ее великого вождя»...

Степан заметил, что все выступающие глядят не в зал, не на людей, а куда-то выше голов. Понимают же, наверно, что ахинею несут, и самим неловко перед теми, кто совсем недавно отломал такую страшную войну, а теперь, горбатясь, мантулит на полях и на фермах. И всем тоже было понятно: говорят начальники по обязанности, по должности. Да и сами они это знали. Были ведь среди них мужики не совсем плохие. Но... надо было так говорить, иначе как дальше быть в начальниках? И тут... Показалось это Степану, что ли? Будто высунулась на секунду из окошечка кинобудки рука с увесистой грязной фигой местного дурачка Пети. Высунулась и тут же

пропала. Обычно этот Петя, когда такой жест делал, то еще приговаривал: «А вот хер вам».

Уже крепко завечерело, когда его вывели. Пока шли к машине, люди, не из тех, что были в клубе (их попридержали на время), а те, кто находился на улице, пытались сказать ему что-то издалека:

— Держись, Степка!

— Не поддавайся там.

— Войну прошел, перетерпи и это.

Его вели быстро, предупредили, чтобы не останавливался. А он за эти секунды как-то резко и емко вобрал в себя густеющую сиреневость сумерек, скрип снега (мороз намечался), поднимающуюся в конце проулка большую розово-оранжевую луну и желтые огни. Они прямо на глазах загорались то в одном, то в другом доме. Какими-то нелепо-веселыми и в то же время растерянными, что ли, были эти огни.

Забираясь в автозак, он вроде как услышал:

— Не я это, Степан, не верь никому...

Неужели Солодкин? Решил, что показалось. Слишком много внутри него сейчас было всякого.

И еще один голос влез в уши перед тем как захлопнулась дверь машины:

— Эх, да растуды твою-то в маковку! Что за жизнь у нас: то война, то тюрьма.

Выматерился и сокрушенно добавил:

— Нет в жизни счастья...

### **«Нет в жизни щастя», или Про несвятого Луку**

И разломилась жизнь Степана на две части. В одной остались Кулеба и Степновка, с привольными озерами, чуткими березово-осиновыми околками и пестрой степью. С любимыми охотой и рыбалкой.



С сенокосами. А главное — с Лидой да ребятишками... А в этой, новой, все представлялось темно-серым, непонятным, устрашающим и, казалось, теперь уже для него вечным. «Шесть лет — это ведь бесконечно много», — думал в эти черные минуты Степан.

Что-то похожее с ним уже происходило. Во время войны. Тогда его существование тоже резко разделилась на до и после. Разделилось, да не так. На войне держались вместе. Сначала — тоже напряженной от страха и неизвестности массой, но слитой одним чувством, одним строем — твердо-необходимым солдатским делом. Как в крестьянской вековой жизни-работе: «Умирать собрался, а жито сей». А здесь? Здесь каждый взглядывал на другого с боязнью и недоумением. В чужих взглядах он читал: «Меня-то ни за что, и вас — тоже?» Все казались одинаковыми, со стриженными головами, в уже ношенных ватных фуфайках, кирзачах и шапках, явно отслуживших не один срок в армии или здесь же, в зоне.

На первых порах его выручило, а может быть, даже и спасло от удушающей безысходности фронтовое обострившееся чутье разведчика. Оно неожиданно проснулось на суде в родном саманном клубе. И уже не покидало до конца срока. А это значило спать вполглаза, все слышать, быть готовым к любой неожиданности. Вот только к какой? В этом Степан долго не мог разобраться, многого не мог угадать, предвидеть. А надо было хотя бы на шагжок вперед читать обстановку. Так учил взводный. «От крохотного шажка иногда жизнь зависит», — непрерывно повторял он. Скорее всего, поэтому и сохранил лейтенант Варфоломеев в целости свой взвод до конца войны.

Степан вбирал в себя все, что видел, слышал, чувствовал, и непрерывно примерялся: как поступать,

что делать? Из-за этого был постоянно напряжен, сосредоточен. Зная себя, понимал: такую нервную натугу долго выдержать трудно, можно сорваться. И это случилось во время этапа.

Везли их обыкновенным пассажирским поездом, который в народе называли «сто веселым». За деревенскую домашность и медлительность. За долгие и обстоятельные остановки на каждом разъезде. Ехал Степан в специальном, перегороженном решетками вагоне. Остановились на окраине небольшой станции. Здесь находилась исправительно-трудовая колония.

Охранники вывели их в поле, посадили на корточки. Ждали машин.

Степан неожиданно вспомнил эпизод, произошедший с ним пару лет назад именно в этом месте. Тогда он добирался поездом до областного центра. Тоже долго стояли на краю станции, и он увидел в окно эков и конвойных с собаками. Заключение сидели на корточках, держа руки на затылке. Перед ними лежали жалкие узелки с вещами.

Эту манеру — сидеть на корточках — Степан возненавидит на всю жизнь. И в будущем станет ругать своих ребятишек, когда они, что-то делая, будут садиться именно так. А на взрослых с такой привычкой смотрел всегда прицельно-оценивающе: не из бывших ли? И редко ошибался.

Тогда, когда ехал вольным пассажиром в город, снега было мало. Дул злой низовой ветер. Кто бывал в сибирской степи, знает: если снега много — не так холодно. А вот от голой промороженной земли всегда тянет обжигающей лютостью. Глядя на эков, он вспомнил войну, окопы за Волгой и пробирающую насквозь стужу, и свой взвод, долбящий лопатами неподатливую почву.

Находясь внутри теплого вагона, Степан пожалел и себя, и солдат в том далеком, теперь уже прошлом военном времени, и — этих, сидящих на земной стыни несчастных арестантов. Зябко передернул плечами. И услышал:

— Вот-вот, и когда только этих сволочуг уже окончательно пересажают?

Говорил дородный мужичина, сыто и лениво кагающий вместе со словами во рту папироску. Он стоял у соседнего вагонного окна.

Степан внимательнее посмотрел на него и как-то в одну секунду понял всего этого, шут его знает, начальника, что ли, в его бостоновом темно-синем костюме в тоненькую серую полосу, в ослепительно белых бурках. И не в бурках, конечно, было дело, и не в этой дорогой серенькой полоске. И все-таки... От всего его облика, от выражения лица исходило — там, за окном, не люди, а ненужный хлам.

Степан грубовато спросил:

— А если сам там окажешься? Говорят ведь — не зарекайся.

— Я? — удивленно не то хмыкнул, не то хрюкнул бостоновый, едва не выронив папироску изо рта. И оглядел Степана с презрительным превосходством. Такой взгляд появился у тех, кто фронта не нюхал, избежав его всякими неправдами, бронями и уверовав в то, что недаром его, как ценного для государства человека, оградили от войны.

— Я-то не окажусь, — еще раз хрюкнул интендантского вида мужик, демонстративно уходя в другой конец вагона. И как бы пообещал: — А ты вот можешь.

И ведь нахрюкал, накаркал...

Теперь Степан был с другой стороны. Он не чувствовал холода, зато буквально ощущал взгляды тех,

кто смотрел на него сейчас из теплого и уютного поезда. Как он когда-то.

По переключке они поднялись в замороженную будку «воронка», поехали. И тут началось непонятное. Машина стала раскачиваться, да так сильно, что того и гляди перевернется... Остановились. Сопровождающий из старших конвоиров через зарешеченные двери, матерясь, прокричал:

— Еще раз повторите, вашу мать-перемать, накажу всех!

Степан удивился: чего повторять-то? Сами везут их как дрова. Или дорога такая?

Но только «воронок» тронулся, качка стала еще сильнее. Степан присмотрелся в полумраке будки и понял: машину раскачивали зэки. Сначала приподнимался ряд вдоль одного борта и резко приседал, потом — сидящие вдоль борта противоположного. Делалось это по команде. Мужик с бледной морщинистой рожей, что сидел рядом с ним, чуть заметно двигал большим пальцем то правой руки, то левой. Это и были команды.

Охранники беспрерывно матерились, угрожали, выгоняли всех на ветер, заставляли подолгу сидеть на корточках, приседать, ходить гусиным шагом. Ничего не помогало. Все замерзли, устали, а бледно-морщинистый не унимался.

Степан не мог понять, когда и как он успел договориться с другими и почему слушаются этого бледного уроды. Почти час прошел с того момента, как они отправились от станции, а проехали всего с километр. Когда в очередной раз уселись в машину и двинулись, Степан неожиданно для себя, а еще больше для соседа, схватил его за приподнявшийся палец и, казалось, навсегда забытым (ан нет же!) приемом вывернул его на излом. Тот захрипел свистящим от боли шепотом:

— Ты что, сука?.. Удавлю...

Степан сильнее крутанул палец:

— Еще раз шевельнешь им, — тихо пообещал, — оторву к черту вместе с рукой.

Отпустил. И как-то успокоился впервые после того, как его арестовали. И почти повеселел. Решил: будь, что будет. Хрен вам — плясать под вашу дудку! Хотя холодок глубоко спрятанного страха знобил сердце. Понятно, почему. Пока до суда сидел в КПЗ, сокамерники накачали самыми разными сведениями. А как разобраться с ходу, где правда, а где нет? Этого он не знал. Но одно запомнил, что по этапу до пересыльной тюрьмы осужденных по самым разным статьям, от самой легкой и до тяжелой, не разделяют, везут вместе.

Бледнорожий, позднее выяснится, что кличка у него Сепета, растирал распухающий палец и грозил:

— Ну все, фраер. Ты у меня скоро будешь на пере, так и знай. До конца этапа тебе не дожить.

Степан, следя за ним боковым зрением, двинул коротко и незаметно локтем точно под дых и, когда тот, позеленев, согнулся, сказал:

— Только я тебе его раньше в одно место засуну рукояткой.

Степан и сам не ждал от себя такой прыти. Отвык после войны быть резким. Но сейчас будто услышал голос лейтенанта Варфоломеева: «Все правильно, Степка, это по-нашему. Противника надо в первую очередь ошеломить, а потом добить, особенно такую паскудину...»

В автозаке по-разному отнеслись к тому, что произошло. Некоторые смотрели на Степана с удивленным восхищением, другие с испугом, а кое-кто из бывалых — с кривыми ухмылками. Мол, спета твоя песня, мужик.

Оказалось, не спета. В колонии только переночевали. Степан так и не понял, зачем там останавливались. Потом повезли дальше. В областном городе, в пересыльной тюрьме, держали недолго, всего неделю. А перед этим пугали, что, пока не сформируют списки по отрядам ИТК, могут промариновать месяц, а то и два, и что здесь-то и получают «первоходы» жесткие уроки того, «как надо свободу любить». Степан присматривался, приравнивался, старался притерпеться к новой жизни. Получалось это тяжело. С Сепетой он больше не пересекался, хотя на переключках видел не раз. После «пересылки» снова заметил его в вагонзаке. Выходит, везли куда-то в одном направлении, хотя сидели они в разных камерах-купе. «Вот ведь судьба, — мелькнуло в голове Степана, — поди, и в отряде одном окажемся, так что еще, наверно, столкнемся...»

Немного повезло с другим, как поймет Артёмов позднее. Он попал в исправительно-трудовую колонию на окраине притаежного городка. Здесь была «мужицкая масть». То есть верховодили не блатные. С виду вроде все было по справедливости. Не по уголовной, а по обыкновенной, гражданской. И кормежка, и распределение по бригадам после карантина (строили четырехэтажный дом в соседней промзоне), и то, как получали передачи. Но внутренняя напряженность по-прежнему не отпускала Степана.

Отряд почти сразу негласно разбился на три группы. В самой большой оказались в основном деревенские мужики, с испуганными взглядами, готовые все исполнять, всем и всему подчиняться. В другой — фронтовики. Их тоже можно было вычислить по взглядам. Были они настороженными, недоверчивыми. А еще в них читалось ясно обозначенное упрямство и готовность дать отпор. В маленькую кучку, но

самую опасную, как решил Степан, сбились те, кто считал себя или хотел считать приклатненным.

Особняком от всех в бараке держался один из старожилков. Почти старик, сухой, полусогнутый, с кожей серо-пепельного цвета и с глазами, которые как-то сразу обращали на себя внимание. Степан после войны заметил у себя особенность: в первую очередь оценивать взгляд тех людей, с кем имеет дело. Этому его тоже научил Варфоломеев: «По глазам сразу можно увидеть, кто чего хочет и что может сделать в следующую секунду. И еще распознать, притворяется человек или нет».

У старика глаза были вроде бы самыми обыкновенными, серыми, небольшими. Можно сказать, не глаза даже, а глазки. Но сидели в них какие-то непонятные свет и сила. Он как бы захватывал ими человека, притягивал к себе и уже не отпускал. Говорил при этом тихо и глухо, но человек невольно и безропотно подчинялся и взгляду, и голосу. Это в действительности не раз потом увидит Степан. В первый раз — когда Сепета с дружкой хотел захватить шконки в углу у окна. А там, на нижней, как раз и лежал старик. Услышав шум, спросил:

— Кто гогочет, в чем дело?

— Давай, дед, вали отсюда, власть переменялась.

— Да ты что? — удивился старик. — Неужели в зоне коммунизм объявили?

В бараке засмеялись. Все сгрудились около шконки пожилого. Сепета обернулся и увидел: что-то не так — смеялись старожилы отряда. Остальные, в основном новички, настороженно молчали. Ждали, чем закончится разговор с дедом. А он облокотился на подушку и, не повышая голоса, попросил, причем действительно попросил, а не приказал или как-то там подстегнул голосом:

— А подойди ко мне ближе, любезной...

Пожалуй, в слове «любезной» (и как оно было произнесено) намечалась какая-то опасность для Сепеты. Но он не уловил ее и собрался что-то рьяно возразить. Не успел. Старик поднял глаза на приклатненного и легким кивком головы поманил к себе. Словно привязанный к его взгляду, Сепета подошел к шконке.

— Назовись, любезной.

— Сепета, — неуверенно произнес бледно-морщинистый и хотел что-то еще добавить, но старик приподнял руку, и приклатненный смолк.

— Не сепети, Сепета, — сказал старый зэк.

И снова раздался короткий смешок тех, кто стоял вокруг.

— Не знаем мы такого... В маляве было сказано, что в отряд вместе с новыми не пришел ни один деловой. Так что селись вместе со своей шушерой в другом месте. А я здесь люблю спать, у окна.

— А ты что, пахан, что ли?

— Вот видишь, оказывается, ты не любезной. А еще и невежливый... Попал бы к блатным в зону, по-другому бы кукарекал. Там бы тебе сразу показали твое место. Что такое дальняк, знаешь? А у нас здесь паханов нет. Люди есть... Лукой меня зовут. — И отвернулся к окну.

Началась лагерная жизнь Степана. Ранние подъемы, переключки, регулярные обыски, которые здесь называли шмонами, работа на объекте.

На стройке Степан оживал. Свежий воздух, небо над головой — не было барачной изолированности, запертости. И мысли не отвлекали. Жгучие, разъедающие душу. В основном о Лиде с ребятишками. А еще — об арестованном в тридцать седьмом году отце.



Раньше Степан почти ничего о нем не знал. Слухи по деревне ходили разные. Одни говорили, что всех десятерых, арестованных в Кулебе по оговору, уже через несколько месяцев расстреляли. Кто-то боялся, что видел того или иного в областном городе. А еще шелестел по деревенским домам упорный шепоток о том, кто оговорил всех.

История об отце всколыхнулась в нем после первого допроса в Катине и неотступно теперь жила в голове. Его дело вел пожилой худой следователь Тонкогубов. У него были прилизанно-зачесанные назад волосы, полувоенный френч со стоячим, под самое горло, воротничком. Встретил он Степана словами:

— Попался, вражина!

— Какой же я вражина? — страшно удивился Степан такому началу допроса.

— Ты думаешь, ты за мешок овса сел?

— Не думаю, мешок мне подбросили.

— Подбросили ему мешок... Ну об этом мы с тобой потом подробнее поговорим... Все вы, Артёмовы, одинаковые...

Остановился, замолчал, испытующе глядя блеклыми глазами на Степана, и, не отводя их, неожиданно поразил:

— Наивные они, видишь ли, и невиновные... Одного такого наивного и невиновного я помню на допросе. Артёмова Василия Ивановича.

— Отца?

В голове Степана все перевернулось, смешалось. Впервые за многие годы с ним говорили об отце. И кто, где? Разве может быть такое совпадение? Он считал, что следователей и начальников из тридцатых годов уже и в помине нет. Тем более, они ведь почти все были энкавэдэшниками. А тут такое... Вообще-то его предупредили, как нужно вести себя

на допросах, но, поскольку разговор пока был вольный да и ошеломил его Тонкогубов своим сообщением, не выдержал и спросил.

— А он живой? Или... погиб? Его вместе с дядькой сажали. Калистратом. Но того, говорят, почему-то сразу выпустили...

— Разве семье не сообщали?

— Болтали по деревне всякое, а бумаг никаких не приходило.

Допрос пока был странный, похожий, скорее, на домашний обыкновенный разговор. Но он вмиг изменился после того как, помолчав, Тонкогубов задумчиво сказал:

— Вообще-то многим сообщали... Ну значит, так надо было, — и тут же жестко отчеканил, — а отец твой — враг нашей советской власти. И ты, вижу, такой же.

— А что я сделал плохого власти? Воевал, между прочим. На совхозной работе горбатился с утра до ночи. А мешок этот...

Тут Тонкогубов сорвался, закричал:

— Да что вы все суете: воевал, воевал. Все воевали!

И по этой реплике Артёмов понял, что сам-то Тонкогубов на фронте не был... А тот подскочил к нему со сжатыми кулаками. Степан поднял глаза и совершенно спокойно, почти равнодушно (он сам удивился, как у него это получилось, ведь внутри-то все клокотало) спросил:

— Что, бить будете? Вы, наверно, и отца моего били?

Краем глаза Степан заметил, что в приоткрытую дверь заглядывает милиционер, — услышал, наверно, шум в кабинете.

— Мне вопросов не задавать, не задавать! — продолжал орать Тонкогубов. — Слушать меня и отвечать на мои! Ясно?!

Так нервно-дерганно продолжались и дальше допросы, казалось бы, заурядного уголовного дела. Когда подследственного приводили, Тонкогубов сначала пытался мирно и спокойно рассуждать о врагах народа, расхитителях, о семье Артёмовых. О ней он знал столько, что Степан удивлялся некоторым фактам — откуда они у него? При этом каждый раз следователь хотел и его вовлечь в разговор. Но когда Степан отвечал на вопрос не так, как тому надо было, нервничал, срывался и после короткой, но бурной истерики переходил на официальный тон.

На очередном допросе во время такого «душевного» разговора о врагах советской власти Тонкогубов услышал в ответ:

— Значит, это вы, гражданин следователь, посадили в тюрьму моего отца и тех девятерых из Кулебы в тридцать седьмом? Половину из них, говорят, расстреляли...

Сказал и заледенел. Думал, сейчас ворвутся охранники, схватят, скрутят, бросят в какой-нибудь подвал — и прощай, Степка Артёмов. В кабинете стало так тихо, что слышалось цвиньканье синиц за окном районного отдела милиции. Тонкогубов как-то неровно подошел к нему и... нет, не ударил, а уставился в глаза Степана своими, ставшими абсолютно белыми, глазами. Лицо у него тряслось, руки ходунном ходили. Степан тогда испугался...

Потом в камере Артёмов разобрался — не мог ударить его Тонкогубов или что-нибудь другое сделать, потому что был он теперь не энкавэдэшным следователем. Кроме того, статья у Степана была не политическая, а, как говорили тогда, бытовая. Да и

изменилось кое-что в органах после войны. Но как ни сдерживались те, кто перебрался из чекистских кабинетов в гражданские, оголтелую их подозрительность и прежние наклонности из тридцатых скрыть было трудно.

Дальше допросы шли без душещипательных бесед. Сухо, по-деловому. Еще несколько моментов во время следствия его удивили, а скорее, озадачили. Главными свидетелями против него, оказывается, выступили (по-деревенски — «доказали на него») соседи — Корзунова Мария (в селе ее звали теткой Корзунихой) и ее зять Андрей Шкабардин.

«Им-то я как насолил? — силился уразуметь Степан. — Ведь помогал по-соседски. И дров подвозил как-то на лошади, и колодец чистил, и навоз для кизяка в деннике сколько раз нарезал. За что же так возненавидели?»

Однажды во время допроса услышал от Тонкогубова:

— Свидетели указывают, что вы во время работы в Степновском совхозе, кроме овса, похитили еще сорок два центнера сена из конюшни. Признаете?

— Сорок два центнера? Да вы знаете, какая это скирда сложится? Чтобы ее притянуть, для этого трактор нужен! — удивился Степан.

— Свидетели утверждают, что вы, гражданин Артёмов, ежедневно, так сказать, для смягчения своего тела клали сено в сани и таким образом привозили его домой.

Степан не выдержал и засмеялся:

— То есть под задницу клочок сена клал, чтобы мягко было! Только сено ведь легкое, пухлое, а здесь получается четыре тысячи двести килограммов. Под задницей столько и за жизнь не навозишь! Надо же, подсчитали.

Больше про сено не говорили.

Как-то Тонкогубов ошибся. Его отвлек телефонный звонок, и он, переговорив с кем-то, протянул для подписи не протокол, а какую-то совсем другую бумагу, анкету, что ли. Спohватившись, тут же выдернул лист из рук Степана, но тот успел ухватить глазами часть написанного: «...подследственный С. В. Артёмов характером в отца, известного в Катинском районе контрреволюционера, арестованного 30 декабря 1937 года “тройкой” НКВД. В отличие от К. И. Артёмова, который...»

Тонкогубов понял, что Степан что-то успел прочесть из документа, поэтому, усмехнувшись, сказал:

— А ты как думал? Он враг народа. И ты не лучше, потому что сын врага. Жалко, не смогли переквалифицировать твою статью на другую. Ну ничего, тебе, думаю, хватит...

Всего хватило Степану...

В колонии жизнь шла своим чередом. В бараке было относительно спокойно. Жили по административному распорядку и тем неписаным правилам, с которыми считается зона, согласно ее «масти». Сепета все пытался утвердиться, собрав вокруг себя шпану. Но так, по мелочам. К бывшим фронтовикам не совался, знал, что они держатся вместе и от них можно запросто получить по зубам. А вот мужичков некоторых прижимал со своими дружками. Заставляли дежурить за себя по бараку. Наколки некоторым чуть ли не насильно делали, а потом принуждали рассчитываться за это папиросами, махоркой, чаем. Наколки были стандартными. Лучи восходящего солнца, а сверху надпись полукругом: «Сибирь». Или такие: «Ни забуду мать радную», «Нет в жизни щастя». А еще втягивали в карточную игру и облапошивали азартных простаков.

Дружок Сепеты Шпынь как-то, проходя мимо шконки Степана, сказал:

— Сепета спросил, прописываться в отряде будешь?

— Это как? — не понял Степан.

— Наколочку тебе набьем, как у всех. Это стоит три пачки чая или пять пачек «Севера».

— Да пошел ты!

Криво ухмыляясь, Шпынь пообещал:

— Сепета сказал, не захочешь — все равно пропишем, он говорит, ты ему должен.

В одну из суббот перед отбоем к его шконке подошли пятеро. Сепета — как бы чуть в сторонке. Шпынь держал в одной руке пузырек с тушью, в другой — связанные вместе три иголки, так называемое «копье».

Степан напрягся: что делать? Кричать, звать на помощь? Ведь скрутить, сволочи, хотят и сделать наколку насильно. И такое могут нарисовать — на всю жизнь останется клеймо. Решил не звать никого — стыдно. Как получится, так и получится. Приготовился отбиваться. И тут раздался тихий глуховатый голос:

— Оставьте его.

— Это кто вякает? — резко обернулся Сепета и увидел Луку.

Тот был один. Стоял и в упор смотрел на Сепету.

— Оставь, говорю, его...

— Ты смотри, защитник какой нашелся! — взвилось было приклатненный, но тут же стал сникать под взглядом Луки. — Должен он мне... — стал объяснять, сбившись со своего тона.

— Ничего... Ты ведь тоже многим должен, да? Статьейкой вот бытовой прикрылся, а чалишься по другой? Так?

В общем, отступил Сепета со своей шпаной от Степана, но уходя, пообещал:

— А должок все равно придется отдавать. Ты же знаешь, Лука, что это такое.

— Иди, иди, — подтолкнул его взглядом в спину пожилой зэк. А Степану сказал: — Ты перебирайся, солдат, на койку рядом со мной. Ничего, если я солдатом буду тебя звать? Есть в тебе что-то прямое, солдатское. Вижу, что воевал.

— Но там ведь спит кто-то?

— Ничего, поменяется с тобой местами.

Поменялись.

Теперь дядя Лука, как стал звать его Степан, был рядом, на виду, а все равно оставался загадкой для него. Да, наверно, не только для него, но и для многих в отряде. Не могли в нем понять главного: как он, по слухам, прошедший полжизни в лагерях, попал в их «облегченную» зону «бытовиков».

Он почти не говорил на блатном жаргоне, у него не было ни одной наколки на теле. Не заискивал ни перед кем и в то же время слыл авторитетом в бараке. Когда бригада выходила в промзону, Лука там не работал, да и пользы от его работы не было бы никакой. Чувствовалось, что физических сил в его сухом и изогнутом теле практически не осталось. Но если случалась какая-то заминка или закавыка, обращались к нему. И он спокойным тихим голосом пояснял, что и как надо делать.

Обычно он сидел в сторонке на низких строительных козлах, покуривал, поглядывал на небо, на тополя, которые качались за забором с колючей проволокой, и странная рассеянная улыбка бродила по его лицу.

Степан работой старался перебить горькие мысли и воспоминания о доме. Он готовил раствор для

кладки кирпичей. В большом жестяном корыте замешивал цемент с песком и водой, грузил тяжелую серую неподатливую смесь в деревянный короб лебедки. Когда в очередной раз кричал: «Вира!» — сверху иногда раздавалось: «Погодь немного! Куда гонишь?»

Вечером ему Лука нередко говорил:

— Ты полегче, солдат, здесь тебе не стахановская шахта. Хочешь забыться, себя изнуряешь, а мужики при чем? Соображай. И по сторонам гляди.

Правильно предупреждал. Не досмотрел Степан. После обеда как-то тачку взял, чтобы песку привезти, а лопаты нет. Странно, вроде не переключивал. Огляделся — лежит на том месте, где короб лебедочный должен быть. А он наверху — кирпичи мужики поднимали. Сунулся за лопатой. И тут услышал шорох и крик Луки:

— Солдат! Падает, падает!

В одно мгновение он все понял и, резко и больно изогнувшись, отпрыгнул назад. Только почувствовал, как край деревянного ящика шершавыми, застывшими бетонными накраплениями обдирает ему ноги.

Поднялся, качаясь. Живой. Кажется, ничего не сломано, только ноет затылок (ударился головой о тачку) да зэковские штаны словно бритвой срезаны от колен и ниже. И там, на ногах, вместо кожи — кровавые лохмотья. А наверху, на стене, откуда упал короб, среди лиц других мужиков маячит глумливая рожа Сепеты.

Оклемался. Ноги зажали быстро. А вот голова потом еще долго болела, особенно в холода. Наложилась, по-видимому, на эту встряску прошлая контузия. Потом, когда Степан выйдет на свободу, это будет проявляться часто — голова начинала тошнот-



ворно болеть после сна-кошмара, в котором на него падал ящик лебедки. Или когда выпивал лишку...

Вернувшись из «больнички», сказал Луке:

— Вовремя ты крикнул, дядя Лука. Иначе труба бы мне.

— Одурил, солдат? Здесь не благодарят. Хотя в этой зоне так всего намешано, не поймешь, что к чему. Меня-то уж ничем не удивишь... А ты сумел. Как вот это ты отпрыгнул, не могу понять? Кто-то сильно молится за тебя, солдат. Ты сам, случайно, не верующий?.. А в лебедке, говорят, трос с колеса соскочил. Я же тебе говорил, по сторонам гляди. Здесь многое что может соскочить...

### Разговоры с Лукой. Домой

Встретившись с Лукой в зоне, Степан стал верить, что это высшие силы расставляют на его пути людей, которые помогают идти по жизни. Взводный лейтенант Варфоломеев на войне, в Кулебе — председатель колхоза Стороженко, в Степновке — Петр Андреевич — отец Лиды. И ее братья. А сама Лида?! Теперь вот снова — в тяжелой, непонятной и запутанной для него ситуации встретился дядя Лука.

— Увидел я, какой ты есть, — сказал старый зек в тот вечер, когда Артёмов пытался произнести какие-то слова благодарности. — Не ошибся. Солдат. Что еще скажешь! Не зря я так называю тебя. Сам-то ты откуда?

Степан стал рассказывать, а старик все спрашивал и спрашивал. Больше всего о деревне, о деревенской жизни, о Чанах.

— Ты, дядя Лука, случаем, не из наших мест, не деревенский? — не выдержал как-то Степан и влез с вопросом.

— Нет, я вологодский. Слышал ты когда-нибудь про такой городок — Тотьма?

— Никогда не слышал.

— Скажи, а у вас церква в деревне была?

— Нет, не было.

— А тут, представь себе, городишко на берегу реки. А река эта — Сухона. В нее речушки падают. Вода в них светло-коричневая. Это потому что из торфяных болот текут: Царева, Леденьга, Еденьга, Двиница, Стрельна, Печеньга... Да десятки еще других. На другом берегу — непроходимые леса. Сам-то городишко небольшой, тысяч на десять жителей, а в нем два монастыря и одиннадцать храмов. Да каких! Как лебеди, храмы-то, или корабли с мачтами под парусами. Говорят, во всем свете и нет таких. Матка моя, когда я был маленький, рассказывала: как загудят все колокола в престольный праздник, так на много километров стоит звон над нашими местами. Эти звоны помогали и тем, кто заблудился...

Лука внезапно умолк, словно прислушиваясь к самому себе, потом снова заговорил, и в это время он был, казалось, где-то далеко-далеко:

— Ну да, люди ведь часто блуждают... — и, словно очнувшись, продолжил уже яснее. — Это до тридцатых годов было, тогда еще в отдельных церквах службы справляли... О чем я? Да, о тех, значит, кто в лесах-то блудил. Так на звоны и выходили. На благовест.

Снова замолчал.

— Надо же, — сказал Степан. — А у нас в райцентре всего одна церква была, ее в Дом пионеров передавали. — И замялся.

— Чего ты?

— Да называлась она — Святого Луки.

Старый зэк закашлялся, засмеялся.

— Чудно. Да ты не сравнивай. Во мне святости и религии ноль. По фамилии кличку прилепили. Лукин я. А может, еще что имели в виду, не знаю. Я ведь, солдат, немало зон прошел. Но это, скорее всего, последняя. Стал я, кажется, доходить. Легкие уж выкашлял. Давно.

Степан такого откровения от Луки не ожидал. Тот много с кем говорил в отряде, а вот подолгу и обстоятельно — пожалуй, только с ним, со Степаном.

Однажды этот разговор продолжился. Почти на том же месте, на котором закончился в прошлый раз.

— Я почему тебя солдатом-то назвал? Да потому что себя в тебе рассмотрел. А был я солдат самый настоящий. Даже офицер. Кадровый, как говорят. Да, представь себе. В сорок первом пехотным батальоном командовал. Война меня сюда и определила, — он похлопал по шконке ладонью. — Батальон мой попал в такую мялку, хуже не придумаешь. Окружили. Меня по голове шарахнуло. Очнулся в плену. И был я в этом самом плену всего-то неделю. Сумел бежать и до своих добратся. Ну а там — как в девятности девяти случаях из ста. «А где ваши документы, товарищ майор?», «А оружие?», «А почему же вы, товарищ майор, не застрелились, так сказать, последним патроном?»... И — в тыл на десять лет. Поехал я по этапу в теперь уже родненькую Сибирь. В сорок втором слышали мы, то есть еще такие фронтовики, как я, которые сидели как «предатели родины», что появились штрафные батальоны. Написал прошение, чтобы, значит, «смыть кровью». Повезло. Прощению дали ход, и скоро я снова был на фронте. Кругом херуха-заваруха: и минометы по нам долбят, и самолеты бомбами утюжат, ад крошечный. А я с винтовкой, этой длинной дурой, да всего с одной обоймой патронов лежу в окопе и чуть сопли не пу-

скаю от счастья. Это потому что на свободе, потому что снова почувствовал себя человеком.

Что дальше? Ни за что не поверишь. Пошли в атаку, и тут чувствую — зацепило меня. Ляпнул себя на ходу ладонью по ноге. Кровь. Вроде не сильно, бегу же. Значит, жить можно, а главное — ранение есть, выходит, смысл с себя наказание! Бегу так, что, кажется, до Берлина добегу. Ага, добежал! Патроны кончились. Нас снова окружили. И снова я попал в плен. И снова судьба мне устроила выверт. Да еще какой!

Когда немцы нас рассортировали, повезли на специальном поезде в Германию, по дороге налетела на эшелон наша авиация и разбомбила его напрочь. Из пленных нас горстка осталась, человек двадцать всего. И все-таки мы пробрались к своим. А дальше, думаешь, что было? Правильно, по этапу и в Сибирь. Хорошо, что не расстреляли, по военному времени... Рецидив же... В пятидесятом вышел. Как говорится, за доблестный труд и примерное поведение на лесоповале, да и документы какие-то отыскались, подтверждающие невиновность. Только толку-то от этого? Восемь лет лагерей, да не в такой детской зоне, — он хмыкнул. — С ними-то, с этими годами, что теперь делать? Я стариком стал, почти доходягой... А мне ведь и пятидесяти, солдат, нет. Как сюда попал — отдельный анекдот...

О Степане тоже был разговор. Выслушав, как и за что тот сел, Лукин сказал:

— Вел ты себя на допросах глупо. Впрочем, солдат — он и есть солдат. Только знаешь, хоть дело у тебя и мутное, но такое ощущение — если подашь кассацию, его могут пересмотреть. Ну а на работе на «зачеты» дави. Можно досрочно выскочить. Непонятно, почему твой следователь в тебя так вцепил-

ся... Надо терпеть. Это не строгий лагерь. Там-то все под паханом. А здесь, — он кивнул в сторону угла, где обретались Сепета и его шестерки, — это так, шелупонь, шушера. Они под администрацией ходят. Боятся ее. Поэтому и работают. Чуть что — в строгий залетят. А там им банковать не дадут. Живо распетушат. Крестник-то твой, Сепета, чую я, по бытовой сюда специально подсел, чтобы другую статью прикрыть, а там, поди, десятка корячилась, а то и вышак... Переменится все знаешь когда? — Он оглянулся. — Когда усатый загнется.

Степан вопросительно посмотрел на Луку, потом догадался, о ком речь, и выражение его лица сменилось на понимающее, но настороженное.

— Вот-вот, — подтвердил Лука.

В марте умер Сталин. Степану об этом, перекрестившись, сообщил Лука.

— Ты же не веришь, — напомнил Степан.

— В этом случае можно, Степка, — сказал он, впервые назвав его по имени. — Теперь жди перемен.

Они действительно наступили. Через неделю не стало Луки, и Степан ощутил, как его не хватает. Все чаще и чаще Сепетовы дружки делали попытки подмять его под себя. Но теперь Степан стал другим, научился давать отпор.

Постепенно он втягивался в режимную лагерную жизнь, с ее невыносимо длинными сутками, которые медленно, как бы нехотя, складывались в недели, в месяцы... И казалось, конца-краю этому не будет. Но через три года и четыре месяца после ареста (это потом Степан высчитал буквально до одного дня) его жизнь снова резко и неожиданно переменилась. Его вызвали «на выход с вещами», отвели в администрацию колонии и там объявили:

— Гражданин Артёмов Степан Васильевич, согласно кассационной жалобе, ваше дело пересмотрено и в нем не найдено состава преступления. Вы освобождаетесь от уголовного наказания со снятием с вас судимости...

...Из Катина до деревеньки Кауровки Степан дошел пешком — не было попутков. Оставалось пройти еще десять километров. Стоял майский денек, но какой-то серенький. Жаворонки неуверенно вскидывались в небо, включив на мгновение свою песенку-журчалку, но тут же обрывали ее и падали в траву. Не пелось без солнца. Зато грачи носились над березами, непрерывно галдя, достраивая черные гнезда на верхушках. Весна была поздней, но дорога уже просохла. Еще пара-тройка дней — и брызнут деревья нежной зеленью. И будут еще с неделю стоять нерешительно в серо-бирюзовой дымке, как бы рассуждая, пора или нет полностью выпускать хлопотливые листья.

За Кауровкой его догнал старик на подводе. При тормозил лошадь, натянув вожжи, оглядел Степана, предложил:

— Садись, солдатик. До Степновки чапаешь? Отслужил, вижу, свое?

— До Степновки, дедуня, — ответил Степан, усаживаясь в телегу. — А ты с чего это решил, что я солдатик? У меня уж вон голова сесть стала...

— Я все вижу, любезной, — сказал старик, и Степан, вздрогнув от этого его нечаянного слова, стал внимательно разглядывать возницу.

А тот продолжал:

— Много живу. Вот и вижу, где ты и как служил. Да вот не слышал, что ты должен возвернуться.

— А-а, — еще раз присмотревшись, признал наконец-то Степан, — ты дед Слава Мурашок из Сорок! Извини, не разглядел сразу.

— Ну да, — притворно обиделся тот, — девок дак за километр различаєте.

Так, пошучивая, и ехали. Но чем ближе была Степновка, тем сильнее и надсаднее стучало сердце Степана. «Хоть придерживай его рукой», — подумал он.

На развилке, напротив огорода, Степан попросил деда остановиться и спрыгнул с повозки. Он неотрывно смотрел на крышу родного дома, над трубой которого вился дымок...

### **Замужем не пропасть**

Лида, после того как забрали Степана, и представить себе сначала не могла, что делать. До ареста мужа она какое-то время не работала, потому что погодки были на руках. В одночасье поняла, что такое жизнь одинокой женщины в деревне. Надо было кормить, обувать и одевать ребятишек. Живность, что стояла в сарае, требовала сена, соломы, комбикорма, зерна. А других дел еще сколько! Оказывается, справиться со всем можно, если есть на кого опереться в немочные минуты.

На второй день после ареста мужа к ней пришли отец, братья Валентин с Гришей и тетка Валя. Лида сидела заплаканная, похудевшая, растерянная.

— В общем так, дочка... Будем считать, что на тебя упала вторая война, — сказал Петр Андреевич. — Помнишь, как меня и других ждали? Вытерпели, дождались. Вот и сейчас перетерпим. Я не верю, что твой Степан виноват, но, как говорят, от тюрьмы да сумы не зарекайся. Хочешь, я к тебе перейду жить или братья? Не бросим, об этом даже и на волосиночку не думай.

Лида, будто освобождая свою душу от черноты, накопившейся за последнее время, зарыдала истошно, в голос...

С тех пор не было дня, чтобы к ней не забежали братья. К Валентину бросались пацаны, и начиналась кутерьма на весь дом, баловство, игры. Только Митька иногда вдруг останавливался посреди избы, удивленно обводил комнату глазами и спрашивал:

— А где папка?

И сразу становилось тихо. Лида насильно улыбалась, отвечала:

— Я же говорила, он на охоте. И будет там долго-долго.

Митька вздыхал, а Петька тащил его играть.

Другой брат Лиды, Григорий, обычно сразу же шел во двор. Когда нужно было, колол дрова, таскал в дом воду, а потом, ближе к вечеру, они все вместе управлялись со скотиной. Поили, носили сено из огорода...

Отец и тетка тоже постоянно чем-нибудь помогали.

В общем, жить было можно, если бы не болела душа. Ох, как надсадно болела она у Лиды, когда в самых страшных картинах представляла, что придется терпеть в тюрьме Степану.

Иногда к ее несладкой жизни добавляли горечи люди, из тех, для кого в радость было видеть страдания других.

Бывало, ее ребятишки играли в ограде, а из-за плетня торчало серое лицо тетки Корзунихи. Зачем она наблюдала за ними, непонятно. Лида уже знала — та была главной свидетельницей в деле Степана. У нее дрожало все внутри, когда ее видела, и она грубо кричала Корзунихе, не узнавая саму себя в этом ожесточении:



— Чего уставилась?! Иди сейчас же отсюда! Иди, говорю! Что, и ребятишек хочешь сглазить?!

Нормальным людям странным кажется, когда через детей хотят выместить злобу или обиду на родителей. Однажды Митька ходил в баню с дедом, вернулся оттуда растерянный. Прямо с порога спросил у Лиды:

— Mamka, ну почему ты меня обманывала, говорила, что папка на охоте?!

— Правильно я говорила — на охоте. А где же еще? Спроси у дедушки, он подтвердит.

Но тот не успел ничего сказать, потому что Митька, опередив его, снова огорошил:

— Дядя Миша Чибисов сказал мне, что наш папка собакам сено косит. А разве собаки сено едят?

Петр Андреевич расстроено качал головой, бормотал:

— И когда же он, иуда, успел такое сказать мальцу? Пока я парился, что ли?

А Лида обомлела. Ну не гадина ли этот Чибисов? Чего ему от ребенка надо? Она знала: выражение «собакам сено косить» нередко произносили в Степновке, чтобы сказать с ехидцей о тех, кто находился в зоне. Но Митька-то здесь при чем?

Этого Чибисова в деревне не любили, точнее сказать, пренебрегали им. Но и побаивались. Были в те времена добровольные помощники милиции, так называемые общественники. Среди них нередко попадались те, кто везде совал свой нос и прискробался ко всем, чтобы показать свою ничтожную власть и значительность. Чибисов постоянно бродил по деревне, что-то вынюхивая и выслушивая.

Однажды увидел — у магазина стоит мотоцикл с коляской, и — туда. Непорядок — мужик в открытую, нагло торгует рыбой. Это был известный на всю

округу дядя Коля Черемухин из соседнего села Чаячьего. К нему относились с сердоболием и великим уважением. Дядя Коля потерял ступни на войне. Когда вернулся домой, смастерил себе кожаную специальную обувь и приспособление, которое позволяло ему ездить на трофейном мотоцикле с коляской. Неунывающий заядлый рыбак, он снабжал рыбой свою семью, соседей, друзей. Ну и какую-никакую копеечку имел с продажи.

Черемухин дружил с Петром Андреевичем — где-то они пересекались на войне. Иногда заезжал к Климову, сигналил. Чаще всего выскакивала Лида. Он знал о ее беде. Доставал из люльки мотоцикла ведро с рыбой, подавал.

— Пересыпь куда-нибудь, Лидонька, тут на ушлицу да и на жареху хватит... Поклон Андреичу-то...

На нем-то, на дяде Коле Черемухине, и хотел отвести свою глумливую душонку Чибисов.

— Значит, незаконно торгуем? — налетел он на бывшего старшего сержанта. — Спекулируем прямо у магазина, подрываем, так сказать, советскую торговлю? А мы вот сейчас вызовем участкового и протокольчик составим, и рыбку браконьерскую конфискуем.

— Слушай, ты, недоделанный, — оборвал его дядя Коля и достал из коляски мотоцикла топор. — Подойди ближе, я сейчас вот этим инструментом твои причиндалы конфискую. Без них тебе легче будет бегать... Да и давно пора, жалуются на тебя люди.

Дальше все было как всегда. Крик, переходящий в визг, истерика. С большим трудом Чибисова отправили домой, а подошедший участковый, старший лейтенант Калитин, сам бывший фронтовик, сказал Черемухину:

— И чего ты с ним связался, Николай Ильич? Сам же знаешь, не тронь — оно и вонять не будет... Но ты тоже придумал... Ну продал бы где-нибудь в тихом переулке.

— Да кто у меня ее там купит, Никитич? В тихом-то переулке. Там народу нет.

И тогда, приблизившись к дяде Коле, Калитин негромко проговорил:

— Да я вот, например, куплю, дядя Коля. Поезжай помаленьку к моему дому, а я сейчас подойду...

Еще один случай заставил Лиду всматриваться в изменившуюся для нее жизнь совершенно другими глазами. Танька Угловая неожиданно для всех вышла замуж за Ивана Константиновича Перфильева. Но не это удивило. Лида заметила, что после того, как посадили Степана, Танька старательно избегала ее. Вот так. Была подруга — и кончилась.

Время тянулось медленно-медленно.

Лида беспрерывно думала о Степане. Разговаривала с ним и мысленно, и вслух. Будто он всегда находился рядом. В один из летних дней отец заметил, как она что-то бормочет потихоньку, останавливаясь и разводя руками среди ограды. Присмотрелся, потом крикнул, подойдя к плетню:

— Лида!

Она подбежала. Легкая, быстрая. «Вся в мать, — в который раз отметил про себя он эту стремительность дочери. — А ведь двое ребятшек уже».

— Ты это с кем там говоришь?

— Да это я так, папа... Песенку одну пою...

— Лида! — в его голосе зазвучала укоризна.

— Ну со Степаном...

Петр Андреевич погрозил пальцем.

— Смотри, Лида, это нехорошо. Не забывай, двое пацанов у тебя.

— Да уж, забудешь, — кротко и мягко улыбнулась она и бросила взгляд на веревку с сохнувшим детским бельем. — А со Степой я поговорю — и вроде легче мне...

Что-то еще хотела сказать, но замолчала. Поняла — нельзя. Она вспомнила: когда потеряли маму, отец, буквально почерневший весь, уходил за поселок или к кладбищу и что-то тоже бормотал, бормотал. Вот уж точно, боялись, что заговорится.

Петр Андреевич еще раз предупредил:

— Смотри... Ты же знаешь, какими бывают люди — скажут еще, что дурочкой стала...

— Да ладно тебе, папа...

Ей на самом деле казалось, что когда она «поговорит» с мужем, причем не мысленно, а вслух, то становится легче. И еще думала, что Степан тоже каким-то образом слышит ее. Суется по хозяйству во дворе, она нет-нет да и взглядывала в конец огорода. Там, за плетнем, между березовой рощей и колодцем было любимое местечко Степана, там он привык сидеть на старых, перевернутых набок саях. Справа от них, в сторону тока, образовалась небольшая заболоченная низинка, заросшая камышом. В ней все лето стояла вода, и по весне селилась парочка диких уток. Видно, это местечко чем-то напоминало Степану родную Кулебу. По пути домой он часто присаживался на старые сани отдохнуть, и тогда Лида бежала к нему и устраивалась рядом. Они поворачивались лицом к степи — их улочка была крайней в деревне — и сидели так молча, пока солнце не догорит последней остро-рдяной точкой над дальней гривой.

Лида плакала, когда теперь вспоминала эти их пяти-десятиминутные молчания на исходе дня. В них, в этих закатных молчаниях, для нее сосре-

доточилось все. И жизнь, и любовь и, как казалось раньше, бесконечная дорога вместе.

...Начало мая выдалось сумрачным, невеселым. Скворцы потерленькали, сообщая о весне, пытаясь своими песенками выманить солнышко из туч. Но это не помогло, и они летали молча по своему извечному маршруту, между знакомыми полями и родными скворешнями. И хотя дождей не было, но временами налетал северо-восточный ветер, да такой ледяной, что кто-нибудь из мужиков сообщал соседу:

— Во холодина, должно быть, снег где-то рядом выпал...

Потом немного распогодилось, потеплело, стало подсыхать, хотя ясными днями весна так и не радовала. Впрочем, нет, был один самый светлый, самый радостный и счастливый для Лиды. Управляясь по хозяйству, она бросила привычный взгляд за огород. И — бог ты мой! Неужели показалось? Лида выронила поленья, которые держала в руках, еще раз присмотрелась и увидела, как ее Степан перемахивает через плетень и бежит по тропинке. Она, вскрикнув, полетела к нему. Ох, как они бежали навстречу друг другу!

И стали Лида со Степаном налаживать новую жизнь. Теперь в воспоминаниях Степана были и зона, и, конечно, война. Ее разве из памяти выкинешь? Хотя, после того как вернулся, некоторые события осмысливались уже совсем по-другому.

### **Там, на войне...**

Степан в одну из ночей отчетливо припомнил случай на фронте, когда он на волосок был от штрафбата. А если точнее, не только он, но и командир их взвода разведки лейтенант Варфоломеев, и еще два парня-близнеца с Алтая, Андрей и Серега Крошкины.

Их фамилия, вроде бы рассчитанная на людей маленького роста, не соответствовала внешнему облику сибиряков. Это были крупные, высокие парняги, но, несмотря на свой рост и массивность, неуловимо быстрые и подвижные. Вчетвером они отправились однажды в немецкий тыл за языком. До «передка» шли в сопровождении семи автоматчиков, а потом действовали уже самостоятельно.

С языками на этом участке, где застопорилось наступление, канителились уже вторую неделю. Две группы заходили к немцам неудачно. Одна была уничтожена при возвращении. Другая даже приблизиться не смогла к территории, обозначенной на карте. Уже на подступах к ней фашисты открыли такой густой огонь, что наши вернулись ни с чем.

Накануне командир полка, вызвав к себе Варфоломеева, чуть не умолял:

— Лейтенант, не подведи! Сегодня комдив уже и разжаловать меня обещал, если не добудем. Да не только в этом дело, — морщился полковник и от дыма папиросы, и от мыслей, которые приходилось выкладывать лейтенанту. То есть как бы не по чину выкладывать. — Обстановка здесь, понимаешь, сложилась какая-то неясная. Вот и давят сверху. Видишь, сколько топчемся на месте? Мы-то в центре оказались и, получается, сдерживаем фланги...

У них все поначалу шло удачно. Смогли захватить не одного, а сразу двух немцев. Лейтенанта и фельдфебеля. Степан впервые видел живых врагов так близко. Издалека — приходилось, и даже, наверное, убивал. На пленных тоже чаще смотрел на расстоянии. А вот так, в упор — впервые. С виду — мужики как мужики. Лица обыкновенные, незлобные. А раньше думал, что они какие-то свирепые и обязательно горбоносые.

Поутру, когда вели их уже по нейтральной территории, в относительной безопасности, на просеку вдруг выскочили два немецких мотоцикла с пулеметчиками в колясках, и языки, которые не были связаны и шагали до этого покорно под стволами автоматов, рванули им навстречу. Степан среагировал мгновенно. Упал, перевернулся для страховки, как учили, и послал две точные очереди из ПППШ по бегущим. Те кувыркнулись на землю и больше не шевелились. А тут из-за лесного поворота выехал еще и грузовик. В общем, от погони они тогда еле оторвались. На их счастье, документы и карты, отобранные при обыске у языков, оказались полезными.

Но что-то не понравилось в их действиях контрразведке. Сначала потянули туда Варфоломеева, потом Крошкиных. Дошла очередь и до Степана.

Особисты располагались в хате небольшого украинского хуторка.

Артёмов вошел, доложил. По комнате ходил рыжеватый старший лейтенант, среднего роста и, как показалось Степану, в годах уже для такого звания. Хотя кто их там разберет в этих НКВД? У них и чины-то считаются втрое больше, чем армейские. Даже есть такое странное звание — старший майор.

Сесть офицер Степану не предложил. Курил папиросу. Артёмов обратил внимание, что держит ее особист как самокрутку, зажав между большим и указательным пальцами. Он то подходил к окну и подолгу стоял перед ним, то возвращался к столу и ворошил какие-то бумаги. Комната в хате была чистенькая, аккуратная, выбеленная подсиненной известкой. Печка разрисована радостными украинскими цветами. В углу — иконки с вышитыми рушниками. Все это совсем не вязалось с войной и с тем, что здесь происходило. На столе рядом с бумагами

и чернильницей — кринка с молоком, глиняная глянцево-коричневая кружка и крупно нарезанные ломти серого деревенского хлеба. Эта мирная снедь, а еще потертый пистолет «ТТ», папиросы с мотоциклистами на пачке, лежащие здесь же, делали обстановку какой-то не совсем серьезной и в то же время тревожной.

— Значит, Артёмов? — спросил старший лейтенант, остановившись напротив Степана.

— Так точно. Гвардии старшина Степан Артёмов.

— Гвардии, говоришь? — усмехнулся тот, хотя смешного в этом ничего не было. — Ну-ну... А по отчеству? — И что-то мелькнуло в его глазах, будто он ждал от Артёмова какого-то известного только ему ответа.

— Степан Васильевич! — произнес, напрягшись внутренне, Степан.

— Ясно-ясно, — подошел снова к окну офицер и, крепко чиркнув спичкой о коробок так, что от нее отлетела дымная искра, прикурил потухшую папиросу. Курил, не поворачиваясь к Степану, который чуть расслабился в ногах, а то все стоял навтыжку. Теперь бы вот только не прозевать и снова вытянуться, когда тот повернется...

— Ясно-ясно, — повторил контрразведчик, — значит, берете ценных для всего фронта языков, а потом ты их, Артёмов, как зайцев, — бах! бах! — расстреливаешь...

— Так ушли бы они, товарищ старший лейтенант.

— Ушли бы они или не ушли, в этом мы еще разберемся. Ваши друзья... соучастники... говорят несколько иное. И покрывает их ваш командир роты. И командир полка защищает. Даже успели вам представления настроичить на награды.



Артёмов молчал. О представлении он ничего не знал, хотя ротный намекал на что-то, говоря о ценности немецких бумаг.

Старший лейтенант гнул свою линию, и Артёмов стал понимать, куда он ее гнет.

— А где тебя, старшина, так ловко стрелять научили, а? И кто?

— Да я с детства так... Из охотников... Все у нас там... стреляют.

— Ага, у вас там все стреляют... И отец, значит, тоже?

— Я отца плохо помню, маленький был.

— Ну да, ну да... Был маленький, теперь стал удаленький. Ловко стреляешь нужных немецких языков, удаленький.

И тут старший лейтенант резко сменил тему:

— Отец арестован в тридцать седьмом, так? А ты добровольцем в семнадцать лет в сорок третьем на фронт?

— Добровольцем, так точно! А про отца ничего не знаю, где-то сгинул.

— Ага, сгинул. Взял вот и сгинул человек.

— Так не только он один, по деревне говорили, еще восемь человек и дядька мой. Его я тоже плохо помню.

— И дядьку, значит, не помнишь. Гм... Это где же так, ты говоришь, тебя ловко стрелять научили?

— Да в деревне нашей.

Ох, нехороший это был разговор, прямо чувствовал Степан, нехороший.

А особист этот, даже и не рыжий, а ржавый какой-то — таким теперь его видел старшина — снова отошел к окну и снова закурил. Сделал три-четыре неторопливых затяжки, словно что-то обдумывая, обернулся и вдруг сказал:

— Да ты расслабься, Артёмов. Присаживайся.

И сам сел за стол. Осторожно опустился на табуретку и Степан.

— Кури, — предложил ему офицер и подвинул пачку с папиросами.

— Я не курю, товарищ старший лейтенант.

— Ну да, ну да, — произнес контрразведчик и вдруг, будто в рассеянности, случайно, обронил: — Он тоже не курил...

Степан промолчал, а офицер, точно спохватившись, продолжил:

— Как, говоришь, ваша деревня называлась?

— Кулеба. Это в Сибири, около озера Чаны.

— Кулеба? Смешное название? — особист произнес это почему-то с вопросительной интонацией.

— У нас в основном переселенцы с Украины живут, они так и назвали, — пояснил Степан. — По-украински это значит похлебка, суп такой.

Дальше разговор был и вовсе странный, непонятный для Степана.

Рыжий офицер больше не возвращался к языкам, а все детальнее расспрашивал о деревне, о ее жителях, причем интересовался странными подробностями. Чей дом стоял около конюшни? В какие дни работала мельница?..

Когда Степан позднее припомнил этот диалог, каждый вопрос и каждый ответ, то удивился: ведь особист расспрашивал про деревню и про жителей так, будто знал все о них и просто уточнял детали. Впрочем, это могло быть и самым простым совпадением. А кроме того, ходили туманные разговоры, что у контрразведчиков в специальных бумагах «все записано».

Об одном жалел Степан, что не спросил у Варфоломеева, как фамилия старшего лейтенанта. Этот самый рыжий особист много раз снился Степану.

## Сны Степана

До фронта Степан снов вообще не видел. И вдруг они стали ему не просто сниться, а буквально мучить. Раньше у него как было? Приходил с работы или с вечерки, клал голову на подушку — и уже утро в окна радовалось. Ночь пролетала в одно мгновение. Первые сны пришли, как ни странно, на войне. Да, в таком вот неожиданном месте, где, казалось, не до них должно быть. Там об одном всегда мечталось — хоть на часок, хоть на пять минут прикорнуть, провалиться в сладкую небыль, расслабить находящиеся в постоянном напряжении душу и тело.

Однажды, после очередного ночного рейда, Варфоломеев, отправляясь на доклад к комбату, скомандовал:

— Давайте, славяне, съпьтесь в блиндаж, вздремните.

Кто же от такого откажется?! Через пару минут разведчики, потеснив немного артиллеристов, уже устраивали поудобнее свои шинельки в блиндаже. Степан только закрыл глаза — ему тут же привиделись родные места. Он даже успел понять, что это во сне. В полудреме бывает такое понимание. Снилось, будто он с отцом на охоте. А сам уже взрослый. Такой, какой сейчас на фронте.

Он, Степан, стоит на берегу озера и ждет отца. А тот где-то в камышах плывет, потому что оттуда слышатся всплески. Ожидание напряженное, тревожное и томительное... И вот лодка, которой правит, стоя в ней, отец, появляется в рези. Лицо у него оранжево-желтое, будто освещено керосиновой лампой, но какое-то невнятное, расплывчатое. А все остальное вокруг, наоборот, резкое, отчетливое — до самых малейших пушинок на верхушках камыша.

И утки над ним кружатся... То одна стайка над головой пролетит, то другая. Отец сильно и часто отталкивается пёхой от вязкого дна, но лодка вдруг замирает и больше не приближается к берегу, хотя он пытается изо всех сил протолкнуть ее вперед. Отец говорит: «Ну что же ты, иди ко мне, подтяни лодку».

Но Степан чувствует, что тоже не может сдвинуться с места. Ноги в одно мгновение проваливаются в сыпучий и вязкий песок. И такая в них томная слабость — не пошевелиться.

А отец все просит: «Помоги, сынок, мне нужно рассказать тебе, что они со мной сделали... И кто».

На этом месте сон оборвался.

А потом стал беспрерывно повторяться. С тошнотворной точностью, во всех самых мелких деталях. Не каждый день, но часто.

Степан поделился этим с Варфоломеевым... Тот воспринял его рассказ серьезно, а не с обычной своей грубоватой шутливостью, которой иногда прикрывался. Задумчиво посмотрел на друга:

— Это от контузии у тебя, Степка, — сказал он. — Пройдет. — И горько добавил: — А я так хочу, чтобы приснились мои. Хоть бы во сне увидеть...

Степан знал, что деревню Варфоломеева, которая стояла на пути немецкого наступления, трижды проходили фашисты, и в конце концов сожгли дотла, разутюжили танками. Кто-то написал лейтенанту, что из его родного сельца в живых не осталось никого...

Степана бог на войне миловал. Хотя как считать. Пару раз все-таки зацепило. Один раз — пулей ногу, когда возвращались ночью с передовой, второй — минометным осколком чиркнуло по плечу. Но ранения эти были легкими, несерьезными. Они и за-

жили без всякого санбата. Перевязки сам делал, иногда ребята из взвода или санитарка помогали. А вот контузия навредила. При немецком обстреле взрыв снаряда приподнял его вместе с землей и так шарахнул о бруствер окопа, что он долго не мог очнуться. Оттащили в лазарет. Там провалялся сравнительно недолго, чуть больше двух недель. «Повезло, — говорили военные медики, — отмяк. Отошел». Слава богу, от контузии, а не к дедам. Тело только потом болело долго, будто его толстыми палками били, не пропуская ни одного суставчика, и в голове надоедливо и неотвязчиво сотни кузнечиков звонко стригли сенокосную полянку. Потом немного поутих этот сенокос.

Еще повезло с тем, что удалось вернуться в родную роту. Это потому что в санбате валялся, а не в госпиталь попал. Оттуда почти всегда в новые части перебрасывали. В тот день, когда пришел, все жал ребятам руки, угощал папиросами (полпачки ему неожиданно отсыпал военврач, хотя Степан не курил), заглядывал Варфоломееву в глаза. Радовался. Снова оказаться в своем подразделении после ранения — это почти как домой приехать.

Степан тогда по поводу слов взводного, связавшего навязчивый сон с контузией, задумался, согласился, но при этом все не шла из сознания встреча с рыжим особистом. Не шла, и все.

Лейтенант в том разговоре полушутя-полусерьезно заметил:

— Получается, Степан, у тебя три ранения — два легких и одно тяжелое.

— Ты чего, командир? Какое тяжелое? Куда?

— В голову, Степа, в голову, а то чего бы тебя так корежило по ночам?

После войны отстал этот сон. Зато в тюрьме сразу же привязался другой. Стала сниться Лида вместе с сыновьями. И тоже нехорошо, с одними и теми же повторами. Видел он ее на бричке с высокими грядами. Сидит на возу сена вместе ребятишками. Они едут над крутым яром, поросшим березами. Внизу озеро. То ли Простудное, то ли Водопойное. Степан с вожжами в руках идет поодаль. И вдруг кони начинают нести. Вожжи из его рук вырываются, бричка стремительно летит под яр, и — уже без коней — все быстрее и быстрее катится к воде. Лида и ребятишки сидят не двигаясь, молча, и только глаза у них какие-то большие, темные. И близкие. Будто рядом эти глаза. Они насквозь пробивают Степана. Бричка въезжает в воду и начинает тонуть. Медленно-медленно. А они, не шевелясь, все смотрят, смотрят на него... И потом над всем озером — крик. Лидин. Такой, какой он услышал во время суда в Степновке. Тоненький, обреченно-жалобный. И только этот крик умолкает — голос отца: «Прости, Степан, не могу помочь... Прости. Меня ведь на самом деле нету. А отсюда не могу...»

Степана во сне обдирает морозом...

Слава богу, после того как вернулся из зоны, отвызалось и это наваждение. Но обрадовался рано. Вскоре прицепился третий сон. Самый тяжелый, самый морочный. Его Степан переживал как болезнь. И боялся даже днем. Когда вспоминал, голова начинала кружиться, точно от контузии. В этом сне странно и причудливо смешались три человека: следовательно Тонкогубов, тот, давний, с войны, рыжий старший лейтенант-особист и почему-то дядька Калистрат, которого он никогда и не видел раньше. Этот был каким-то безликим.

Они шли к нему с длинными иголками, с которых капала тушь, и гнусавили: «Давай набьем наколочку на... глазах. Ну давай набьем». И тянулись к его лицу.

Степан мотал головой и никак не мог отвести взгляда от нацеленных прямо в зрачки иголок. И сразу же после этого на него со свистом летел ящик с лебедки-подъемника и откуда-то взявшийся Лука, а точнее, его голос истошно вопил: «Падает, падает, па-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» И тогда Степан тоже в диком, ознобчивом страхе начинал кричать вместе с Лукой: «Падает!»

Обычно он просыпался от того, что Лида тихонько трясла его за плечо:

— Проснись, Степа! Да проснись же ты! Господи! Что же ты так кричишь, Степа?

Он открывал глаза. Разогнавшееся сердце частило, потом постепенно утишалось.

Виновато спрашивал у Лиды:

— Что, Лида, что?

— Да кричал ты снова во сне, Степа... Да так страшно, да с такими стонами и голосом не своим: «Падает, падает!» И не первый раз ведь уже. Война, что ли, приснилась, Степа?

— Нет, не война, успокойся, Лида.

— А-а-а... — протягивала она и глядела на него вопросительно, ожидая, что он начнет рассказывать сон.

Но Степан молчал. Зачем? К чему тревожить понапрасну, накладывать на ее сердце еще и эти путы? Ей и так досталось...

Лида выходила из спальни, а он вставал к окошку, отдергивал шторку и говорил слова, которым его, еще совсем мальчишечкой, научила мать:

— Куда ночь — туда и сон, куда ночь — туда и сон.

И, оглядываясь на иконку Николая Угодника, крестился... Неровно, неумело. Отучила жизнь креститься.

Помогало это мало. Вернее, никак не помогало. Проходило время, и снова наваливалось это ночное наваждение с Тонкогубовым, рыжим старшим лейтенантом, с расплывчатым дядькой Калистратом.

Как-то, измучившись, потому что сон снился три ночи кряду, тайком сбегал к местной знахарке бабке Мотре. Ее избушка стояла на краю их коротенькой улочки. Та, часто моргая подслеповатыми глазками за толстыми стеклами очков, слушала его и все переспрашивала, подставив к уху ковшиком ладонь:

— Ась? А ты чей будешь, парень?

Долго шарилась сначала в припечке, потом в сундуке, перебирая какие-то сверточки, мешочки, газетные кулечки. Затем возилась у плиты. И в конце концов дала коричневую бутылочку со надобьем. Степан дома выпил его и спал как убитый больше суток. Лида испугалась, начала будить и еле растолкала. Стала расспрашивать. Он молчал, отшучивался. Она заплакала, и Степан не выдержал, рассказал про бабки-Мотрино лекарство. Лида взяла бутылочку, откупирила, понюхала и даже попробовала на язык.

— Ясно, — сказала. — Ты, Степа, этого больше не пей... Это она тебе из головок мака настойку дала. И чего-то еще туда натолкала. От этого спят сильно. Иногда так сильно, что можно и не проснуться. Не пей больше, Степа, ладно?

Через несколько дней он случайно увидел, как Лида за огородами, у силосных ям, что-то выговаривала бабке Мотре. Донеслось:



— Ты забыла про ту девочку, а? Забыла, я тебя спрашиваю, как ты ее чуть на тот свет не отправила? Забыла, как три дня она спала, еле врачи разбудили и откачали!

«Вот ведь Лида у меня какая, — подумал тогда Степан, — с виду и не скажешь, спокойная, не заполошная. А на бабушку Мотрю набросилась прямо как... коршуниха».

В душу стала проникать и разливаться по ней теплая тихая радость. Это оттого, что жена его так берегла и защищала.

Иногда он, как бы шутя, (на самом деле надеялся, что поможет) соглашался на уговоры своей матери, Павлины Гавриловны, чтобы она в очередной раз «вылила ему испуг». Так во всех поколениях их рода лечили глаза и нервные расстройства, правда, в основном у маленьких ребятишек.

После того как Степан вышел из заключения, в Степновку потихоньку стала перебираться его родня. Вместе с семьей младшего брата Акима переехала и мать.

Она приходила к нему домой на утренней или вечерней заре, долго успокаивалась от ходьбы, астматически часто и трудно дышала. «Отдыхивалась», — говорила она. Потом растапливала на плите в кружке три-четыре церковных свечи, усаживала его на скамеечку лицом к двери и, держа над головой алюминиевую миску с водой, лила в нее тонкой струйкой воск. И что-то пришептывала, пришептывала. В этом скользящем ему в уши шепоте слышались слова о руках, ногах, голове, животе, каких-то жилочках. А еще о Святом Отце, Сыне, Святом Духе и Святой Богородице. Но чаще всего повторялось слово «переляк». Так его мать называла испуг. Степан

пару раз пытался запомнить, что же она шептала. И не мог. Это была смесь заговора с молитвой, и проносилась она наполовину на русском, наполовину на украинском языке. После этой процедуры долго рассматривала плавающий в миске воск — он застывал причудливыми бугристыми узорами, трогала его пальцем и вздыхала, глядя то в миску, то на сына.

— И шо там такэ, мамо, вы побачили, что так засмученно вздыхаете? — иногда спрашивал он на близком для нее украинском наречии.

— Ой, много чего, детиночка. Лучше б и не бачила. Чего же ты тильки не надивился в этой жизни, сыну. Все думаю и думаю, мабуть ты остался в Кулебе, так ничего и не случилось бы с тобой?

— Так говорят же, мамо, от судьбы не уйдешь. Батька наш в Кулебе жил, и где он теперь?

— То так, то так...

Когда стало у Степана с Лидой уже четверо ребятшек, сны эти пропали. Будто и не было их никогда.

## **В Кулебе**

Степан скучал по Кулебе. И при первой возможности старался туда съездить. Все-таки озерный быт ему был больше по душе. Да и близких людей там оставалось еще много. Полдеревни перероднились между собой. Пошло это с того далекого времени, когда на полуостров огромного сибирского озера Чаны в середине девятнадцатого века приехали переселенцы — пять семей из Полтавской губернии. Именно это место присмотрел для жизни малоземельных земляков их «разведчик» Сергей Пономаренко. Он и дорогу показывал, и был во время всего пути вожаком. Добирались долго, мучительно, через всю Россию. И вот прибыли. Вышли из повозок, рас-

прягли лошадей. Осмотрелись. Необжитое пространство малороссийским южанам сначала показалось неприятным и бесплодным. Полуостров с реденьким березово-осиновым лесом врезался узкой косой в просторное, уходящее до горизонта озеро, вдоль берегов которого поднимались тростниково-камышовые крепи, перебитые рогозом.

По преданиям, увидев все это, одна из баб заголосила, запричитала:

— Ой, лышенько, та куда же вы нас на погибель завезли?! Что мы будем здесь йисти да пити?

— А ну замолчь! — остановил женщину ее муж Андрей Голубенко. — Ты чего детей пугаешь? — И вопросительно посмотрел на Сергея.

Пономаренко сказал:

— Через два часа будет горячее хлебово, какого вы давно не едали... — И позвал: — Хлопцы, ходите до меня.

Мужики обступили его.

— Пошли к берегу.

У воды он остановился, показал на нее рукой:

— Смотрите...

— О, божечки! — не выдержал кто-то. — Сколько ее здесь?

В воде косяками стояла рыба. В это время низко над камышом пролетела парочка гусей, потом — еще штуки четыре, и тут же им вслед, прямо над головами людей просвистело несколько стай уток. Птицы летели и летели... Значит, молодежь на крыло поднялась. Дело-то к осени двигалось. Дичь была непуганая. Некоторые утки и гуси садилась рядом с берегом, на воду около камыша.

— Вы, хлопцы, беритесь за бредень, — попросил Сергей братьев Сагайдаков, — дело для вас привыч-

ное. А ты, — сказал он Голубенко, — возьми ружье, и чтобы через полчаса мясо гусиное было. Видишь, как оно над нами летает? А мы пошли костры разводить...

Минут через сорок под двумя артельными котлами пылал огонь. В одном, набитом щуками, язями, карасями, чебаками и еще какой-то неведомой рыбой, пенясь, бурлила уха. В другом варились утятина с гусятиной. Запах у становища стоял такой, что Пономаренко не выдержал и засмеялся:

— Ох и вкусно пахнет, наверно, до нашей полтавской неньки долетает! Учуют и потянутся сюда теперь наши Хомовичи да Коваленки, Кошманы да Железняки, Рощины да Сергиенки...

Потом впервые за много дней ели горячее вариво. Нахваливали:

— Вот это суп, вот это кулеба!

— А давайте так и назовем наше селище, — предложил Пономаренко.

Посмеялись и согласились. Так появилась на сибирской земле еще одна деревня. Со странным названием, над которым будут ломать головы будущие краеведы и историки.

Дождями и ветрами, снегами и бешеными степными падерами, лютыми морозами вперемешку с крутыми событиями — войнами, революциями, смелыми вождями, со свадьбами и похоронами, рождениями беспокойной ребятни и с вековечной надсадной работой отшумело над рыбацкой деревней больше ста лет.

Поменялись люди, поменялась жизнь. Да не во всем.

Как и в те времена, добраться до Кулебы было по-прежнему не так просто, хотя от Степновки до нее

набегало всего-то шестьдесят километров. По сибирским меркам — пустяк. Но вот закавыка: часть пути к бывшему родовому дому Степана проходила по суше, а часть — по озеру. Бывало, до протоки, соединяющей Большие и Малые Чаны, он доберется, а лодки, чтобы ее переплыть, нет. Или, наоборот, ему передают, что перевоз установился, а тут дождичек пробрызнет. Недолгий, несерьезный. Но по солонцам, по этой предательской для всего транспорта кулундинской почве, если их чуть намочит, не проедешь. Поелозишь-поелозишь, как по мылу, да и назад вернешься. Это когда на мотоцикле или на попутной машине. На лошади сподручнее, но далековато, к тому же, не перевезешь ее на лодке через протоку...

Как-то пригласили Артёмовых в Кулебу на свадьбу. Одна из племянниц выходила замуж. Решили, что Лида с ребяташками останется дома, а Степан со своим братом Акимом съездит. Погода стояла сухая, с перевозом через протоку договорились заранее.

После того как приехали, узнав, что до начала застолья еще часа два, Степан пошел на берег. И затомилось сердце, едва увидел мостки-причалы с лодками и рези в камышах к большой воде. Понял, как соскучился по озеру, на котором всегда ощущал себя нужным человеком. Моментально вспомнились рыбалки, охота, сенокосы на островах. Жадно приглядывался к родным местам и находил перемены. Озеро отдалилось, а камыш подступил почти к берегу. Заливчик, где пацаном дергал на удочку чебаков и окуней, сжался, стал совсем маленьким. Спуск от огорода к берегу тоже сгладился, потерял былую крутизну. Да, может быть, не такими и большими были эти перемены, а просто глядел он теперь на все взрослыми и несколько отчужденными глазами? Хо-

дил по берегу, перебирал в уме родню, припомнил и сидящего в нем занозой безликого дядьку Калистрата. Подумал, что расспросит про него подробнее у кого-нибудь из своих.

Расспрашивать не понадобилось. За столом, уже во время гулянки услышал краем уха разговор своих дядей — Николая и Сергея. Они ответили на многие вопросы, которые мутили душу Степана. Но все-таки не на все и не до конца...

— Листрат наш вообще после войны словно сду- рел, — говорил дядя Николай. — К Нинке своей не вернулся. Она туда ездила, так он не принял ее, говорят, с войны какую-то новую привез... Там, на Украине, и развод устроили. Нинка сюда назад приехала. Но алименты высылает вовремя. Да что эти алименты? Без мужика осталась с двумя детьми... А этот-то, наш, говорят, отрастил бороду с усами... И темные очки все время носит... Рассказывает всем, что ослепило, дескать, где-то в боях.

— Ага, жадность его ослепила да подлючесть, — неожиданно зло ответил на это дядя Сергей.

— Зачем ты так?.. Его тоже тогда забирали, с теми-то... Помнишь? Да и брат все-таки он нам, ты что?

— Вот тут-то и гвоздь в бок... Скажи, Колька, почему из тех, кого тогда арестовали, один только Мохов вернулся, и то через десять лет, а скоро и прибрался. Про остальных — тишина. Пропали... Про Ваську нашего болтали, что на войне видели. Воюет, мол, писать пока не может. Все с войны, значит, писали, а он почему-то не может. Но Васька же грамотный у нас был...

— Так, говорят, из какого-то письма и узнали про Ваську и сплетни распустили... А кто-нибудь хоть видел это письмо?

— Да как тебе сказать... Не совсем и сплетни... Я сам и читал.

— Да ну?

— Вот тебе и да ну! Обыкновенный солдатский треугольник. Карандашом написано. И не кому-то отдельному, а просто — Артёмовым. В письме: так, мол, и так, не переживайте, живой ваш Василий, воюет, с победой вернется домой. Всего несколько строчек... И ни подписи, ничего...

— Ты смотри...

— А я таки не верю про письмо, хоть и читал.

— Здравствуйте вам! Сам читал и сам не верит.

— Да я не про само письмо, — с досадою пояснил дядя Сергей, — а что в нем... Думаю, его написал тот, кто и ухайдокал Ваську... Трясется он где-то, боится, что узнают про него, точнее, что подозревают, и вот, чтобы забылось все на время, как бы отвлекает...

Помолчали. Не чокаясь, выпили невпопад гулянки. Они с этим разговором вообще как-то выбились из застолья. Свадьба шла сама по себе, а они мимо нее плыли со своей беседой. Понятно, давно не виделись, да и кипело в сердцах, видать, одно и то же...

Закусили и неожиданно, без всякого перехода, снова заговорили про Калистрата. Имя его не называли, но Степан понимал, о ком речь.

— А этот и на войне как-то оказался, и, слышал, офицером даже стал...

— Да потише ты, Серьга... Ты что... плохое, что ли, про него думаешь?

— Чего потише? Изменилось теперь все.

— Ты думаешь, изменилось? Ну-ну, — язвительно хмыкнул дядя Николай.

В это время ведущий свадьбу стал произносить тост. Оторвались дядья от разговора, стукнулись

стаканами, опрокинули водку в рот, вяло пожевали чего-то...

— И что, Серьга, опять войну начинать с теми, кто других в лагерья законопатил? Да и кто тебе даст это делать? Хватит, навоевались друг с другом. Понавытягивали из людишек жил. Чего уж теперь... Может, и правильно делают, что многие дела пока закрыты. А то тут такое начнется. А эти... сажальщики... ну, те, которые в тюрьмы сажали, — уже кто ушел, а кто доскрипывает еле-еле. Так ведь не только их проклинают, а и детей их тоже. Мол, одно семя. Они-то при чем? А внуки их? Это ведь тогда до бесконечности. Прощать надо...

Дядька Сергей возражал:

— Вот-вот... Дети при чем... А при чем были дети тех, кто сидел? Ты-то знаешь сам, как сладко им было. Да и не только детям, внукам до сих пор отзывается.

— И что, воевать теперь, как в Гражданскую? У нас и так войны вроде нет, а все воюем... ну, с бандерами — понятно... Я сам посмотрелся, как они лютовали. А вот говорят еще, мы в других странах воюем, помощь им оказываем. Нам чего там надо? Уменьшаем народишко. И так его просеяли. Выбирать уже не из кого. Это когда еще нарожают... Да еще таких, каких повыбили на войне да в лагерях угробили. Помнишь Андрея Утюгова и друга моего Сергея Баранчикова? Разве будут еще такие?

Он заплакал... Потом пересилил себя. Утер глаза ладонями, налил почти полный стакан водки, выпил.

Выпил и дядька Сергей. Скрипнул зубами и упрямо сказал:

— А так бы на озере где-нибудь в камышах встретил, так точно задавил бы.



— Кого бы это ты задавил?

— Да кого-нибудь из этих... сажальщиков.

— Это сколько же зла в тебе накопилось, Серьга...

— Это не злость, Коля... Это горе и обида несусветная... Ведь сколько наши прадеды и деды вложили в эту землю, чуть не каждый ее комочек руками перетерли. Поднялись, окрепли, научили своих сыновей и внуков работать так, чтобы жить в достатке и с пользой... И что?.. Революция, колхозы — все прахом пошло. И как начали шерстить! Ты вспомни Микиту Попова! Он что, виноват был, что его белые мобилизовали? Так ведь и сбежал от них... У красных потом три года воевал и наган именной давали. Одно время даже каким-то председателем назначили, потом — хлоп!.. контрреволюционер, у белых служил. А когда он для полдеревни дома строил, хороший был? И все. Забрали, и пропал.

— Ну, ты тоже не перегибай. Что, одних невинных, что ли, сажали? У нас тоже, знаешь, дай послабку — всю страну растащат да пропьют.

В это время за столом зашумели, начали кричать: «Горько! Горько!»

— Вот, вот! У нас, у русских, даже на свадьбе горько, — хотел вести по той же колее разговор дядя Сергей, но Николай его перебил.

— Да давай погуляем, Серега. Смотри, почти вся родова здесь! Дай я тебя обниму, родной ты мой брат!

Ночевать Степан пошел к дяде Сергею. Пока тетка Мария готовила постели, разговаривали.

— А ты-то батьку помнишь? — спросил дядька. — Ты же уже большенький был.

— Смутно.

— И фотокарточки никакой нет?

— Есть портрет. Ты его, наверно, видел, но его художник так зарисовал, что не поймешь, кто на нем.

— Помню-помню, видел я его у Павлины. На ней Василий не похож на себя. Погоди, — он оживился, — где-то у меня была карточка, только плохонькая.

Он сходил в другую комнату и принес половинку пожелтевшей фотографии с неровно оборванным краем.

— Смотри, Степа. Фотографы тогда в деревнях редко хорошие встречались, но все-таки...

На расплывчатом нерезком снимке трудно было разобрать черты лица.

— А рядом кто был? — спросил Степан.

— Да так, один... — дядя Сергей нахмурился, подбирая слово. — В общем, рядом с твоим батькой ему делать нечего.

Когда дядька заснул, а Степан еще лежал с невыключенным светом, в комнату вошла тетка Мария. Поставила квас на стол. Сказала:

— Вот кого Сергей оторвал от фотографии. Я подобрала. Уж это и давненько было... — И вынула из передника вторую часть желтой карточки.

На ней в пиджаке, с папироской в руке стоял человек. Папиросу он держал двумя пальцами, как держат обычно самокрутки... «Так это же... — Степан все всматривался и всматривался в мутное лицо на фото и даже приподнялся на кровати. — Это же...»

— Это твой дядька Калистрат, — перебила шепотом спутанные мысли племянника тетка Мария. — Они думают, — она кивнула на комнату, где спал дядька Сергей, — они думают, что это он оговорил тогда всех в Кулебе.

И Степану на память пришла строчка из странной бумаги, которую он случайно увидел на допросе: «...В отличие от К. И. Артёмова, который...» Это же о дядьке Калистрате было написано! Но что там дальше в бумаге, что?

Не отпускало прошлое Степана, прорываясь к нему в самые неожиданные моменты жизни и в самых неожиданных местах.

### **В камышах**

В том же году Степан встретил в райцентре Тонкогубова. Артёмов шел по узкому тротуару, ему навстречу — пожилой мужик в белом полушубке. Как это нередко случается, не смогли разминуться в узком месте. Сначала оба неловко ступили в одну сторону, потом в другую, потом подняли головы и узнали друг друга.

— Артёмов? Вышел?

— Давно, — усмехнулся Степан. — Еще в пятьдесят пятом. Кстати, и отца моего полностью реабилитировали. Да ты, думаю, в курсе этого...

— Нет, не слышал. Я давно уже не работаю.

— Да, многих из ваших лишили работы, — продолжая нехорошо и болезненно улыбаться, сказал Артёмов.

Он почувствовал, как напрягся, как в душу начинает проникать забытый уже прежний страх. Тот самый, который впервые появился, когда участковый Калитин вывел его из дома. Превозмогая это состояние, Степан произнес:

— Говорят, скоро указ выйдет, и таких, как ты, судить будут те, кого вы садили и не успели расстрелять...

Эти слова он сказал так, будто они давным-давно были им приготовлены. И, обойдя застывшего посреди тротуарчика Тонкогубова, зашагал быстро и крупно к автобусной остановке.

Еще раз они столкнулись на озере Чаны.

Степан был тогда на рыбалке. Но захватил с собой ружье, потому что охота на уток уже открылась. Так взял, на всякий случай. Вдруг дуриком налетит гусь или утка. Хотя усвоил давно: «Делай что-нибудь одно — или охоться, или рыбачь. А то и рыбы не поймашь, и уток не настреляешь».

Да и не было раньше такого в их краях, чтобы рыбачить, когда идет охота. А тут вдруг так неодолимо потянуло на свое любимое местечко, которое называлось Петраки, что он не сдержался. Поехал. И не прогадал. Попробовал ловить на удочку, хотя считал это баловством, сетей решил не ставить. Язь клевал как бешеный. Он нанизывал распаренную кукурузу на крючок и только забрасывал леску, как сразу же поплавок резко уходил под воду. За какой-то час натаскал килограммов пятнадцать. И остановил себя — все, хватит.

Идти по мелководной рези с раскладной лодкой, как говорили здесь, на горбу да еще с рыбой и снастями было тяжело. Двухстволку повесил на грудь. Когда в очередной раз остановился, чтобы передохнуть, услышал из камышей равномерные всплески. Кто-то шел навстречу. Разминуться в рези было невозможно. Ружье на всякий случай снял и взял в руки. Мало ли кто и что? И вдруг из камышей на него вышел Тонкогубов. Дробовик у него было за плечами. Увидел Степана. Обомлел. Побледнел. Сразу вспомнил имя:

— Степа — это ты? Рыбачил?.. Ну как? А я вот...

Артёмов с рези в сторону не сходил. И где-то глубоко-глубоко, далеко-далеко, как колючая волосинка-зацепочка, — мысль: «И ищи-свищи потом. Сколько на Чану гибнет-пропадает, и только через много лет после палов находят безымянные косточки в камышах, а то и вовсе не находят...»

Было видно, что Тонкогубов страшно струсил.

И вдруг Степан спросил:

— Скажи, а какой он был? У нас ведь даже фотокарточки хорошей не осталось. А так — я плохо помню, замутилось все за годы.

Станный, дикий разговор. Но бывший следователь сразу понял, о ком речь.

— Да какой?.. Сильно ты на него похож. Такой, как ты. Почти один в один. Я-то, Степушка, здесь ни при чем. Время такое было...

— Время, — машинально повторил Артёмов. И добавил: — А ведь Мохов из тех, десяти, вернулся... Как же так? И еще скажи: это Калистрат, да?

И снова Тонкогубов понял его сразу.

— Не знаю, Степа... Потом другой был следователь... И... Нельзя нам такое разглашать...

— Врешь, знаешь...

Больше не говорили. Только смотрели друг на друга.

Наконец Степан отшагнул с рези в сторону, в камыш:

— Проходи, чего стоишь?

Пошел. Степан смотрел ему вслед, и видел, и чувствовал по его съежившейся фигуре, по шагам, по всему — как того сейчас лихорадит, как он смертельно, до собачьего подвыва, трусит. Когда оглянулся, то был он бледный до синюшности:

— Иду я, Степушка, иду.

Потом скрылся за камышовым поворотом и шаги его захлупали часто и гулко. Наверно, пытался бежать. Только в болотных сапогах да с поклажей особо не побежишь.

Степан шел по рези к мотоциклу, а в голове все отдавалось: «Такой, как ты. Такой, как ты».

Теперь, когда они встречались случайно в райцентре, Тонкогубов снимал фуражку и здоровался всякий раз так: «Доброго здоровья, Степан Васильевич!» Степан отворачивался. От этого приветствия у него все дрожало внутри. Вообще-то в Катино он ездил крайне редко. Всего раза три-четыре в год, и вот, поди ж ты, на какой-нибудь из улиц обязательно пересекался с ним. Как-то пришла в голову мысль, что Тонкогубов, возможно, думает, что он специально его преследует. Степан злорадничал в душе: «Потрясись, потрясись, гадина... Подумай, каково было тем, кого ты в тюрьмы отправлял». Он отмахивался от этого злорадства, гнал его от себя, но оно против его воли каждый раз прокрадывалось к сердцу.

Как-то узнал, что Тонкогубов, заядлый охотник и рыбак, вдруг оставил эти занятия. И снова захватывало сердце злое удовлетворение, которого он стал бояться.

«Время... Да, время. Оно теперь другое. Другое?..» — задавал себе вопрос Степан. Он не очень-то верил в это.

После тюрьмы в нем поселилась постоянная, скребущая душу тревога. Он ее глушил, прятал. Но она все-таки жила в нем и нередко пробивалась наружу вместе с безотчетным страхом. За ним, за этим страхом, притаилось одно: в любой момент его могут обвинить в том, чего он не делал...

## **Не морозь меня**

...И вот тот пригожий осенний вечер, когда Степан и Лида Артёмовы идут после гулянки по улице Садовой. На лавочках, вдоль домов, покрытых оранжевой черепицей, сидят пожилые люди, в основном старухи.

Степан сначала немного поартачится перед тем как запеть и заиграть на гармошке, а потом, после разговора про детей, хмель с него станет сходить и он заведет:

Раскинулось море широко,  
И волны бушуют вдали.  
Товарищ, мы едем далеко,  
Подальше от грешной земли...

Лида в нужном месте вступит, и они поведут песенный трагический рассказ о море и матросах-кочегарах. Песня эта длинная, но Степан сокращает ее так, чтобы хватило как раз до конца улицы.

Потом они умолкнут, поднимутся на грунтовую насыпную шоссейку, перерезающую поселок, а им вслед:

— Спасибо тебе, Лида! Степа, спасибо! Дай вам бог здоровья!

И тогда Степан снова вскинет свою гармошку «двадцать пять на двадцать пять» на грудь и весело прокричит на всю улицу:

— Эх, да люди же вы мои хорошие!!!

И выдаст с переливами на всю деревню «Подгорную». Звонко, свободно смеется счастливая Лида.

Они спускаются с дороги на свою уютную поляну, освещенную родными окнами. Молчат до самых ворот.

Дома Лида поможет Степану снять хромовые сапоги и аккуратно оботрет не только голенища, но и крепкие коричневые подошвы (их в народе называют спиртовыми), поставит в угол светло-желтого шифоньера. Другой тряпочкой смахнет пыль со своих черных лаковых туфель с ажурной кожаной отделкой на взъеме. Бережно повесит на самодельные

плечики единственное крепдешиновое праздничное платье — черное, в мелкий красно-белый цветочек, на ощупь слегка шершавое...

А с утра следующего дня Степан и Лида снова будут крутиться, как заведенные, в совхозных делах и по хозяйству дома. Крутиться, работать, иногда до изнеможения, чтобы поднять четверых пацанят на ноги. И где-нибудь на излете морозной зимы Степан, принеся из огорода от скирды сена и разложив его по яслям в сарае, выйдет, обопрется на вилы, взглянет на Лиду и спросит: «Ты как, мать?»

Она, тоже опершись на вилы, поправляя сбившийся, заиневший от дыхания на морозе полусалок, улыбнется ему белозубо и чуть застенчиво:

— Да ничего, Степа.

— Дети-то у нас, а? Лида?.. — И улыбка начнет расправлять на его лице задубевшие от холода морщины.

— Ой, за Никитку боюсь, Степа, это же надо — такое учудил.

Оба потихоньку смеются, оттаивают, вспоминая, что на днях отмочил их третий, самый непоседливый из мальчишек. А было так.

Лида, собираясь на работу, наказала ребятишкам:

— Смотрите не балуйтесь. Митя и Петька, присматривайте за Никиткой с Толей. А будете шкодить — все равно узнаю. Вон у боженьки спрошу, у него, знаете, какие глаза?.. У-у-у... Он все видит и все мне расскажет...

И Лида показала на икону Николая Угодника, стоящую на полочке в углу. Никитка сразу примолк, тревожно посматривая на святого. Когда Лида ушла,



он, озабоченный, сел на сундук, что-то соображая. Потом стал ходить по комнате — искать место, где его не будут видеть строгие глаза с иконы. В угол пойдет — смотрят. За кадку с фикусом спрячется, чуть высунет голову — нет, все равно глядят... Да теперь еще, кажется, с сердитым прищуром... Снова сел расстроенный Никитка на сундук и тут заметил на подоконнике замазку, которую случайно забыла там Лида — она заделывала ею щели в рамах. Никитка схватил замазку, размял, сделал два шарика, потом расплющил — получилось два кружочка. Ими он и заклеил глаза святому. Вот тут-то уж он дал себе волю! Чего только не вытворял! Даже подушку разорвал и рассыпал перо по комнате. Да вот беда — не успел Никитка, как задумывал, отлепить замазочные кружки с иконы — мать пришла. Полдня потом ревел он в углу...

— Ох, ремня бы ему надо, — строжится у сарая Степан, вспоминая Никиткины проказы. — Пораспустили мы их с тобой...

— Нет уж, Степа, ничего хорошего от ремня, поди, не будет... Как ты станешь бить их?

— А и верно, не смогу...

— Только я думаю, — озабоченно говорит Лида, — нельзя, наверно, так со святыми, с Богом, как Никитка?

Степан ненадолго задумывается.

— Простит... Дети все-таки...

Почему-то такие серьезные разговоры происходят у Степана с Лидой не за столом дома, не в спальне, а именно вот так, во время небольших перерывов в работе по хозяйству: во дворе, в сараях, в огороде. Или в степи на сенокосе. А еще, бывает, когда за дровами на лошади в лес ездят...

На этот раз из-за своих мальчишек заговорили о святых, о церкви... В первый раз, наверно, и заговорили. Обычно ведь в деревне как? И божатся, и строжатся Богом, и по-пьяному делу кое-кто непотребно вспоминает Спасителя, но чтобы вот так сидеть и говорить о Нем — это очень редко. Отбила советская власть охоту к таким разговорам.

— Наверно, хорошо, Степа, что мы с тобой крещенные, да? И ведь ребятишек смогли покрестить... Хоть бы им плохо за это не было...

— Да вроде помягчело время. Опять же, и крестиков они не носят. Не будет никто приставать за это.

— А кто носит, Степа? Разве только мы, женщины. Мы и иконки посохраняли. А ну-ка вспомни, ты же в совхозную баню ходишь, видел ты хоть на одном мужике крестик? А ведь там половина — нашего возраста, значит, крещеные.

— И правда, Лида, не видел, — говорит Степан.

Лидин голос становится вдруг радостно-девчоночьим:

— Сейчас вот только дошло, что мы с тобой и по крещению родня!

— Это как?

— Ну вот скажи, тебя в Чумашках крестили?

— Нет, не в Чумашках, там я в школе учился...

— Да?.. — теперь у нее в голосе небольшое разочарование. — А я почему-то думала, что церковь тогда одна на всю округу была, в Чумашках.

— Не скажи... У нас за Богатихой есть такое село — Чистоозерное, там Троицкая церковь стояла, в ней меня и крестили.

Лида потихонечку смеется.

— Чего ты?

— Вот видишь, и у нас Троицкая, а вернее, Свято-Троицкая... Все-таки родня.

— Да православные-то все и есть родня...

Дальше она говорит тихо и даже с каким-то тревожным испугом:

— Сейчас везде ругаются, мол, Его вообще нет... А Он ведь есть, да?

Степан задумывается, потом произносит слова так, будто решил это давно, а крепко утвердился в своих мыслях только сейчас:

— Конечно, есть. Я это там понял.

— Где? На войне?

— Нет... Там...

— В заключении? Да мой ты родненький! — Лида прижимается к холодной Степановой фуфайке. — А у многих ведь наоборот, я знаю, было...

— Что наоборот?

— Наоборот... Разверились. Как раз на войне и в заключении...

Тут он заторопится, не захочет дальше говорить на эту тему:

— Ладно, ладно, Лида, давай еще сена принесем, на завтра, на утро.

После того как принесут, снова стоят, отдыхают, опершись на вилы. Поглядывают наверх, на небо. На его синевато-молочном фоне — высокие зимние звезды. За огородом, прямо над скирдой Ковш изливает на степь тихое мерцание... И оттого, что Ковш на своем извечном месте, вся эта неохватная глазами и разумом даль кажется роднее, ближе, но и загадочнее...

— Как же! Нету Его! — возразит Лида кому-то внутри себя, спорящему, наверно, с ней, и улыбнется, глядя на звездное цветение. — А это тогда что?!

Степан, улыбнувшись на ее слова, неожиданно затянет своим чистым баритоном:

— Ой, мороз, моро-о-о-з...

И Лида тут же подладит под него свой нежный высокий голос:

— Не морозь меня-я-я-я...

И так же внезапно, как начнут, остановят песню. Не гулянка ведь — просто вырвалось. Но на душе так уютно станет.

Испуганная соседка тетка Дуся, вечно недовольная, беспрерывно ругающаяся со своим мужем, перегнетя через плетень, крикнет:

— Вы чего там?

— А ничего, — задорно ответит Степан. — Давай, Дуся, споем вместе!

Та попытается рассмотреть в блекло-морозной темноте что-то еще, кроме сгустков теней возле Артёмовских сараев, но толком ничего не разглядит, ничего не поймет и скажет утвердительно:

— Чокнутые.

И уйдет в сарай доругиваться со своим мужиком.

Степан и Лида засмеются. И замолчат. Надолго. В работе они вообще-то больше молчат. Взгляды-вают только теплыми глазами друг на друга. Трудно им. А и хорошо бывает. Потому что вместе. Как в песне на два голоса. По отдельности можно петь. А вот чтобы вместе — не у всех получается. Созвучие должно быть. И любовь.

А у Лиды в голове все поется и поется песня, и звучат слова: «Не морозь меня...» И она спрашивает себя: «Если бы Степа в тюрьму не попал, интересно, как бы мы жили?.. А так-то, господи! Да морозь, морозь ты меня! Только его не трогай, он и так никак не отогреется...»

И слезы наворачиваются на глаза, прихватываются мелкими льдинками на ресницах:

— Ты чего, Лида? — удивляется Степан, приобнимая ее одной рукой и прижимая к себе.

— Да так, — говорит она, смахивая слезинки. — Песня хорошая...

— Это точно, песня у нас с тобой хорошая...

И вздохнет, и головой встряхнет... И не почувствует он в своем вздохе, как это раньше бывало, ни радости, ни облегчения. Давно это у него. Не чувствует, и все. А ведь еще жить...



# *Жили и жили*

Зарисовки из прошлого



## СИЯЮЩИЕ ОКНА

Наша улица была совсем маленькой. В том ряду, где мы жили, всего-то и насчитывалось с десяток домов и избушек. Стояли они вплотную к березовой роще. Березы в ней были как на подбор. Высокие, стройные и совсем не похожие на те сторбленные и приземистые, что растут в околках, разбросанных по Кулундинской степи. Впрочем, и в этих околках есть своя прелесть и красота.

Со стороны степи почти всегда дули ветры. Роща их сдерживала. В непогоду она шумела протяжно и тревожно, процеживая сквозь себя ветер, ослабляя его холодную силу. Шум берез был разным в зависимости от времени года.

Осенью далеко несло по воздуху крепкую листву. Она, обессилено падая, засыпала дворы и огороды, устилала желтым поляну перед нашими домами.

Когда-то с этой улочки началась деревня, а потом наши дома оказались на отшибе, деревня ушагала дальше.

Бежишь, бывало, осенью из школы или клуба, ветер пробирает тебя насквозь. Перебегаешь через дорогу, потом через пустырь, где стоит одинокий магазинчик, и оказываешься на небольшой поляне, освещенной окнами домов. Здесь — затишек. Спокойно и как-то сразу тепло.

Зимой по вечерам особенно уютным и радостным казался свет из родительских окон. Вдоль до-

мов по снегу были натоптаны тропинки. Жили в деревне тогда дружно и часто по гостям ходили. Ну а мы, пацанва, конечно, мотались до позднего вечера по родной улочке, по этим самым тропинкам в свете окон, затевая всевозможные игры.

Случалось, бегаешь, бегаешь, остановишься у какого-нибудь палисадника и увидишь кусочек чужой жизни за стеклами.

Хозяин в розовой майке устало сидит за столом и задумчиво крутит на цветастой клеенке стакан с чаем. И по тому, что он в майке, понимаешь: тепло, даже жарко в доме. Прислонившись спиной к печи, стоит молодая хозяйка и что-то со смущенной и в то же время радостной улыбкой (соскучилась за день) говорит, говорит — торопится пересказать, что накопилось за это время. А он слушает ее и тоже пытается улыбаться. Но получается у него не очень. Не отошел еще от работы, от снежной степи, от гула трактора — целый день с полей вывозили сено. И хотя ему как трактористу можно было сидеть в кабине, но где же утерпишь, если прицеппики — ребята молодые и неопытные? Напортачат — собирай потом сено по всей степи. Вот и выскакивал наружу: то перецепить волокушу, то показать, как нужно заводить тросы за скирду. Ну и набило лицо февральским ветром — оно теперь, отходя в домашней теплыни от холода, горит. Попробуй тут поулыбайся, когда щеки тянутся, как резиновые.

И все равно улыбается. Хорошо, когда дома тебя ждут, когда жена ладная да умелая, когда пацаненок, твоя копия, заливается смехом, барахтаясь на печи с котом.

И так за каждым окном. Своя уютная и, казалось, вечная жизнь. Без невзгод, без нездоровья, без смертей.



В том углу поляны, где над бабки-Галченкиной избушкой нависали березы, по вечерам дружили Димка Москаленко и Валька Каткова. В шестидесятые годы прошлого века, когда девушка и парень симпатизировали друг другу, встречались, вместе гуляли, ходили в кино, все это называлось «дружили».

В поселке все про всех знали. За Димкиной и Валькиной любовью наблюдали с пристальным любопытством.

Димка был одним из деревенских красавцев-силачей — крупный, добродушно-спокойный, как и все в Москаленкинском роду. Валька тоже была красивая, фигуристая и очень опасная, по мнению деревенских баб. «Жигалка, — осуждали они ее, — вертячая, как кобыла Поздняковская, не идет, а прямо пляшет. А гордячка! Голову задерет, и глазами — туда-сюда, туда-сюда».

В ту пору в нашей школе впервые ввели одиннадцатый класс, и получалось, что к концу обучения многим выпускникам исполнялось восемнадцать лет. А это возраст, когда можно вступать в брак. Вот Димка с Валькой и решили: как только окончат школу, сразу поженятся.

Москаленкина родня на дыбы поднялась. Жениться не послужившему в армии парню, да еще без специальности, было тогда не заведено. Вальку невзлюбили за то, что сбивала его с панталыку. Вот парочка и облюбовала подальше от Димкиной родни закоулок, чтобы встречаться.

У нас, пацанов, было одно на уме: подсмотреть, как целуются Димка с Валькой. Мы выглядывали из-за избушки, а они целоваться не торопились. Ходили по освещенной полянке по кругу, снежок скрипел у них под ногами, они что-то все говорили, говорили,

да Валька заливисто смеялась — громкая была девка. Это больше всего убивало: ну чего говорить, чего смеяться, хватай да целуй!

Кто-то не выдерживал, убежал домой. Родители уже давно прокричали: «Витька, домой! Колька, нука в дом иди! Где ты, зараза, шляешься? Смотри, получишь у меня!»

Наутро мы врали друг другу напропалую: «Вы только ушли, а я вернулся. Димка Вальку ка-ак прижмет к плетню и — давай целовать!..»

Эх, легкое розовое пацанство! Отлетело незаметно. Иной раз думаешь, а со мной ли это было там, в степи, где жил, шевелился, гремел, надсадно работал, страдал, плакал и смеялся мой степной народ?

Родные окна снились мне потом всю жизнь. И в трудные годы в армии, и в чужих краях среди враждебных людей. Их свет поддерживал, наполнял силой и надеждой.

Долгие годы был целым и мой родительский дом, из окон которого шел этот живительный свет. Бывало, я наезжал сюда после длительных командировок или душевных мытарств и невзгод. Выкашивал во дворе траву, загонял машину и какое-то время жил здесь, около любимых степных озер, закатов, горевших вишневыми пожарами, очищающего запаха полыньки, звездных ночей, неумолчного стрекотания: днем — кузнечиков, вечером — цикад.

И почти каждый раз случались здесь сердечные находки: то серп, подоткнутый отцом под крышу сарая, то мамин платок, повешенный ее рукой в летней кухне. Самое дорогое было, что отцом подоткнут, маминой рукой повешен. Душа моя тогда наполнялась благодарностью к людям, которые жили по соседству и не тревожили родительского дома, не зорили его.

Иногда по вечерам, особенно если доводилось быть в родной деревне на излете зимы, я зажигал во всех комнатах огни и ходил по поляне, на которой тропинок уже не было. И хотя предупреждал поэт Геннадий Шпаликов: «...Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне...», я все-таки находил. И уезжал в чумной город совсем другим.

Потом соседи по нашему дому разъехались. Их место заняли чужие, незнакомые люди — новая, нездоровая поросль, алчно живущая одним днем в наступившее тогда смутное и разорительное время для моей страны...

Недавно довелось по печальному случаю побывать в своем селе. Мы ехали с братом на его машине. Дорога шла как раз мимо родной улочки, и он меня все время отвлекал: «Гляди, гляди, какие снегири! Они к нам, между прочим, перед самой весной прилетают... А туда глянь! Видишь, у твоего дружка Генки скирда какая за огородом? Молодец, мужик!»

А мне-то хотелось смотреть совсем в другую сторону. Тогда он остановил машину и сказал: «Да не смотри ты туда, не смотри, ради бога! Нет там больше родительского дома! Пустое место! Понимаешь, пустое! Раскатали и растащили его по ночам. Не мог я его уберечь...» И отвернулся...

Да, раньше, бывало, закрою глаза и представлю: зима, звездное небо, наша поляна, льющйся из окон целебный свет, звенящий снежок под ногами проходящих в этом свете дорогих мне людей. Это была моя родина.



## ВЕСЕЛЫЙ ЛИВЕНЬ

В середине июня из-за березовой рощи выкатится круглое, белое и прямо-таки невинное, какое рисуют в детских книжках, облако. Найдет на поляну, на дома, и вдруг из него, как из пушки, неожиданно бабахнет гром. Резкий, веселый — на всю округу. На минуту все в деревне притихнет. И ливанет короткий, крупный и тоже веселый дождь.

— Вот это лупанул! — закричит радостно дядя Толя Пунцевич, заскакывая на веранду. Ливень схватил его в огороде.

И вся наша маленькая улочка засмеется. Кто-то из мужиков не удержится, подденет:

— Не подмочи порох, Толька!

Дядя Толя — заядлый охотник и рыбак, как, впрочем, почти все мужчины у нас, и всякие шутки в его адрес всегда связаны с охотой. Снова засмеются соседи. Все хорошо знают эту прибаутку и к чему она относится.

— Да ну вас, черти, — отмахнется дядя Толя, закуривая под навесом папиросу.

Подобное общение здесь — дело обычное. Не в том смысле, что часто собираются целой улочкой. Это ливень соберет. А в том, что все на виду, все друг про друга всё знают. Как и шутку про подмоченный порох.

Ряд наших домов построен так, что веранды и сенки выходят в одну сторону — в сторону огородов,

за ними уже синеет степь. Дворы отгорожены редким штакетником, поэтому просматриваются почти насквозь. И если кто-то из хозяек в одном конце улицы, допустим, лепит во дворе летнюю печку, топившуюся обыкновенно кизяком, то на противоположном другая хозяйка зудит, не давая проходу своему мужу:

— Коля, привези кирпича, который раз прошу. Вон бабка Горковенчиха уже на улице картошку варит, а у нас печка совсем развалилась...

Еще одна картинка. Осенняя. Во время сезона охоты. Позднее утро. Гул моторов: мотоциклы во дворы въезжают. Один, другой, третий... Это охотники возвращаются с озер. Настрелялись. На час-другой — тишина: жены уток теребят. А потом, как по команде, загудят под навесами паяльные лампы, вкусный дымок станет разноситься вокруг — это мужики смалят уток. Пока молчат. Поглядывают в одну, в другую сторону, пытаются ревниво разглядеть, кто сколько настрелял. Далековато — плохо видно. Только у ближних соседей можно кое-что рассмотреть. Потом кто-нибудь не вытерпит, спросит:

— Иван!

— Ну...

— На Савельевом был?

— Ну а где же еще?

— И как там?

— Да ничего. Городские вот только... Сначала пьют, а потом такую пальбу устраивают, хоть ложись. Близо, далеко утка летит — им все равно...

— Ну а сам?

— Да сбил штук восемь.

Через двор еще один похожий диалог:

— Николай, на какое озеро ездил? На Боярку?

— Нет. Там омские за два дня места забили. Я на Кругленьком немного постоял.

— И как?

— Да есть немного, — уклончиво отвечает сосед.

А дождь хлещет крупными отборными каплями, которые иногда сливаются в сплошной поток. С одного бока тучи солнце пробивается, значит, не простой дождь, а слепой. Ливневые струи теперь подсвечены лучами — играют, слепят. Кто-нибудь из пацанов не выдержит и стреканет с веранды под дождь. Задерет голову навстречу небесному водному извержению и хохочет. И родители смеются. Кричат с шутливой угрозой:

— А ну в дом, Петька! Суши потом тебя.

И снова про дяди-Толин подмоченный порох вспомнят, снова беззлобно посмеются.

А дело и не в порохе было, а в патронах. Впрочем, даже и не с патронов все началось.

Вера, жена дяди Толи, увидев в один из осенних дней, что он складывает в коляску мотоцикла чучела, раскладную лодку и весла, спросит:

— На охоту собираешься?

— А что, не заметно? — дядя Толя, как и все охотники, не любит, когда во время таких сборов рядом женщины.

— А ты мне что позавчера говорил?

— Позавчера?..

Дядя Толя силится вспомнить подробности позавчерашнего дня и не может. Болит голова. Накануне основательно посидели после работы с мужиками на стройплощадке, так что с вечера к охоте толком подготовиться не успел. Вот теперь и торопится.

Жена напоминает:

— Кто обещал забор поправить? Измучилась я. Как стадо идет — вся скотина в огороде.

— Вера, некогда. Северная утка пошла. Ты что! Пропущу, и все...

— Да зачем мне твоя утка? У меня уже пальцы не гнутся ее теревить! Пока не загородишь — не поедешь. Не пуцу.

— Вера, отойди. Не бери греха на душу...

В общем, поругаются.

Когда он на своем стремительном Иже проезжает через ворота, у калитки стоит Вера.

Притормозит.

— Вер, не обижайся. Приеду — загорожу.

— Ага, слышали. Целое лето обещал... Ну, я тебе напоминалку приготовила.

— Сказал же, загорожу.

— Ты только порох там, на своей охоте, не подмочи.

Дядя Толя округляет глаза:

— Ты чего? При чем здесь порох? — Он бросает взгляд на люльку, где у него лежит ружье и все остальное, газует и мчится по поляне к шоссе.

У Савельева озера, куда он подъедет, знакомые мужики уже собираются плыть на воду. И он заторопится. Соберет лодку, бросит в нее резиновые чучела, приладит на корму ружье. Останется только надеть патронташ. Сунет руку в передок коляски, а патронташа нет. Еще раз, теперь уже лихорадочно, пошарит. Выбросит все из коляски. Пусто. И тут вспомнит слова Веры про подмоченный порох.

— Да растудыт твою! Ну баба!.. Испортила охоту...

Сядет на люльку, закурит и неожиданно расхохочется...

Ливень быстро закончится. Снова будет жарить степное солнце, будут ярко блестеть лужи в конотоп-

ке, будет слегка парить земля, и чудесно запахнет терпкими, будоражащими запахами влажного чернозема, травы и свежей березовой листвы от соседней рощи... И мы, пацанва, рванем по этим лужам босиком так, что брызги полетят в разные стороны.

И как-то так повелось, что после хорошего летнего дождя из калиток, ворот, с обратной стороны домов на поляну всегда выходят мои земляки. И на этот раз выйдут. Стоят, разговаривают, любуются обмытыми палисадниками... Всего несколько минут назад смеялись, балагурили под крышами веранд, а сейчас такие степенные, серьезные. И так странно это...

Эх, родные мои...





## ДЕД ОХОХОНИН

Все в нем было какое-то старинное, почти древнее. И возраст — под восемьдесят, и даже имя — Перфилий Макарович. Приходился дед Охохонин нашей семье дальним родственником. Его дочь Нюра была замужем за моим дядькой Григорием. И хотя жили в деревне еще наши родные дед с бабкой, Степан да Анна, мы Перфилия Макаровича тоже звали дедом, правда, с добавлением — дед Охохонин.

Вот говорю «дед Охохонин», а тогда его, несмотря на годы, дедом было трудно назвать — высокого роста, крепкий, даже могучий мужик. Основательный, важно-медлительный. На Великую Отечественную он не попал из-за солидного возраста, да и бронь на него наложили, так как он был единственным на всю округу умельцем-кузнецом. Ходили слухи, что в Гражданскую он воевал в Чапаевской дивизии. Впрочем, и о другом говорили: якобы у белых тоже служил. Сейчас можно в это поверить. Когда я занимался документами односельчан, нередко обнаруживал, что умудрялись они повоевать и на этой, и на той стороне. Чаще всего не по своей воле — по принудительной мобилизации. В конце тридцатых для многих это стало роковым обстоятельством.

Был один признак, по которому можно было судить о всеобщем глубочайшем уважении к деду Охохонину. Даже в самый разгар очередной антиалко-

гольной кампании дед как гнал наилучший в деревне самогон, так и продолжал гнать, и никто ему по этому поводу ни слова не говорил.

И смех и грех. Как-то зимой он вез на санках укутанный в грубую клетчатую шаль свой самогонный аппарат в РТМ и почти каждому встречному пояснял:

— Вот ведь беда — прохудился у меня агрегат. Десять лет исправно работал, а тут сломался. Видно, Клементий плохо в прошлый раз трубки спаял.

Здоровья он был наикрепчайшего. В нашей деревне не было частных бань, потому что организовалась она сразу как совхоз, в сорок третьем году. Почти на голом месте. Все мылись и парились в общественной. По пятницам — женщины. По субботам — мужики. Когда туда приходил дед Охохонин, кто-нибудь обязательно говорил:

— Ну все, на час-другой отпарились, дед Охохонин пришел.

В бане он почему-то выделял меня. Бывало, попросит:

— Похлопай меня маленько, Витька.

Какой там похлопай! Уже через пару минут я умирал на полке, боясь свариться в раскаленной тесноте парной. А он только переворачивался с боку на бок да кряхтел:

— Шибче, шибче!

Потом стал прихварывать. Придет, бывало, держась за стены, попросит отнести на полку тазик с водой, веник. Сам, облокотясь на кого-нибудь, с трудом поднимется по ступенькам в парную. А через час, как говорится, уже своими ножками слазит с полка бодрый, весь малиновый и домой идет совсем другим человеком.

Еще позднее париться ему стало не вмоготу. Так он возьмет наведет в тазике крутого кипятка, веник туда запустит, а потом прикладывает к своему телу. То есть до самой смерти хотел париться.

Был у деда Охохонина диковинный сад. Диковинный, потому что тополя да клены в палисадниках — и те чудом были. А тут!.. Росли у него в саду и яблони, и груши, и сливы, и даже виноград. И все это плодоносило, давало просто поразительные урожаи. Мы, мальчишки, конечно, проказили, лазили по чужим садам и огородам, а вот к Охохонину — никогда. К нам он нашел безотказный подход. Каждую осень дед стоял с ведром крупных ранеток около дома и наделял ими проходящих мимо пацанов:

— А иди-ка сюда, внучек. Чей ты, говоришь, сынок? Сергея Малащенко? На-ко вот тебе яблочек.

Люди умирали, а дед Охохонин жил. Годы к девяности стали подбираться. Две смерти его свели в могилу. Сначала умер пятидесятилетний сын. А потом внук. Смертью непонятной и нелепой. После армии уже, когда учился в сельхозинституте, двадцатитрехлетнему парню вырвали зуб и занесли заражение. В два дня убрался хлопец на тот свет.

Помню, стоял дед Охохонин у гроба и говорил, глядя на внука:

— Я ведь здесь-то, в околке, лежать должен... И ково это жизнь выделявает? Молодые помирают, а старики живут... А кладбище у нас какое стало? Теперь тут деревня больше нашей. И дома, и переулки свои...

Надо сказать, что с женой своей, Анной Васильевной, прожил Перфилий Макарович душа в душу всю жизнь. И на фотографии, что на могилке, они

рядышком сфотографированы, сидят, прижавшись головой к голове.

После того как он умер, бабушка, до этого еще бодрая, еще на ногах, враз слегла. Почти месяц она непрерывно плакала и ослепла от слез. Дочери Нюре, пришедшей ее попроведать в очередной раз, сказала:

— Сходи на почту,ними деньги, помирать я буду, Порфиша меня зовет.

Когда Нюра вернулась с почты, мать уже отошла. Ровно на месяц пережила она мужа.



## АГЕНТ

Помню, как и когда я получил от отца затрецину. Крепкую, увесистую и, кажется, единственную в своей жизни. Да еще приправленную соленым мужицким словом, хотя отец у нас по жизни ругался крайне редко...

Мои родители иногда уставали от тех игр, которые я раз за разом придумывал.

Несколько дней сижу дома, никуда не выхожу, пью только воду и грызу сухари, предварительно выпросив, чтобы мамка их мне насушила. В это время ситцевая занавеска на печи у меня задернута. В руках книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Читаю ее третий раз подряд, и, понятно, я теперь сам — Робинзон. Первые дни пребывания героя на клочке земли среди океана для меня самые увлекательные и сладостные, и я, конечно, тоже пытаюсь выживать на необитаемой печи, как на острове, изнуря себя сухарями и водой...

Закончилось это тем, что отец сдернул меня вниз, на пол, вставил ногами в валенки, нахлобучил шапку, накинул на плечи фуфайчонку и выпроводил на улицу:

— Хорош торчать на печи, иди проветришься, а то позеленел уже весь над своей книгой!

Да и ладно. Подумаешь... Уже на третий день после того как меня лишили необитаемого острова, я ушел из дома «покорять северные просторы»... И вот куда.

У нас на краю поселка из глубоководной скважины много лет изливалась в степь вода. Что-то проектировщики намудрили, когда бурили, добывая ее с большой глубины, поэтому напор оказался чересчур сильным. Ее провели к колонкам, в некоторые дома (тому, кто хотел), на фермы, а все равно вышло так, что она день и ночь была толстой прозрачной струей, и девать ее было некуда. Короче говоря, то воды не хватало, то теперь от нее спастись пришлось, потому что деревню начало подтапливать.

Выход нашли простой. Прорыли канал в сторону степных оврагов. Так получилась у нас самодельная маленькая речка, а точнее, ручей. Вода из глубин земли шла теплая. Зимой ручей этот парил на всем своем двухкилометровом протяжении. Сорокаградусные морозы так и не могли его одолеть. Лютая стынь, парящая вода, налетающие постоянно на степь свирепые многодневные бураны преобразили узкую ленту местности, тянущуюся вдоль канала до самых оврагов. Однажды в ясный хороший день я дошел до него на лыжах и замер. Такого я еще никогда не видел. Чего только не было здесь! И нагромождение льда, и причудливые навесы снега, закрученные во всевозможные спирали, и уютные пещеры, посреди которых бежал, тоненько побулькивая, несмолкаемый ручей...

Увлечшись Робинзоном Крузо, на какое-то время я забыл про увиденное снеговое чудо, но, когда отец ссадил меня с необитаемого острова-печи на грешную землю, сразу подумал о канале. И не только о нем. Ходил по избе и гадал: где же я еще видел эти снежные, почти фантастические картины? И вспомнил! В книге «Покорение Арктики», которую я в библиотеке полистал, посмотрел, вздыхая, но ее мне библиотекаряша тетя Люба не дала. У нее для паца-

нят было правило: прочитал книгу — сдай и только тогда бери другую. А я в то время держал в руках сразу две, потому что сомневался, какую взять. Правда, продолжалось это недолго. Все решили картинки в «Робинзоне Крузо». Там на одном из жутких рисунков плясали дикари вокруг человеческих костей. А в книге про Север, тоже нестерпимо манящей меня, были изображены причудливые снежные горы, вода, льдины, а на них — белые медведи и моржи. Конечно, я выбрал с дикарями.

Теперь, вспомнив про это, я понесся вприпрыжку в библиотеку. Повезло. Книжку про Север никто не взял. Правда, тетя Люба засомневалась, что я прочитал «Робинзона Крузо», и задала мне несколько вопросов (вот раньше какие были библиотекари!).

— Да я все помню, — сказал я, захлебываясь торопливостью. — Я остановился как громом пораженный!

— Что? Где ты остановился? Каким ты громом пораженный? — слегка ошалела тетя Люба.

— Страница сто двадцать четыре, — сказал я и подал ей «Робинзона Крузо».

Она открыла и засмеялась. На этой странице был плохо пропечатанный и как бы слегка размазанный рисунок, а на нем в оторопевшей позе стоял странный человек в лохматых одеждах. Он в ужасе смотрел на след босой ноги в мокром песке. Под рисунком было написано: «Я остановился как громом пораженный...»

Потом я буду перечитывать эту книгу еще не один раз. А сейчас... А сейчас я прибежал домой и, едва раздевшись, помчался на собачьих упряжках по торосам и застругам сквозь обжигающий мороз, метели, преодолевая глубокие трещины во льду, от-

стреливаясь от белых медведей и беспрерывно глядя на синюю стрелку компаса, которая неудержимо влекла меня к Северному полюсу. Ух, какая это была жутко увлекательная дорога среди белой пустыни! Я строил из снега домики-иглу, в которых ночевал, экономил экзотическую еду пеммикан, болел цингой, оставлял предсмертные записки... Я был то Амундсеном, то Пири, то Нансеном, то Седовым, то Папаниным...

Утром стал собираться на Север. Я-то точно знал, где он находится. Собирался серьезно. Положил в санки немного сена, щепок. Вытряхнул из мешочка бочонки лото, ссыпал туда растертые сухари, оставшиеся от предыдущего путешествия с Робинзоном Крузо. Это будет у меня пеммикан. Отыскал и вымыл консервную банку. Отломил небольшой кусок фруктового чая и засунул в карман. Достал из заветного местечка за этажеркой маленький огарок свечи, который берег почти так же, как драгоценный ножичек складник, потому что у нас свечи продавали только в райцентре. Его я положил в другой карман штанов. Налил в бутылку воды и хорошенько заткнул газетной пробкой. Потом потихоньку стянул из шкапчика коробок спичек (вот за это, я знал, мне могло влететь здорово). Только какой Север без спичек! И... стал запрягать в санки Тузика. Но тот никак не хотел быть ездовой собакой. Когда я к ошейнику привязывал бечевку, он — до этого самое доброе существо на свете — недовольно ворчал и отталкивал меня от себя лапами. Чем больше я на него наседаю, тем недовольнее он становился. И когда ему все это окончательно надоело, он вдруг злобно залаял на меня. Такого лая я вообще от него никогда не слышал. Мне даже показалось, что он крикнул: «Отстань, Витька! Укушу!»



Да точно, крикнул. Мы ведь давно с Тузиком друг друга понимали. А тут отец вышел во двор и надежду на северную упряжку разрушил. Закрывая за собой калитку (наверно, пошел на работу), спросил громко:

— Ты чего там Тузика мучаешь?! Отвяжись от него!

Пришлось мне отказаться от ездовой собаки. Я надел лыжи, привязал сзади к ремню, которым был подпоясан, санки и отправился через огород, мимо нашей скирды сена, по краешку березовой рощи на свой Север. К ручью.

Пройдя почти полкилометра вдоль него, я без всякого компаса понял, что здесь и есть Северный полюс. Место было почти таким, как на одном из рисунков книги. Тут сугробы с одной и другой стороны ручья сомкнулись, и получилась длинная и довольно высокая снежная пещера. Я влез в нее, продвинулся вперед, кое-где на четвереньках, — пространство расширилось, и прямо у ручья оказалось что-то вроде маленького мыса. На нем можно было удобно расположиться.

Развел костер. Поставил на него консервную банку с водой и сообразил, как мог, чай. Потом вытащил листок бумаги и половинку карандаша — их я тоже прихватил с собой — и стал писать дневник путешественника. Но как-то не очень мне это понравилось. Решил, что дневник закончу дома. И перешел на записки. Их я заворачивал в кусочек бересты и пускал по течению ручья. В записках было: «Я на Северном полюсе. Еда кончается. Цинга. Зубы выпали все. Почти ослеп от снега. Вокруг белые медведи и моржи. Они ползут ко мне. Кольцо сжимается. Патроны тоже кончились. Ножик сломался. Рукавицы поте-

рял. Ног не чувствую. Вьюга воеет все сильнее. Силы на исходе. Помогите!!!»

Вспомнив однажды это взрослым, я долго хохотал, представив, как весной или летом кто-нибудь из местных чабанов или пастухов нашел бы записку и начал читать, потихоньку сходя с ума, потому что в каждой я ставил реальное число, месяц и год.

И вот когда «силы у меня уже совершенно закончились», я вдруг сквозь вой придуманной вьюги услышал:

— Сынок! Ты где? Отзовись! Сын-о-о-к!

Потом кто-то стал стучать по крыше моей снежной пещеры, она рухнула, и я увидел красное лицо отца.

— Ну слава богу, — выдохнул облегченно он, — а то я думал, куда ж ты делся?

Нет, не на этот раз отвесит мне батя вполне заслуженный уже тогда подзатыльник, хотя и следовало бы, наверно. Зато когда я ему все рассказал про Северный полюс, он договорился со мной раз и навсегда:

— Давай определимся... Привязать мы тебя к себе с мамкой не сможем. Я в твоём возрасте уже охотился потихоньку на озере... Но куда бы ты ни пошел, говори нам, куда. Ладно? Ты ведь старший, а вас четверо... Попробуй уследи за каждым...

Обещание тогда я батю дал, хотя про себя подумал, что жизнь у меня наступает неинтересная. Что это за игры, когда тайны нет?

Но, услышав совершенно случайно, когда засыпал тем же вечером, негромкий разговор мамы с папой, примирился с обещанием и старался его не нарушать...

— Да нашел-то я его быстро, — рассказывал отец. — Следы из огорода напрямую вели к ручью.

Пока бежал, чего только не передумал. Представил: вдруг он как-то там ударился и упал в канал...

— Да ладно, Ваня, большой ведь уже...

— Ага, большой... И утянет его водой, думал, до самых оврагов... Ох и бежал я, Лиза...

— Не говори так, Ваня... Пока вот этого ты не рассказывал, вроде ничего страшного и не случилось, а теперь прямо трясет меня...

Помолчали. И вдруг отец тихонечко так, вроде как вспомнив что-то, рассмеялся.

— Ты чего, Ваня? — с удивлением спросила его мама.

— Да вот назад-то взглянул... А мы разве не такими были в детстве?

Теперь, сдерживаясь, чтобы не побудить нас, пацанов, засмеялась мама... Наверно, тоже что-то вспомнила из своего детства.

— И вправду, Ваня. И родители не шибко-то за нами приглядывали, а все учили что-нибудь делать...

— А как же... И книжек столько у нас не было, и не читали мы так...

Потом голоса стали утишаться, пропадать, а я снова мчался, качаясь на нартах, по белому огромному Северу, и небо полыхало, изливалось невиданным никогда раньше разноцветным, словно радуга, сиянием... А может, и не небо. А изливались на меня уют и доброта дома, любовь родителей... Какое это неизъяснимо сладкое чувство — засыпать в благодати и тепле родной избы под негромкий мирный разговор отца и матери...

После «прибытия с Севера» я неприкаянно бродил по двору и по дому и все никак не мог найти себе интересное занятие. Было бы это летом — другое дело. Летом можно и в околок сбегать, и на конюш-

ню, и в степь к чабанам... Бывало, пока отгоняю по просьбе бати лошадь на конюшню, успеваю представить себя индейцем или даже Чапаевым. А в роще, что за нашим огородом, столько завлекательного придумаешь! Можно, например, пожить «в доме папуасов». Была у меня такая игра... И я тут же вспомнил, как прошлым летом батя ходил по роще и искал меня, приговаривая с досадою:

— Вот куда делся этот... папуас?.. Сказал, недалеко уйдет, ехать надо в степь, а его не сыщешь...

А я тут был, рядом. И откликнулся бы давно... Да обидно стало за папку. Неужели он не знает, что папуасы на деревьях дома строят? И я себе соорудил такой между четырьмя рядом стоящими березами. Мне же его видно, батю, и слышно, что он говорит. Хоть бы голову поднял, что ли...

Потом, конечно, я откликнулся и рассказал ему про дома папуасов на деревьях. И даже картинки в книге показал. А он почему-то странно посмотрел на меня и вздохнул:

— Ох, не знаю, что из тебя выйдет...

Да, зимой — не летом, переживал теперь я. Почтальоном я уже был. Самодельные телеграммы и письма по домам нашей улицы разносил. И санитаром пробовал работать. Бегал с санками по тропинке и выл, как настоящая сирена скорой помощи, которая приезжала к нам в поселок летом. Правда, не все и поняли, что это скорая помощь. Бабка Марфа, что жила в самой крайней избушке, когда я туда подъехал, спросила:

— Чо ли война началась, внучек?

И тогда мне пришли на ум странные люди, которые приезжали к нам из райцентра на хороших лошадях и ходили по домам. В деревне их звали

агентами. Для меня это были загадочные личности. В доме они обычно появлялись с тетрадками, с карандашами и авторучками. Говорили непонятные слова и отправлялись в сарай смотреть на коров, телят и овец. Потом что-то записывали. Здоровье скотины, что ли, проверяли? Но я уже знал — для этого существуют ветеринары. И еще я заметил, что отношение хозяев к этим самым агентам уважительное. Даже несколько заискивающее. Иногда их и за стол приглашали. А если они не успевали за день сделать свою работу, то и ночевать оставляли. При этом мужики так говорили:

— Повезло Вальке Фисуренко, агент-то у него на ночевку остался...

Вот я и решил тоже немного побыть уважаемым человеком — агентом. Выпросил у бати химический карандаш, два листочка бумаги и отправился к Алексеевым. Они тогда жили как раз напротив нашей избушки. Постучал, вспомнив повадки этих самых людей.

— Кто там? — вроде как с удивлением спросили из-за дверей, обитых старым ватным одеялом. Наверно, никого не ждали.

А я нараспев:

— Это — а-агент. Открыва-а-айте, хозяева, будем скотину переписывать.

За дверью сначала было тихо, потом что-то загремело, зазвенело. Затем снова все замерло. И только после этого дверь открылась. На пороге стоял дед Коля. Какой-то взъерошенный и растерянный.

— Ты? — с удивлением спросил он. — А где агент?

— Я — агент, — с гордостью ответил ему и показал карандаш и лист бумаги.

Дед долго смотрел на меня, что-то соображая, потом сгреб в охапку, открыл сенки и вытолкнул на улицу прямо в сугроб. Еще и прикрикнул:

— Чеши домой, пока я бичик не нашел! И чтоб я тебя больше здесь не видел... агент!

И добавил нехорошее слово.

Расстроенный, весь в снегу, я пришел домой.

Батя взглянул на меня и спросил:

— Окопы свои, что ли, снова рыл? А отряхнуться никак нельзя было? Там же веник в сенках. Что ты мамке опять работу задаешь? У нее что, по дому дел мало?

И тут я, обиженно гундя, стал жаловаться, как меня встретили соседи... Но рассказать толком ничего не успел. В дверь крепко постучали, и в избу вошел дед Алексеев. Он взглянул на меня и, поджав губы, сказал отцу:

— Выйдем, сосед, на минутку.

Отец надел фуфайку, и они ушли в сенки. Говорил там только дед. Из-за дверей слышалось:

— Ты приструни, сосед, своего пацаненка. Раньше-то он приходил, играл, и мы ничего. Не он же один. Я понимаю — дети. И у меня внуки... И когда он у тебя все успевает? Ведь вроде учиться начал? — Потом что-то невнятное доносилось, а дальше снова громко. — И главное, «я — агент» кричит! «Открывайте дверь, буду скотину переписывать». Мой старший как ломанулся через окно в огород к сараю! Так всю раму и вынес... Это какво зимой, а? Теперь стеклить...

Вот тогда-то, войдя из сенок в избу, отец и ответил мне затрещину да еще с приговором:

— Я тебе сколько раз говорил: не шляйся по чужим дворам! Ты ведь нас с матерью так под монастырь подведешь... А в эту игру никогда больше не

играй! Понял меня? Никогда... — Он это слово повторил еще раз, отдельно. — Ни-ко-гда. — И даже постучал по столу костяшками пальцев, сопровождая ударами каждый слог.

Мне было не больно, но страшно обидно. Я видел, что как-то чудовищно подвел родителей... Но как именно? Этого не мог понять.

Отец, наверно, тоже чувствовал свою вину за эту затрепину. И какое-то время неловко было и ему, и мне. Но когда я пытался спросить, что же такого я натворил, отвечал всегда одинаково:

— Вырастешь — поймешь...

И смотрел на меня печально, с сожалением...

О налоговых агентах я узнал намного позднее. То есть об очередной дурацкой затее, которая уже в хрущевское время мешала крестьянам нормально жить. Тогда в личном хозяйстве в деревне можно было держать только определенное количество коров, телят, овец и другой живности. За этим как раз и следили специальные уполномоченные — налоговые агенты. Они делали регулярные рейды по селам и проводили перепись скота. Если обнаруживали излишки, то нужно было платить дополнительный налог. А в деревне какие заработки? Так, слезы. В большинстве своем и жили от собственного подворья, от того, что в сараях. Приспосабливались, конечно. Тут ведь как? Потяни за конец родственной веревочки — и выйдет, что почти все — родня. Тот сват, тот крестный, тот свояк. Так что о приезде этих агентов заранее знали, и пока они в одном дворе делали опись, из другого перегоняли лишних овец или телят к соседям. Случались и неожиданные наезды совсем незнакомых людей, но это редко происходило.

Повторюсь, об этом я узнал только через несколько лет. А пока дед Коля, встречая меня на улице, снимал фуражку и говорил:

— Здорово, агент.

Потом хмыкал, останавливался и закуривал папироску. Я здоровался и бежал дальше не оглядываясь, потому что точно знал — он смотрит мне вслед, качает головой, а в глазах пляшут молодые чертеньята... На самом деле дед Коля был веселым и добрым. Откуда я знал, что он смотрит вслед? Да потому что в самый первый раз я не выдержал и все-таки оглянулся...





## А ТЕПЕРЬ О ПОГОДЕ...

Зима. Белая-белая. Длинная-предлинная. Деревня тоже белая, занесенная снегом. На задах огородов она сливается со степью, растворяется в молочно-сизой дымке. Стужа. Мороз жмет градусов под сорок. А по ночам и за сорок бывает. Над нашей поляной, над палисадниками, над домами, в рощах висит промороженной взвесью прозрачный туман. А если в это время с полей дохнет ветерок — совсем становится невмоготу. Перебивает дыхание, сковывает руки и ноги, колет лицо. Чуть зазеваешься — нос и щеки побелели. Так что — гляди в оба. Но сам на себя как посмотришь? Вот и приглядываемся друг к другу.

— У тебя нос побелел...

— Да ты что!

Хватаешься за нос, оттираешь его, отогреваешь и дальше уже бежишь, все время трогая и проверяя лицо: не занемело ли?

Такая стынь держится у нас с середины декабря и до середины января. Белые степные улицы словно вымирают. Изредка какой-нибудь пацан врежет к соседским ребятам по верхушке сугроба — и завжикает, запоет под его быстрыми валенками насквозь промороженный снег. И снова тишина. Оживляют в такую погоду деревню прямоствольные дымы над крышами: по утрам розовые, а по вечерам сначала оранжевые, потом фиолетовые. И лай собак. Да еще

радующие электрическим светом окна. Желтые и уютные. И как-то странно, что эти же самые окна так грустно и сиротливо светятся вдали, когда едешь ночью по степи. А в степи... Сохрани боже, если застанет в степи такой мороз да еще откажет техника — трактор или машина! Пропадешь. Так что если приходится выезжать в лютую холодину по неотложной надобности за село, то делают это на лошадях.

Сейчас вот думаю: а как же они-то, бедные, безропотные, терпели такой холод? А ведь не просто терпели. Спасали. Лошадь и в метель, и в стужу всегда найдет дорогу домой.

Бывало, ждет хозяйка к ночи своего в непогоду. Ждет, переживает, переходя от окна к окну. На улице, набросив фуфайку, сто раз выскочит. Нет, не едет! А потом, когда уж совсем измается, услышит желанный скрип полозьев, снова выбежит. Слава тебе! Стоит лошадь с санями у скирды сена, поматывает головой, фыркает. А хозяин вылезать не торопится. Господи, да живой ли?

И отпустит сердце, застучит быстро и жарко, когда увидит: спит ее разлюбезный в санях в сене, завернувшись в тулуп. И даже похрапывает.

— Вот ведь зараза! — радостно всхлипнет она.

Выпил, видать, ее Ваня у друга в соседней Куликовке, куда ездил, ну и сморило в дороге. Вожжи на всякий случай к ноге примотаны. Это — если вдруг вывалится в снег. Тогда вожжи натянутся и лошадь одна никуда не уйдет, остановится. Вот и спал все время, а кобыла сама нашла путь домой и завезла его, умница, прямо в ограду.

Людей в такую погоду на улицах почти не видно. Копшатся в сараях, на фермах, отсиживаются по домам. А те, кто работает, потемну уходят, потемну воз-

вращаются. Вот и не видно. Да и в хозяйстве своем привыкли управляться по ранним утрам да вечерам.

Ночи в это время длинные. Еще и спать не лег, а темнота уже так надоест, что, кажется, и не кончится никогда. И подумает: а как же на севере люди живут, где по полгода темень?

Во двор выйдешь подышать свежим воздухом, а там, в свете лампочки, горячей у сарая, все промороженное, стывшее, в курже. А до холодов этот свет был уютным и домашним. Привычные звезды сквозь заиневшие ресницы покажутся незнакомыми, расплывчатыми и мохнатыми. Бездонная, как бы голубоватая изнутри высота неба тоже дышит пронзительным ознобом.

Нет-нет да и раздастся какой-то звук в палисаднике, потом раз-другой что-то треснет в роще за огородами. И сразу вспомнишь: «трещат морозы». Не врут, значит. Трещат.

Еще услышишь, как на далеком разъезде поезд просвистит, простучит по рельсам. Да отчетливо так, внятно. В другие дни его не слышно, а тут — будто рядом, где-то за школой.

В такую погоду не разгуляешься во дворе. Еще раз помотришь на небо, передернешь зябко плечами да побыстрее в тепло, в дом. Размахнешь дверь — и пар, опережая тебя, белыми колесами закатится в избу. Отец на страже:

— Ты чего дверь расхлобыстнул?! А ну закрывай быстрее! Ишь, напустил морозяки!

Он сидит посредине комнаты, вяжет сеть. Такое зимнее заделье есть почти у каждого деревенского мужика. Кто, как мой отец, сети вяжет, кто прохуdivшиеся валенки со всего села собирает, подшивает. Другие — шапки ондатровые ладят, шкатулки

из открыток. А то, бывает, повадятся мужики к кому-нибудь в карты, в шестьдесят шесть играть. До трех часов ночи просиживают. Курят беспрестанно, шлепают истертыми картинками по столу, кричат, спорят, обижаются. Но это — когда морозы помягче. И все равно наши мамки такое не любят. Говорят: «Ведь выпивают там, полуношники». А после выпивки и обморозиться можно. Такие случаи бывают. Ходят потом, руки прячут. Стыдно. Ладно, пальцы на войне или в работе потеряны, а то — из-за водки...

И много еще всяких дел по зимней темноте, про какие летом и думать никто не станет. По теплу главное — огороды да сено, дрова да уголь, заборы да сараи...

У женщин свои работы. Всевозможные вязанья — это первое занятие. Носки там, рукавицы. Есть особые умелицы: из козьего пуха шали и полушалки вяжут. Не только для себя. И на продажу. Кружева — это очень редкое, не сибирское занятие. А вот выбивки всякие и вышивки — сколько угодно. Крестиком вышивали и гладью. Специальными цветными нитками — мулине. Целые картины получались. Гладь особенно ценилась. Много, конечно, зависело от умения и терпения. Мне запомнились вышивки, подаренные маме ее сводными сестрами. Она их развешивала и раскладывала в доме во время Пасхи. Ставила на них куличи. Так на всю жизнь в памяти и осталось. Если Пасха, то бьющее во все окна нетерпеливое весеннее солнце, ликующий скворец на высоком шесте перед домом, запах куличей (их у нас называли пасками), до блеска вымытая комната, крашеные яйца и радостные вышивки с небесными птицами, сказочными цветами и травами.

Еще пельмени лепили именно в такие морозы. Никаких холодильников тогда не было. А тут — куда как хорошо! Моментально схватываются, промерзают насквозь. Когда их потом в мешочки или в эмалированные ведра с жестяных листов ссыпали, они постукивали, как деревянные. Здесь, понятно, тоже специалисты были. И тесто надо уметь именно под пельмени замесить, и с фаршем не промахнуться. Да что там говорить, целое искусство эти пельмени! У одних ешь — чесноком отдают, у других — луком, у третьих — свинина прямо чувствуется на языке. То-то и оно. Название одно, а пельмени разные. Их еще и сварить надо уметь. Чтобы раскусил, и во рту — ни с чем не сравнимый горячий пельменный сок. А если прозевал, переварил... Есть, конечно, можно, но вкус уже, хоть нахваливай их хозяйке, хоть не нахваливай, не тот.

Вот еще рассказывали, будто лепили в Сибири пельмени в каждой семье тысячами, намораживали их на всю зиму и ели. Что-то не верится, чтобы на одну семью так много делали. Может быть, до революции, не в советское время. Да и то — у богатых. Это же сколько мяса надо! Причем разного. Нет, у нас пельмени были лакомством. Делали, конечно, иногда их в большом количестве на семейные праздники. На свадьбы, например. И они там были маленькие, с ножек. Так и назывались — свадебные. Еще говорят, будто те, кто жил недалеко от озера Чаны, готовили пельмени из щуки. В наших местах такого бы не поняли. Это уже издевательство какое-то. Как рыба с чесноком.

Вспоминается и замороженное в эмалированных мисочках молоко. После того как оно оттаивало, вкус у него был особенным, непривычным. Баловали

ребятишек и творожными колобками. Брали творог, смешивали с сахаром и сметаной, катали колобки и — на мороз. Грызешь их потом — вкусно.

А зима идет, морозы жмут. Устают от них. Иногда по субботам после бани затевается у кого-нибудь гулянка. Но опять же среди сильных холодов такое бывает редко, если уж случай какой-то непредвиденный выдастся: свадьба, когда невесту нужно спасти от неловкого положения, или когда гости неожиданно из города нагрянут. Еще вот на похороны вся деревня собирается. Но это, как говорится, вообще не приведи господь, тем более лютой зимой. Тяжко и могилу долбить в промерзшей земле, и хоронить на обжигающем ветру. Так у кого старики уж совсем плохие, перед иконками иногда просят: «Боже милостивый, если надумаешь нашего прибирать — не зимой...»

Но не все же мороз! Настанет день, когда с вечера отпустит, со стороны озер потянет ветерок помягче, подбрее. И пойдет снег. Сначала сухой, игольчатый. Потом разойдется, повалит гуще, крупнее, мокрыми косматыми хлопьями. И отец будет заходить в дом со двора уже с другими словами. Раньше как бы уважительно удивлялся: «Вот это морозика так морозика! Ох и давит. Все задубло. Земля, наверно, до самой Америки промерзла». Теперь же говорит, едва сдерживая радость от желанных перемен на улице:

— А мороз-то сдается... Завтра тепло, наверно, будет.

Он все чаще ходит на кухню, где у нас на столе стоит маленький радиоприемник, и ждет вестей о погоде. С этим у нас прямо беда. Как только диктор произносит: «А теперь послушайте сообщение

синоптиков...», все замирают, потому что в этот момент отец делает страшное лицо и кричит:

— Тихо все! Тихо, я сказал!

И прислушивается к каждому слову из радио. Мы тоже слушаем и ничего не понимаем. О нашей деревне там не говорят. Об областном центре, Новосибирске, сообщают часто, но до него почти полтысячи километров, и погода там нередко другая. Но отцу все равно. Как только речь идет о погоде в любом городе, будь то Москва, Мурманск, Ленинград или Омск, он тут же кричит: «Тихо!» — и включает на всю громкость радиоприемник. И обижается, если кто-то в это время шумит.

Утром снегопад остановится. Потеплеет. Мужики первым делом начнут снег от сараев и от колодцев отгрести. Те, кто живет на краю села, из оград его редко выбрасывают. Ворота настежь открывают, чтобы поземкой продирали двор. А у кого они закрыты, такие сугробы перед заборами намечают, что по ним можно сразу перешагивать за ограду. Бывало, задует, запуржит, да не на день-два, а на целую неделю. В школу бежим почти по крышам избышек и домов. Необычно, странно. Внизу мужики откапываются. Двери на верандах и в сенках у нас всегда внутри открываются — так легче после метели наружу выбираться. По вечерам нас из школы отцы и матери с фонарями встречают...

Со снегом справятся — за погреба на улице примутся. Погребов обычно два. Один — под полом в избе. В нем основную картошку держат. Для еды. Второй — на улице. Там тоже есть картошка — семенная. И кадушки с соленьем. У толковых хозяев — несколько. Самая большая — с квашеной капустой. Другая — с огурцами и помидорами. У некоторых —

еще и с арбузиками. А есть такая, где огурцы и помидоры переложены соленой капустой. Напитанные ее рассолом, они становятся сочными, ядреными и вкуса необыкновенного. В уголке погреба, прямо на земле — свекла, морковь и редька. Вот и надо проверить, не померзло ли все это добро?

А погреба задуло, целые сугробы над ними. Снег откидают, под ним — солома. Солому — аккуратненько в сторону. Еще пригодится. На крышке — старые одеяла, кошма. Под крышкой углубление, и здесь тоже все переложено ненужными теплыми вещами. А там — еще одна деревянная закрывашка. Ее поднимут, она с изнанки в лохматой толстой изморози, а из погреба легкий парок пойдет. Осторожно спускаются по лесенке вниз с керосиновым фонарем. Первым делом — к картошке. Посмотреть, пощупать голыми руками. Если ее морозом не прихватило, то и все остальное в сохранности.

Наружу вылазят довольные, с большим эмалированным тазом. В нем соленая капуста, огурцы, помидоры. Еще раз спустятся уже с ведром — за морковкой, свеклой и редькой. Ребятишки рады морковке. Соскучились. Это же не нынешнее время, когда в каждом магазине ее круглый год можно купить.

На улице становится веселее, оживленнее. Больше людей, голосов, того привычного шума, который так отраден, когда слышишь его со стороны, приближаясь к родимой деревне после долгого отсутствия. С утра потянутся в поля трактора за сеном. Они будут возвращаться уже по поздним сумеркам, с включенными фарами, таща за собой на волокушах заснеженные скирды. Нам, пацанам, где же утерпеть, когда видим такое? Бежим за скирдами, цепляемся за тросы волокуш, катимся на валенках по отшлифо-



ванной сеном ледяной дороге. А от скирд тянет забытыми за мороз запахами: сенокосными ягодными перелесками, чабрецом, морковником...

Конь, запряженный в плетенную из тонкой ракиты кошевку, трусящий обочь дороги, закосит глазом, изогнет голову в сторону сена и вдруг заржет. Да так тонко, просительно, перекрывая гул трактора.

Сидящий в кошевке бригадир, Данила Поздняков, тоже едущий с полей, дернет вожжами, закричит с притворной угрозой:

— Балуй! Ишь ты, вспомнил! Овса ему не хватает...

И засмеется довольным голосом. Порадуется Данила Федорович, что его конь лето вспомнил. Или сам он его вспомнил? А скорее, порадуется и тому и другому, поэтому еще веселее и громче прокричит:

— Будет тебе лето, Гнедко, будет!

А куда оно денется, наше лето? Конечно, будет.



## ГОСТИНЕЦ ОТ ЗАЙЧИКА

С вечера отец скажет маме:

— Завтра в Куликовку поеду, к Грачёву. Надо поговорить. Кто-то в Жидовом околке хулиганит, лес без разрешения рубит.

(Отец в это время работал лесным объездчиком.)

— Так он же, Ваня, вроде в Стеклянке живет... Или в Белове?

— Да просто Куликовка на полпути к этому лесу. Он мне оттуда дорогу покажет. Замело же все. Пока морозов нет, надо съездить...

Услышав этот разговор, я начинаю канючить:

— Папка, возьми меня с собой, а! Ну возьми!

И тут же братья налетят. И Петька, и Вовка, и даже самый маленький, Сашка:

— И меня!

— И меня!

— И меня!

Отец смеется:

— Так я же, хлопцы, по работе еду. И потом, это же, елки-палки, еще одни сани придется в конторе заказывать. Куда я вас столько деду? А если еще Тузик запросится со мной?

Балуемся, кричим:

— И Тузика возьми, и Тузика!

— Говорю же, не поместитесь все... На этот раз Витька со мной поедет.

И, перекрывая вмиг возникший недовольный рев, добавит:

— А вас потом всех на озеро возьму — там у меня капканы подо льдом на ондатров стоят.

Но это еще когда озеро будет! Им завтра хочется. Начинают хныкать. Особенно младшие.

Всех помирят мама, когда скажет:

— Не забудь гостинец им от зайчика привезти.

Отец подхватит:

— А как же, обязательно привезу. Как только встречу его, так сразу попрошу и привезу. Да и как он откажет? Скажу, хлопцы у меня хорошие, прямо солдаты, никогда не хнычут, не расстраиваются.

Младшие затихают. Глаза у них большие. Это что за зайчик такой, который разговаривает? Про гостинец-то они верят, сколько раз уже отец привозил его, возвращаясь с сенокоса или с охоты.

Утром солнце поднимется и мы поедем. Перед самым отъездом подбежит к саням мама, подаст отцу небольшой пестрый узелок. Он улыбнется ей:

— Хорошо, что вспомнила, Лиза, а то заработали бы мы с тобой на орехи.

Интересно, о чем это они говорят? Спросить я не успеваю, потому что отец в этот момент шлепает серую кобылу Куклу вожжами по бокам и командует:

— Но! Поехали!

В санях сено, мы в тулупах. Мягко и тепло. Кукла бежит ходко, расторопно. Ошметья снега из-под ее копыт залетают в сани.

— Глаза береги, — советует отец.

Стараюсь. А сам кручусь в тяжелом тулупе то в одну, то в другую сторону. Слева бегут березовые околки, а справа — такой нестерпимый простор, что в глазах не помещается. И снег, снег, снег... Я его

сравниваю то с мукой, то с крахмалом, то с известкой, то с солью, какая выступает летом по берегам наших озер. Да зря сравниваю. Он — снег. Белейший, чистейший, вспыхивающий на солнце острыми разноцветными искрами. Вдали он становится все темнее, синее, пока не сливается на горизонте с небом. И мы по нему летим, скользим...

Утонуть в нем мне не дает отец.

— Ах ты, рыжая бандитка! — кричит он. — Смотри, сынок, лиса!

Почти у дороги вижу оранжевое пятно. Точно, лиса. Подъезжаем ближе, а она и не торопится бежать. И только когда оказываемся совсем рядом, скачками перемахивает через дорогу и снова стоит, глядя на нас.

— Вот нахалка! — будто радуется отец. — Вот как она это знает? Как?

— Что знает, что?

— Да что без ружья едем. Если бы в саях было ружье, даже в сено запрятанное, знаешь, где бы она сейчас была? У-у-у... А тут хоть бы хны. Ну неужели нюх такой?

А мне-то как интересно! Сколько про этих самых хитрюг читал! И все-таки я немного разочарован. В книгах на картинках лиса всегда большая, пушистая, а здесь хоть и яркая, но какая-то несерьезная, по величине почти как серенький корсак, которого я не раз видел за нашим оврагом. Только хочу расспросить об этом бату, как он перебивает мои мысли:

— Давай, Кукла, пошевеливайся, а то опоздаем к Грачёву. Поди, ждет уже.

И тут я неожиданно догадываюсь:

— Так это тот самый дяденька Грачёв?

Отец смеется:

— Тот, тот. А ты что же, думаешь, какой-то другой?

Да ничего я не думаю, просто бывает так: слово как будто существует отдельно, а человек или предмет — тоже отдельно. А потом вдруг они свяжутся. Одно наложится на другое, и с удивлением поймешь, о чем речь.

Этот самый дядя Степа Грачёв, тоже объездчик, иногда в непогоду остается у нас ночевать. У меня и моих братьев к нему боязливый интерес. Вместо одной руки у дяди Степы протез. Мы, послевоенные мальчишки, знаем, что такое фронтовые раны. Почти в каждую семью отец или дед вернулись с желтыми или красными нашивками за ранения. В общей совхозной бане мы насмотрелись на розовые култышки рук и ног, на почти узлами завязанные части тел. На шрамы-рубцы, где-то уже бледные, а чаще — еще синие, багровые, сизые, зацветающие причудливыми узорами после горячей парной.

У дяди Степы протез по локоть. Но несгибаемая искусственная кисть не обтянута, как у других, черной кожаной перчаткой. Она какая-то желто-зеленоватая и словно отполированная. Когда он ночует у нас, то спит на широкой печи за цветастой занавеской. Мы с братьями стараемся побыстрее прошмыгнуть мимо, потому что немного побаиваемся дядю Степу с его загадочной рукой. Ее, эту самую руку, мы возбужденно обсуждаем шепотом в соседней комнате. Для нас она почти отдельное живое существо. И правда, что там внутри? Какие-нибудь колесики-механизмы, или что? Может ли она двигаться? Спорим, толкаемся.

Как-то утром, когда я уже проснулся, раздался громкий стук — с печи что-то упало на пол.

И тут же из-за занавески высунулась дяди-Степина голова:

— Вот, едри ее мать, уронил. Подай, Витька!

А я с места не могу сдвинуться. Смотрю на этот кожано-металлический предмет с завязками и застежками, с согнутыми пальцами и цепенею от страха.

— Да ты что струсил-то? — смеется дядя Степа. — Она же неживая.

Выручит батя, зашедший из другой комнаты. Скажет:

— Ты чего мне пацана пугаешь? Разбросал тут свои руки.

В Жидов околок отец меня не возьмет. Оставит у своих друзей в Куликовке, а сам с Грачёвым уедет, пообещав через два часа вернуться. Мы с ребяташками хозяина дома (их трое, и все мальчишки) поглядываем друг на друга и не знаем, что делать, пока один из них не скажет:

— А у нас косулька живет, Данькой зовут. Пойдем посмотреть!

Бежим, спотыкаясь, по сугробам. Полдня потом в сарае и проведем около косули, которую летом, со всем маленькую и больную, нашли пацанята около ляги. Теперь она подлечилась, подросла. Доверчиво подходит к нам, обнюхивает ладони, потом вдруг отскакивает, играя, мелко стуча копытцами по деревянному настилу. Мы бегаем в дом, таскаем оттуда для нее то сахар, то хлеб. Наши детские души блаженствуют, цветут, наполняясь добром и любовью.

Хозяин заглянет:

— Вы тут Даньку не замучили?

И озабоченно пояснит:

— Подрос Данька, выздоровел. Хотел его в лес отпустить, да морозы пришли. А он же непривычный. Придется до весны держать, а там отпустим.

— Не отпускай, папка, не отпускай! — просят его ребята.

— А вот давайте вас в клетку запрем да и не будем выпускать, а?

Мы сникаем.

Потом приедет отец с Грачёвым. Взрослые будут выпивать, курить, разговаривать.

Ближе к вечеру мы отправляемся домой. Я оглядываюсь назад, где за гриву садится солнце. Тени теперь длинные, пологие. Постепенно темнота заполняет всю степь. На небе проявляются звезды, оно густеет от них, и скоро над нами раскидывается бледно-голубая дорога. Я всматриваюсь в нее и начинаю различать отдельные звезды: одни горят красными точками, другие голубовато подмигивают, третьи мерцают тихой зеленью. Над всей этой бездонной дивностью висит прозрачно-серебряный Ковш.

Отец напевает что-то неопределенное, протяжное, раздумчивое.

Иногда меня окликают:

— Ты как?

— Хорошо.

— Холодает, сынок, да здорово. Как бы опять мороз не ударил. Ишь сколько звезд насыпало! Не замерз?

— Не, не замерз, — отвечаю, удивляясь этой связи между морозом и звездами.

А батя еще с лошастью поговорит:

— Давай, Кукла, пошевеливайся, домой везешь, скоро в конюшне будешь.

Сани покачиваются на сугробах, покачиваются звезды, качается по бокам темнота, песня отца становится все тоньше, тише и тоже как будто качается. И так сладко, уютно, дремотно. И я куда-то улета-а-а-а-ю...

И вдруг толкают меня, тормозят, смеются:

— Ишь как он заснул на свежем воздухе.

— Да тише ты, Ваня, не пугай его.

Открываю глаза. Передо мной лица отца и мамы, двор в сутеми, освещенная веранда. Поднимаюсь, с меня снимают тулуп. А в глазах еще звездное небо, в ушах отцовский мотив и размеренный глухой стук копыт по зимней дороге. Прохожу в дом. Братья скачут, хохочут:

— Проспал! Проспал! Все проспал!

Садимся ужинать. И тут самый младший, Санька, у которого обиженно дрожат губы, произносит:

— Папка, а гостинец от зайчика?

— Ах ты, чуть не забыл...

Отец выходит во двор и возвращается с пестрым узелком. Тем самым, который мама положила нам утром в сани. Я открываю было рот, чтобы сказать... Но в это время отец тихонько мне подмигивает. И я понимаю его. Внутри радость и гордость. Вон какой взрослый секрет мне доверили! Отец развязывает узелок. Там нарезанный хлеб, луковица, сало, несколько вареных яиц. На столе — утиное мясо с рисом, жареная картошка, но где там! Братья чуть не с дракой налетают на волшебный гостинец от зайчика — самый вкусный, самый лучший.

И в это время диктор по радио говорит: «А теперь о погоде...»

— Тихо все! Тихо! — кричит отец.

Мужской размеренный голос сообщает: «По Новосибирской области резкое усиление морозов...



По юго-западным районам от сорока двух до сорока пяти градусов...»

После ужина отец оденется:

— Пойду посмотрю, что там на улице.

Вернется озабоченный, задумчивый:

— А к утру, видать, стужа-то ого-го будет.

Потом разыщет недовязанную сеть. Один ее конец привяжет к специально вбитому гвоздю в стене, другой к стулу, который развернет спинкой к себе, достанет специальную деревянную иглу и скажет, принимаясь за привычную работу.

— Ну что ж, передохнули маленько от сильных морозов, будем дальше с ними зимовать...

И как-то тихо станет в нашем обычно шумном и веселом доме, стоящем на краю степной деревни.

А мороз на дворе будет все набирать и набирать свою лютую силу.



## ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Морозы ослабнут, и пацаны целыми днями станут пропадать на улице, затевая всяческие игры в снегу. Строят горки, роют окопы, делают снежные крепости, наступают, атакуют, отбиваются от «фашистов». Звонят по всей деревне голосами. И даже после того как крепко завечереет и сугробы станут темно-синими, а потом серыми, они еще долго носятся в свете окон по натоптанным вдоль палисадников тропинкам, пока родители с угрозами не загонят их по домам.

Бывает, что и взрослые какие-нибудь забавы устраивают. Особенно охочи на такое мой отец и тетка Надя — наша крестная. Мы, ребяташки, зовем ее на украинский манер: лёлькой. Она высокая, красивая, немного полноватая. В хорошем настроении — озорная и веселая. Тетка Надя придумывает костюмы ряженных на Святки перед Рождеством, разыгрывает шуточные свадьбы родителей жениха и невесты с катанием их в большой жестяной ванне, подбивает подвыпивших мужиков ловить кур в чужих дворах. Для лапши. И много еще чего.

В один из субботних дней, когда после снегопада немного потеплеет, увидев во дворе моего отца, она неожиданно спросит, перегнувшись через забор:

— Иван, сто грамм хочешь?

Отец, любивший выпить, как, впрочем, и все наши мужики, на секунду замрет от неожиданного предложения, оглянется вокруг, оближет губы и ответит:

— Ну ты, Надька, даешь. Это кто же от ста грамм откажется?

И, очень рискуя остаться без обещанной выпивки, все-таки удивится:

— А сегодня какой праздник?

— Смотри, еще рассуждает! — оценит тетка Надя смелость отца. — Заходи давай. — И приоткроет калитку, которая была прямо в заборе, разделявшем наши дворы.

Когда они окажутся в доме и сядут на кухне за стол, неожиданно пояснит:

— Морозы вон кончились, чем не праздник?

— Ну да, ну да, — быстро согласится отец, хотя в душе его будет настороженность.

Ему сейчас главное все проделать побыстрее. То есть выпить. А то спохватится жена Лиза, моя мать, — куда делся? И первым делом — к соседке. А он — вот он, голубчик, сидит со стопкою в руке! И пропали тогда неожиданные, как с неба прилетевшие сто граммов.

А тетка Надя не торопится. Она, известная среди родни чистюля и аккуратистка, ровенькими кубиками неторопливо режет мерзлое сало, ставит на стол капусту, огурцы, миску с холодцом, а потом (ух ты!) достает из шкафчика едва начатую бутылку «Московской».

«Ух ты!» — это отец про себя произнесет. Он думал, все будет проще. Подаст Надежда у порога полстакана самогонки — и спасибо. А тут прямо застолье. Подозрительно. Надька — она баба не про-

стая, всегда может выдать что-нибудь с кандибобером.

Но ничего. Все по порядку идет. Выпил. И Надежда выпила. Только в окна все время посматривает. А обзор у нее что надо. В одно окно, в сторону центрального отделения, полдеревни видно. В другое — левую часть нашей Первомайской улицы.

На этой небольшой и уютной улочке, упирающейся краями в березовые рощи, а огородами — в степь, живет практически вся наша родня. В одном ряду стоят дома: наш, дядьки Валентина (тетка Надя — его жена), дальше — дядьки Федора, а напротив — дядьки Григория.

И еще нальет тетка по одной граненой стопке. Тут уж отец совсем насторожится, а она в этот момент возьми да и скажи:

— Ну вот, я так и думала...

Отец на всякий случай торопливо опрокинет водку в рот и слегка осипшим от этого голосом спросит:

— Что? Лиза идет?

Тетка Надя покосится на опустевший стаканчик, укорит, кивнув на бутылку:

— Да ты не торопись, Иван, никуда она от нас не сбежит... А это я про него. — И покажет в окно.

Там вдоль улицы шагает Николай Севрюк. Быстро шагает. С паяльной лампой в руке.

— Это он к дружку своему, Ваське Горковенко, — пояснит тетка, которая, не выходя из дома, непостижимым образом знает все, что происходит на нашей улице. Да чего там — на улице? Пожалуй, и во всей деревне! — Он кабанчика сегодня режет, вот и попросил у Кольки лампу.

Она потянется за бутылкой, чтобы налить отцу еще, но, вспомнив, что тот уже выпил, укорит:

— Чего вот заторопился, Иван? Ведь опьянеешь. Лиза потом накачает мне чертей... Ты вон ешь давай, закусывай.

— Дак, думал, она и идет...

— И что? Прямо уж так вы нас боитесь? А когда домой приходите ни тяти ни мамы, тогда такие смелые...

Она сходит к плите, достанет из зеленой эмалированной кастрюли с борщом кусок мяса на кости, положит на большую тарелку, возьмет нож, спросит:

— Тебе ведь не крошить мелко? Покрупнее нарезать?

— Ты вот, Надька, прямо все знаешь...

Она засмеется довольная:

— Чего знать-то? Родня, поди. Не в Китае живем, считай, в одном дворе.

Поколебавшись, она все-таки нальет ему.

А отцу и так уже хорошо. На душе спокойствие и полное размягчение, когда все кажутся добрыми, когда всех начинаешь любить, со всеми соглашаться.

И все-таки, когда она скажет: «Иван, а давай мы с тобой пошутим, скучно что-то...», рука со стопкой остановится на полпути ко рту. Он выпрямится на табуретке и с удивлением, часто моргая, уставится на нее.

Та, сначала не поняв, чего это он так всполошится, сообразит:

— Тыфу на тебя! Ты что подумал-то, рожа бессовестная?!

— Дак а что еще подумаешь?..

— Тыфу еще раз! Поварешкой бы тебя по башке! Сколько лет рядом живем. Ведь родня. Валька — родной брат твоей Лизе! Да и мы с ней давно уже как

сестры. Дети вон наши друг от друга не вылазят! Вот мужики... Водка на уме да бабы... А по-другому никак уже шутить нельзя? Пей вон давай, а то наша дружба сейчас и закончится.

Отец соображает, стремительно выпивает и приподнимается на табуретке.

— Да куда ты? Сиди, — с досадой скажет тетка Надя. — Ты, Иван, что-то сегодня совсем никакой... Я к тому... Как на гулянках мы с тобой шутим, вот про это я...

— А-а, — отец начинает вникать, и прежнее смягченное состояние снова наплывает на него. Он улыбается, вспоминая, как они с Надеждой озоровали, добавляя в застольные праздники азарта и веселья.

— Дак и как?

— А давай на дорожке в снегу ловушку сделаем и посмотрим, попадет в нее Севрюк, когда будет назад идти, или нет? Хоть повеселимся... А то прям закисло за эти морозы...

Отец морщит лоб и грозит Надежде пальцем:

— Ох и хитрая ты, Надька! Это ты ведь отомстить хочешь Кольке. Я же помню, как вы сцепились осенью на гулянке у Романовых... И чего вас мир не берет?

Теткины глаза становятся маленькими, сосредоточенными. Ей не нравится, что отец так быстро смикитил, что к чему, да еще после трех рюмок. Но она, конечно, не признаётся:

— Да прям там, нужен он мне! Я и забыла уже про то. Просто он мимо прошел...

Отец же — человек азартный (она на это и рассчитывает) — потихоньку загорается. Тут и водка свое дело делает. Но он еще сомневается:

— Да неудобно как-то... А вдруг ногу сломает?

— В снегу-то? Так ты глубоко не рой, а на дно сена набросай.

— Как же я копать буду? Белый день стоит, сразу увидят, что я что-то делаю у чужого дома. А если кто пойдет?

— А ты моего Вальки шапку и куфайку надень, и получится, будто он тропинку расчищает.

Как договорятся, так и устроят все. Отец ямку выкопает, сверху камыша и тоненькой ракиты положит. Снегом все засыплет, замаскирует и, оглядываясь, старым валенком даже следы сделает на снегу. В дом забежит. Смеются оба. Отец на бутылку поглядывает, а моя тетка в окно. Только батя шапку и фуфайку на вешалку повесит, услышит, как Надежда растерянно воскликнет:

— Батюшки! — И тут же зальется смехом.

Отец — к окну. В яме по пояс в снегу стоит его родной брат, а мой, понятно, дядька — Федор. Стоит, озирается кругом, вращает головой, разводит руками и ничего понять не может.

Теперь уже отец сгибается пополам от хохота:

— Ну, Надька, ты и натворила!

— Здравствуйте! При чем здесь я? Ты брату яму вырыл, а я виновата? — еле выговаривает сквозь слезы тетка.

Она прямо заходится в смехе. Для нее потешность случая подогревается еще и тем, что она знает: у отца и дядьки Федора в последнее время натянутые отношения, и получается, что отец нарочно соорудил снежную ловушку.

А тут и Федор, заметив улыбающиеся в окнах рожи, что-то поймет, выберется из ямы и, отряхивая на ходу снег, направится напрямиком к ним. Он постучит в дверь (всегда так делает), распахнет ее, вста-

нет у порога — большой, высокий — и будет долго, осуждающе качая головой, смотреть то на отца с лёлькой, то на стол с недопитой бутылкой водки. Потом начнет отчитывать, вставляя в речь украинские словечки:

— Что ж вы робите, а? А если б убьввся я? А если б бабка яка пийшла? А я еще подумал сначала, что ребятишки балуют. Они, черти, уже всю улицу перекопали. Какое там ребятишки, когда эти вдвоем собрались!

Говорит он громко, на всю комнату, как разговаривает почти вся наша голосистая родня.

— Как вот тебе, Иван, не стыдно? Бригадиром еще работаешь! Ну что люди скажут на нашу фамилию?..

— Да ладно тебе, Федя, — попытается его остановить Надежда, — не хотели мы над тобой шутить...

Тетка моя, когда надо, еще тот дипломат. И тут она тоже расстарается, уговорит дядьку сесть за стол. Он будет долго отнекиваться, обижаться, несколько раз делать вид, что уходит. И сначала даже откажется снимать фуфайку, бросая на отца значительные взгляды, но... стопку водки в конце концов выпьет. А после этого все в доме пойдет по-другому...

Как сейчас представляю дядьку Федора и отца моего.

Отец небольшого роста. У него рыжеватые волосы, голубые глаза, прямой нос. Порывистый, быстрый, физически очень сильный. Прирожденный охотник и рыбак. Делать умел по хозяйству почти все. Вот только с техникой у него не ладилось. Лучшее всего чувствовал себя в степи или на любимых озерах. На воде буквально преображался. Никогда не паниковал. Знал, как укрыться в камышах во



время бури и большой волны. Один ночевал и в лодке на озере, и в голой степи. Быстро и умело делал скрадки, ловушки для рыбы, вязал сети, мастерил мордушки. И все это с прибаутками, потихоньку напевая какой-нибудь мотив. Не помню случая, чтобы он, выезжая на охоту, хоть раз вернулся без дичи. И в совхозе, где работал то учетчиком, то бригадиром, то завтоком, то объездчиком, к нему относились по-свойски: «Иван Васильич не обидит...»

Дядька Федя — другой. Лицом он в красавицу-мать, в нашу южную бабушку Анну. Чернобровый, полный, с темными, слегка вьющимися волосами. Как мне кажется, до самой смерти он так и не поседел. Основательный, медлительно-остойчивый. Он делал все не торопясь, надежно, на совесть.

И у него, конечно, были свои выверты, как и у моего отца. Ну вот, к слову, с нашей улицы в общественную баню он отправлялся одним из последних. И так приучил к этому банщицу, что та, поглядывая на тропинку, которая шла к бане через березовую рощу, обычно говорила:

— Да где же Федя? Ведь закрывать пора, а он не идет.

И в одном из дворов в банный субботний день можно было услышать:

— Прошеперился, Колька? Будешь теперь неделю немытый сидеть.

— Так не поздно же еще, Нина.

— Ну да, не поздно! Федя вон уже отпарился, назад идет. Так что закроют скоро.

Дядька очень любил рассказывать всякие истории, когда выпьет. Умел это делать. Особенно получались у него байки из прошлого. А там, в этом прошлом, нам, пацанам, казалось все особенным, не-

обыкновенным, потому что связано оно было с жизнью в деревеньке Новорозино на полуострове озера Чаны, откуда и переехал он сюда с семьей вслед за моим отцом. Приукрашивал дядька Федя в своих бывальщинах, конечно, густо. И поэтому, когда он начинал свою речь с неизменной присказульки: «А сейчас я вам всю правду расскажу», мы прятали улыбки.

У меня к дядьке Феде был интерес особенный. Через него, буквально с первой минуты его рождения, проходила наша родовая драма. Когда в самом начале тридцатых раскулаченную семью моего деда везли по реке в ссылку в Нарым, то бабушка Анна, тогда еще молодая, крепкая и красивая женщина, беременная пятым ребенком, начала рожать. И, по рассказам, упал мой будущий дядька Федор прямо в воду, которая была на дне лодки. Пристали к берегу, и бабушку, у которой началась родильная горячка, оставили в остяцком стойбище. В Нарыме мои родственники надолго не задержались: выяснилось, что сослали их по оговору, ошибочно, и через год они возвратились, забрав по пути ее с ребенком...

Карательный бумеранг еще не раз вернется и ударит по нашей семье. В те времена если кто-то хоть раз попадал в руки НКВД, то его так просто не отпускали. И стукачи-доброжелатели со своими блудливыми душонками старались. Не могли они допустить, чтобы оклеветанный ими человек оставался чистым в глазах других. Второй раз моего деда арестовали в декабре тридцать седьмого, и уже в марте тридцать восьмого он был расстрелян по приговору пресловутой «тройки». В пятьдесят восьмом году его реабилитировали. И руку к этому приложил, в самом прямом и благородном смысле

этого слова, мой дядька Федор. В девяностых мне довелось прочитать написанное им в сороковых годах прошение к Правительству о несправедливости приговора его отцу, нашему деду Василию. Наивным оказался адрес назначения на конверте: «Кремль. Калинин». И ведь дошло. Лежит теперь в вечном архиве.

...В доме лёлки после прихода дядьки Федора закрутится целая карусель. Почти одновременно там появятся мама и тетка Маруся, жена дядьки Федора. Мама с порога начнет:

— Вот это дела... Я его жду управляться, скотину поить, а они гуляют. Ты что это, Надежда, здесь устроила?

Тетка Маруся, обычно спокойная и чем-то похожая характером на дядьку, поддержит ее и тоже рассерженно возмутится:

— А ты чего здесь расселся? Ты же к Ивану за гвоздями пошел.

Братьям же, то есть моему отцу и дядьке Федору, уже все равно. Они сидят, смеются, вспоминая какую-то прошлую рыбалку, бросая на своих жен взгляды, в которых и понимание, и пьяное умиление, и припрятываемая до поры до времени ласка, и легкая досада: дескать, сами разбирайтесь, не до вас. А толкуют вроде о самых обычных для них вещах: что-то о сетях, о рыбе. О том, как эти самые сети надо правильно подо льдом продергивать. И с такой горячностью что-то доказывают, будто у них это самый главный в жизни разговор.

А ведь бывает и иначе. И обижаются, и подолгу не ходят друг к другу. Потом вдруг за полчаса соберутся и вместе на охоту с ночевой уедут.

Мама у отца на другой день спросит:

— Вы же поругались с Федором, а тут, смотри-ка ты, на охоту вместе отправились. Как это?

— Ну поехали да поехали, — ответит отец. — Может, он со мной и ругался, а я с ним нет.

— И вот прямо так, без всяких разговоров, сели в его хлебовозку и — на озеро?

— А чего рассусоливать? Зашел к нему, сказал, что утка через Савельево озеро пошла, поедешь? Лодка, отвечает, дырявая. Ладно, говорю, я Витькину раскладную возьму, а ты мою деревянную. Ну и поехали.

Много позднее, почти через полжизни, я приезжал к дядьке Федору, когда он уже сильно болел и лежал. Мы сидели на кухне с теткой Марусей. Разговаривали, рассматривали фотографии. Она, показав рукой на проем двери в другую комнату, сказала:

— Как забудется — Ивана зовет.

И вдруг оттуда — его голос:

— Маруся, Маруся!

— Что, Федя?

— Я слышу, Иван приехал?

— Нет, не Иван. Витя приехал.

Меня буквально перевернуло всего. Ведь отца уж давно не было на этом свете...

Я тогда отъехал на своей машине от деревни, притормозил возле околка и долго еще стоял там. «Как же так, как же так? — думал. — Почему эти братовы чувства нужно было так прятать при жизни? Ведь не обманешь ни себя, ни Бога, все выйдет наружу. Так почему?»

Но разве ответишь на эти вопросы...

В тот давний зимний день тетка Надя будет в ударе. Ничего не объясняя, она неожиданно предложит, обращаясь к женщинам:

— А давайте, девки, сегодня погуляем. Смотрите, все мы здесь. Мой Валя с работы скоро придет, к Григорию с Нюрой сбегает.

И тут от порога раздастся серьезный голос дяди Гриши:

— Чего бегать, я уже здесь. А Нюрка и сама скоро прискочит. А вы чего здесь собрались?

Все засмеются. И когда успел войти? Да так тихо, никто и не услышал. А смеялись потому, что знали: чутье на выпивку и гулянки у него еще то.

Моя мама, у которой здесь было самое весомое слово, неуверенно посопротивляется:

— А управляться когда же будем?

Тетка Надя ее успокоит:

— Да ладно тебе, Лиза. Ребятишкам накажем, они и управятся. Большие уже. За один раз ничего не случится.

Скоро раздвинут в большой комнате круглый стол и начнут его накрывать. Сбегают, каждая к себе домой, чтобы принести, как они скажут, «кто что». Будет здесь рыба копченая и соленая, пельмени мороженые (вода уже бурлит в кастрюле под них), само собой, соленья всякие да холодец (у каждой хозяйки по своему рецепту). Тетка Нюра — специалист по грибам — грузочки да волнушки разложит по тарелкам. Ну и самогонка, конечно, появится на столе. Тоже у каждого по своему рецепту выгнанная. А чуть позднее мой отец и гармошку принесет.

Так вот неожиданно загуляет моя родня. Да с хорошими разговорами, да с песнями, да с плясками под «Подгорную».

Поздно вечером, когда в окнах уже загорятся огни, Николай Севрюк будет возвращаться домой. Он думал, что зайдет к своему дружку на пять минут,

занесет обещанную паяльную лампу и — назад. Но задержится. Его дружка подведет приболевший свояк, и придется Николаю помогать: и резать кабана, и смолить, и разделявать. Ну а после, как обычно, выпьют под свежину. А там и стемнеет. Зимой это быстро.

Около окон Фисуренко он остановится. Удивится. Покажется, что поют в доме и даже гармошку и дробный стукоток по полу вроде слышно. Пляшут, что ли? В это время распахнется на улицу дверь и выскочит моя лёлка.

— Надежда! — позовет он. — У вас праздник как будто? Гости приехали?

— Да какие там гости, Николай! «Москвича» я в лотерею выиграла, вот и гуляем! — неожиданно на ходу выдумает она.

И захлопнет дверь, оставив ошеломленного Николая стоять на улице.

Утром в совхозе только и будут говорить о том, что Надька Фисуренко «москвича» по лотерее выиграла. Некоторые, правда, станут утверждать, что не «москвича» даже, а «Волгу». И скупят в почтовом отделении все лотерейные билеты.

На другой день отец, управляясь по хозяйству, оторвется от работы, остановится у скирды сена и начнет всматриваться в небо, в степь за огородом, в ту сторону, где его любимые охотничьи и рыбачьи места — озера. И ему даже причудится, что услышит шелест камыша, плеск воды, гомон птиц. А ведь знает: далеко еще до птиц. Вон за огородами какие барханы ослепительно-белого снега! До самого горизонта. Это когда же он растает?.. Но ведь все равно растает. Начинается февраль. Вроде зимний месяц, но совсем другой. С прибавившимся днем. С другим

небом. С припеком через окна, с текущими от солнца в доме подоконниками. Будут еще в феврале резкие морозы и сильные метели, да такие, что белого света в степи не увидишь. На то он и февраль, чтобы снег мести. Так природой заведено. И в марте еще покажут себя крепкие утренники. Но все теперь уже другое. И воздух, и снег, и запахи на улице и во дворе. Зима другая.

Потом заулыбается, вспомнив, как ни с того ни с сего затеялась вчера гулянка.

«Вот ведь какая Надька! — подумает с восхищением. — Надо же... Начала с шутки и всю родню собрала. Давно так вместе не гуляли. Скорее бы уж зима закончилась. С Федькой бы в Новорозино съездили. Порыбачили там, у костра ночью посидели. Как раньше, в детстве... А хорошо, что есть куда съездить: сколько лет прошло, а материн дом до сих пор целый...»

И долго еще будет смотреть в ту сторону, где за гривами спит до весны подо льдом и снегами степное море — озеро Чаны.



## ЖИЛИ И ЖИЛИ

Батя возьмет балалайку и заиграет, заиграет... А мама в это время будет укоризненно смотреть на него и качать головой. Он же бьет и бьет по струнам, вынимая из лакированного фанерного треугольника веселую мелодию, а глаза при этом грустные и виноватые. Увидев, что на маму это не действует, откладывает балалайку в сторону, берет гармошку и объявляет:

— «Коробочка»! Специально для Лизы!  
Сделает проигрыш «Коробейников» и запоет:

Эх, полным-полна моя коробочка,  
Есть и ситец, и парча,  
Пожалей, душа моя, зазнобушка,  
Молодецкого плеча...

Это он так прощения у мамы просит. В чем провинился — ему пока и самому неясно. Но видит, что она не в духе. Вообще-то мама у нас умная, толковая и по пустякам не обижается. Но очень чуткая на слова. А он — наоборот. Такое словечко может иногда ввернуть, что зацепит ее. И ведь не специально — так выходит. Или что-то делает вроде от души, а для мамы получается обидно.

Как-то в свой день рождения она с улицы на веранду входит, а он ждет ее там, старательно пряча гордую и довольную улыбку. На столе букет стоит. Ее любимые пунцовые георгины вперемешку с други-



ми цветами. И зацветут, отражаясь от них, заиграют мамины глаза. Дарить букеты в нашей деревне в то время было не принято... Потом радость с маминого лица вдруг пропадает. Она быстро распахивает дверь с веранды во двор... Точно! Ее клумбы ополовинены.

— Ваня, ну что ты натворил?!

Батя вникает, переживает, оправдывается:

— Так это... с днем рождения же, Лиза... Я аккуратно, ножницами...

Три дня он потом на балалайке играет.

Теперь о словах. Вернее, об их значении для папы и для мамы. Своей подруге, моей крестной — лёлке, она говорила (я об этом позднее узнаю):

— Надя, ну ничего вроде в нем нет, рыжий, небольшой, ну, правда, глаза голубые и, знаешь, такой ухватистый, сильный... А так, если присмотреться, вроде ничего и нет. Но как начнет на гармошке своей окаянной играть или говорить... Все. Пропадаю... И где он такие слова берет?

Но бывают и другие слова, о чем я упоминал. Когда батя выпьет, то на него, как говорит мама, иногда находит... В это время подковырок, ехидства в его словах столько, что на всю деревню хватит. Другие, может, и мимо ушей пропустят или посмеются, а мама всю внутренность слов очень уж дотошно слышит, поэтому сердится. Она по-своему на это реагирует и, обидевшись, спрашивает: «Что же ты, Ваня, так любишь-то этот горький перец?»

Вообще-то такое редко случается. Чаще все ладится. Они вдвоем, например, любят работать. Некоторые мужья и жены, наоборот, не любят. Кажется, что мешают друг другу. А моим нравится. И у них все как-то одно за другим, по порядку идет. Без суеты и споров. Особенно по хозяйству: во дворе, в огороде, в сараях. Или на сенокосе.

А здесь бывает так: скосят нам сено на неудобьях около околка, а там его тракторными граблями не сгребешь. Тогда отец просит в совхозе коня, запрягает его в конные грабли, и они едут на покос. Вообще-то на конях в эти годы уже редко кто что делает, а батя и мама, наоборот, радуются, что есть такая возможность. Хочется им вспомнить ранешнее время: как родители их работали да и сами тоже, будучи ребятами. Я даже думаю, что отец специально из-за этого на неудобьях и косил.

Около березового леска, где целый день напролет жалуется на что-то иволга и цветут ярко-синие кукушкины слезки, они и работают. Отцовский голос эхом разносится по реденькому светлому околку. Это он с конем разговаривает.

— Молодец, Серко! А теперь давай туда повернем! Вот! А здесь сбросим сено! Умница! Ровный валочек вышел!

Мама обязательно в белом платочке. Она идет сначала с одного конца валка, собирая подсохшее сено, потом с противоположного. На середине складывает его в небольшую копну. После того как отец подберет конными граблями кошенину, он тоже примется за копны. А дня через три, когда солнышко их просушит, ветерком степным обдует, они приедут и сложат скирду.

Отец, протаскивая грабли мимо мамы, частенько останавливается, подбадривает ее, говорит хорошие слова:

— Ишь какие ловкие копешки ты, Лиза, ставишь! Прямо как солдатики в строю. Другие бабы не знают, с какого боку к сену подойти, а ты хоп — и уже целый навильник! И складываешь, и переворачиваешь как нужно...

Мама смущается, но ей приятно.

— Да ладно тебе, Ваня...

Она понимает, что он ее перехваливает. И копны не такие уж ровные, и сено кое-где на боках лохматится. А сладко на сердце. Теплые слова всегда к месту, а здесь — еще и помощь в работе. Да и тон, каким они сказаны, важен, и взгляды отца. Ох, эти взгляды... Сейчас-то мама уже не признается, что они-то и смутили ее девичье сердце на той далекой теперь вечерке, где молодой батя выкамаривал на гармошке такие штуки, что девки табуном за ним ходили из одного края деревни в другой...

«Боже, как давно это было, — думает она, поглядывая на отца. — Вон и ребятишек у нас уже четверо... А Ваня у меня еще молодец... И на меня так смотрит... Значит, и я пока у него ничего, годная...»

Ему же как бы неудобно перед мамой. Он считает, что грести легче, чем вилами сено поднимать. Но у мамы с конем не ладится, поэтому работа давно у них распределена именно так.

Часов до трех и управятся с копнами. На опушке, на легком ветерке сядут обедать под свежий стожок. Иволга, примолкшая было от отцовских покрякиваний на коня, осмелеет и снова что-то сообщит. Кукушка свой голос к ней попробует присоединить. Но не получится у них вместе. По очереди потом будут рассказывать про свое, птичье. Где-то недалеко за Молочинской гривой гром предупреждающе ворочит. Да теперь-то что, пусть ворчит — сено в копнах. В общем, благодать, лето. И словно вернется их молодость. Так и будут какое-то время сидеть в сенокосно-березовой неге, вольно привалившись спинами к копне, расслабленно и счастливо улыбаясь. Мама — прикрыв глаза. Отец — утонув своим прозрачным взглядом в небесной летней бездне.

Потом мама легонечко вздохнет:

— А и хорошо, Ваня...

Он только прищурится в ответ — зачем говорить? И вдруг они... заснут нечаянно. Заснут на короткое, освежающее время, несущее их по июльским сенокосным волнам. Потом разом очнутся и разом же засмеются этой неожиданной и краткой светлой сморенности, какая с ними случится. Мама потянется за узелком со снедью. Расстилая на траве вышитую крестиком тряпицу, вдруг напомним:

— Вань, а вот так все время нельзя?

— Ты про что, Лиза?

— Да про то, что в твоих словах бывает: перец, перец, а потом раз — и сахар. Так ты что думаешь, сразу сладко станет после перца-то?

— В борщ сахару, что ли, сегодня насыпала, Лиза?

Батя притворяется, что не понимает, о чем речь. Он не любит, когда долго злятся или вспоминают давние обиды. Он вообще удивляется, как это люди, живущие вместе, могут по дню, а то и больше не разговаривать. Любимая его присказулька: «На сердитых воду возят». И поэтому, когда мама обижается, он старается как-то ее развеселить. Прибаутками, песнями или испытанными балалайкой с гармошкой. Но делает так, чтобы мы, ребяташки, этого не видели и не слышали. Неудобно ему. Да разве скроешь что-нибудь в деревенской семье? И как только мама в ответ на его виртуозные заглаживания вины улыбнется, тут он уже гоголем ходит — значит, простила. И снова пойдет у нас в доме все ладом да миром...

Про дела вдвоем. И правда, сейчас вот думаю — везде они все вместе делали. Разве только охота и

рыбалка были безраздельно отцовскими занятиями. И еще чисто мужская тяжелая работа. Сарай, к примеру, поставить, погреб выкопать, колодец вычистить, ворота смастерить. И только в том случае, если у него что-то в две руки не выходило, просил маму помочь. Но так, по мелочам — молоток или ножовку подать, лестницу подержать.

Став уже взрослым, я все равно удивлялся отцу. Бывало, приеду на пару дней в гости, а он сарай строит. И не абы какой, а большой, разделенный на две половины, где в одной будут коровы, в другой — овцы и прочая мелкая домашняя живность. А время, допустим, за середину августа. У него же — только столбы стоят. Без верхней обвязки под крышу, без балки, без стропил. В наших местах редко кто в одиночку под осень такую работу затевает. Зимы-то ранние, можно к снегу и не успеть. Будет потом эта стройка мокнуть да киснуть в осенних дождях. А зимой ее ветрами обобьет и снегом завалит.

Мне он обрадуется. Скажет с сожалением:

— Что же они, начальники твои, всего на два дня отпустили? На недельку бы... У меня тут, видишь, какая канитель...

Промолчу. Откуда я знал, что он затевает? Мобильников в то время не было. Да и не отпустили бы меня надолго. Получилось-то все равно чуть не на неделю. Два дня — это только в родительском доме. А день приезда, отъезда? Вот и еще два дня. А если дождик брызнет, то по родным кулундинским солонцам и за сутки не добраться.

Отец поймет все по-своему, махнет рукой:

— Да и то ладно, хоть на рыбалку съездим вдвоем... Сетешки на Водопойном поставим. Там от карася сейчас прямо кипит озеро.

В ответ ему произнесу что-то неопределенное по поводу сарая. Вроде восхищения, что ли:

— Ничего себе стайку хочешь отгрохать!..

Он бросит на меня настороженный взгляд — не специально ли я так сказал? Поправит со вздохом:

— Какая же это тебе стайка? Сарай.

Я осекусь и буду чертыхаться про себя. Ведь знаю, знаю отличие сарая и от стайки, и от пригона. В некоторых краях это одно и то же, но отец строго отличает и всегда подчеркивает разницу между основательным теплым сараем, более прохладной и легкой стайкой, предназначенной скорее для птиц и овец, и пригоном — загородкой из плетня или жердей, где скотина содержится летом. А я тут такое ляпаю! Вроде как специально. Хотя этой оговоркой ничего нового я, конечно, для отца не открою. Он давно считает меня пропащим для деревни человеком...

Даже сейчас, через много лет, вспомнив про это, хожу по квартире, устыженный. Хоть беги через время и достраивай тот злополучный сарай, уже и сгнивший много лет назад. Да не побежишь. И прощения не выпросишь.

А тогда... Будем собираться на рыбалку, и я подмечу, как батя с жадностью поглядывает на недостроенный сарай и с недоверием — на небо: пойдут дожди, и станет его работа. А заикнешься (правда, заикался я не очень-то и настойчиво), мол, может, стройкой займемся, в глазах его мелькнет искорка благодарности и надежды, но он тут же ее и пригасит:

— Да ладно тебе... За два дня мало чего успеем, а так ты хоть степью да озером подышишь.

Через месяц приеду — стоит почти готовый, как игрушечка, сарай, уже под крышей, с яслями, заго-

нами, дверями, оконцами, с простенками, плотно набитыми камышом, уже обрешеченными, а рядом — «круг» с глиной, вперемешку с соломой, которую он намесил, специально выпросив для этого лошадь в совхозе... И мама торопится, заканчивает обмазывать стены, чтобы схватилась, успела подсохнуть глина до холодов.

Когда это все он успел? Ведь двумя руками делалось. И не кое-как, а основательно, крепко. Не на год-другой, а на пару десятков лет точно. У него ведь главная работа в совхозе была, где он целый день как заводной бегал. Практически без выходных. Какие там выходные в деревне! Вот и выкраивал по паре часов с раннего утра да с позднего вечера. А когда и при лампочке, подвешенной на стропила, тюкал топором и стучал молотком, пока мама домой не загоняла.

Поездки вдвоем в лес или в степь — для них всегда почти праздник. Как-нибудь на излете лета мама напомнит отцу:

— Ваня, люди уже костянку несут. И гриба, говорят, нынче всякого полно в околках. Съездим под Алексеевку? Лето уж вон где, а мы еще ни разу в лесу не были и грибов жареных не ели. Да и посолить бы хоть баночку.

Разом соберутся и поедут на стареньком, но надежном мотоцикле М-72. Вообще-то батя не любит и не умеет собирать ни ягоды, ни грибы. Считает это несерьезным занятием для охотника и рыбака. Его стихия — озера. У воды он становится совершенно другим человеком: быстрым, подобранным, чутким. Здесь он знает и умеет все. Иногда просто поражает тем, что делает.

Как-то говорю ему, что слышал от дружка, будто в Савельевом озере мужики карасей чуть не ванна-

ми черпают. Он недоверчиво смотрит на меня и с сомнением в голосе говорит:

— Вряд ли... Сколько помню, там карась только два раза и заводился. После войны, в сорок седьмом, кажется... Сам я этого, правда, не видел, мы тогда не здесь жили, это мне потом дед Мукараш из Молок рассказывал... А еще... — Он хмурится, подсчитывая. — Во, вспомнил! Когда Санька наш родился... В пятьдесят шестом... Мы тогда с Федором, твоим дядькой, запускали мальков на развод. И вроде тогда они подросли, а через год пропали. А сейчас... Нет, не верится что-то. Не приживается там карась. Не его это место. Про Водопойное и Сопатое поверю, а здесь — нет.

Но не удержится, поедет со мной.

У озера будет ходить по берегу, смотреть на заводь, на птиц, что гомонят на плесе, шевелить песок носком сапога. Потом сунет руку в воду и даже зачем-то попробует ее на язык. Прищурившись, взглянет на снижающееся за гриву солнце и сообщит:

— Даже и заплывать не надо, нет здесь никакой рыбы. А вот утки по осени много будет. А давай спросим, если не веришь. Вон кто-то из-за камышка плывет.

И как я не заметил? Точно, кто-то плывет. Приблизился. Видим, парень с нашей улочки — Витька Горковенко, тоже заядлый рыбак и охотник. Улыбается, кричит издали:

— Что?! Тоже попались?! Нет здесь, дядя Ваня, никакой рыбы! Сутки сети простояли, тиной да морышем их забило, вот и все.

— А я что говорил? — скажет довольный, что не ошибся, батя...

Да, про лес чуть не забыл, куда отец с мамой поехали на мотоцикле. Тут так: у бати в лесу свои дела,



у мамы — свои. Батя все норовит маму в околки за Молочинскую гриву сманить, а мама в Куликовские или Алексеевские леса хочет, где с детства любила бывать. Она понимает, почему он ее сбивает. Под Молоками и за Молоками (так называлась старинная деревня) его любимые озера: Водопойное, Савельево, Сопатое... Но маме они зачем? Ей ягоды да грибы нужны, а они в другом месте, поэтому туда и едут. Чаще всего — сначала в Жидов околок, в этот загадочный длинный березово-осиновый лес. Загадочный, потому что никто не знает, откуда такое название. И еще: за лето здесь перебывают почти все жители соседних деревень, а все равно он не пустой, хоть горсточку костянки, хоть пяток-десяток грибов да найдешь.

Мама сразу и убежит в лес. Перед этим, конечно, решат, где отец будет ее ждать. Это к тому что рядом с Жидовым и другие околки есть, а она умудряется нередко и их обойти. Бывает, сидит отец на опушке, строгают черенок для вил, поджидая ее с одной стороны, а она через поле идет из околка, что напротив. Когда успела туда прошмыгнуть? Глядит — у нее уже набрано полбидончика костянки, а из корзинки грибы выглядывают.

Похвалит:

— Надо же, и грибы у тебя, и костянка! А я с краю здесь заглянул — ничего не увидел.

— Да костянка — это так, Ваня, я же грибы смотрела.

Это она сглазить боится. Есть поверье, что в лес надо ходить за чем-то одним: либо за ягодами, либо за грибами. И она, когда за деревья заходит, потихоньку шепчет: «Я за грибами, я за грибами, я только за грибами...» Ну а если за ягодами, то так же и с ними договаривается...

Отец удивится, что она уже набрала ягод и грибов, а мама порадует за него, когда увидит рядом с мотоциклом свежеструганные березовые черенки для вил и лопат, несколько осиновых жердинок и охапку ракиты. Про ракиту догадается, что за ней он к ляге успел съездить. Ее ведь только там можно нарубить. Заметит и след от мотоцикла в траве в ту сторону.

А он сидит и теперь маленькую корзиночку из тонких ракиотинок плетет. Это нам, ребяташкам, подарок хочет сделать. Будет таких маленьких корзиночек четыре, а в них ягоды — «гостинец от зайчика».

Мама улыбается, поправляя белый в красно-синий цветочек платок:

— Ты прямо на полхозяинства заготовок наделал...

— Скажешь тоже, Лиза...

— А в лесу, Ваня, воздух березовый и уже осенним листом припахивает. А еще я птицу какую видела! Черная, что трубочист твой, а стучит по осине — ну дятел и дятел...

— Да это и есть дятел, только черный. У него и название какое-то чудное есть. Не наше. Я и не запомнил. И как ты рассмотрела? Они редко у нас попадают. Сильно осторожные. Постучит и оглянется потом десять раз, а чуть шорох где, порх — и улетел.

Он своим с ней поделится:

— Я к ляге поехал, а около дороги — барсук. Сидит, смо-о-отрит на меня. И главное, не убегает. Подождал, пока проеду, и потом только дорогу перебежал. Я оглянулся. Бежит. Да смешно так: толстый, переваливается. Надо же, и не боится...

Мама еще раз легонечко вздохнет:

— Лес прямо как вымытый, прозрачный, и тихо-тихо...

Отец пообещает:

— Я вот осенью тебя снова на свои места свожу. За Водопойное, когда лист пожелтеет. Помнишь, ездили?

Лицо у мамы осветится:

— Ой, помню... Правда поедем?

И слегка смущенно:

— И костер разведем?

Отец улыбнется, тоже вспоминая:

— А как же... И костер разведем, и супчик степной сварим... Загуляем с тобой... И...

Отец вдруг засмеется, а мама ему:

— Чего и?..

— Да я подумал — и гармошку возьмем да как врежем на всю степь!

Мама тоже начинает смеяться, потом говорит сквозь проступившие слезы:

— Ага, доярки мимо будут ехать, а их бригадир в степи концерт по заявкам дает! Подумают, что ополумели мы.

— А пусть думают!

И ведь обязательно выдастся для них такой сладкий денек. И обязательно под самый конец сентября, когда березовые околки, насыщенные лимонно-оранжевой листвой, горят под прощальным солнцем в такой непосильной для сердца красоте, что хочется плакать или смеяться...

Да. Жили и жили мои родители... Жили как могли, как и вся наша лесостепная деревня. Нас четверых поднимали, растили. До надсадности работали в совхозе на фермах и полях, день и ночь крутились по своему хозяйству.

И думаю: а много ли было у них таких, как тот, что на сенокосе или в лесу, дней? Случался ведь и

«перец», про который мама говорила. Только горечь тех легких размолвок была ничтожной и досадной горчинкой по сравнению не с горечью уже, а с горем, страшным до безысходности, которое не просто выедаёт душу, а почти не оставляет для жизни просвета.

Еще задолго до их женитьбы ушедший добровольцем на фронт отец заболел там тяжело и страшно. Если бы это было в начале войны, то так бы, наверно, и сгинул, скрючившись где-нибудь в промерзшем окопе, с раздирающим легкие кашлем, в туманящей сознание лихорадке. Но это был конец сорок третьего. Война была уже другой. Заметили, комиссовали, определив больного (прямо в военной форме) на завод точить снаряды.

После победных дней выхаживала его матушка в родной озерной деревеньке. Выхаживала от туберкулеза, который в те годы был почти приговором. Врачевала банями, парным молоком, собачьим да барсучьим жиром. Да еще молитвой, горькой и горячей, в коей были и русские крамольные вопросы к богу, приходящие всякий раз к нашему человеку в черные, немочные до отчаяния минуты: «Ты ведь отобрал уже большего! Что же старшего-то к нему так рано призываешь? Помоги! Пятеро еще на руках...»

И выходит, и отмолит. Встанет мой будущий батя на ноги. Охотой да рыбалкой начнет помогать семье. У степного моря-озера Чаны, набитого рыбой и дичью, неленивому да здоровому прожить можно. И гармошка его зарадуется в доме, и балалайка завеселится...

В далеком от их деревни степном поселке черноглазую невесту найдет. Жизнь засветится и заиграет любовью и надеждами. Но когда нас, пацанов, будет у них уже двое, догонит его снова старая болезнь.

И будет, как тень, ходить он по двору, качаясь от слабости и виновато улыбаясь маме... И совсем отчаится, когда, попробовав тайком расколоть полено, после двух ударов упадет на плетень и станет задыхаться в холодной испарине, хватая раскаленными, изболевшимися легкими острый, словно набитый стеклянными осколками воздух...

Тут его увидит мама. Остановившимися провальными-черными глазами посмотрит будто в самую глубь жизни и смерти, скажет:

— Не отдам я тебя, Ваня, ей, не отдам. Ты только не сдавайся, переждем, я знаю...

И переждем. И снова батю поднимет любовь. Теперь мамина. И многое еще придется им переждать. Почти нищету во время его болезни и смерть сына-десантника, белокурого нашего Петьки с робкой улыбкой.

Годы пройдут, и смерть станут упоминать уже без опаски, не боясь накликать. Знали, не отцепишь ее. Это ведь неразрывно. Жизнь — смерть. Смерть — жизнь.

Мама после многих лет своей болезни будет говорить:

— Эх, отец, если б ты знал, как мне тяжело... Уйду, наверно, скоро, как без меня будешь?

Он со странной и долгой улыбкой посмотрит на нее и вроде укорит:

— И ничего-то ты, мать, не знаешь ни про себя, ни про меня... Ты вот болеешь и будешь так потихоньку болеть и жить, жить... А я... — Он приосанится, сделает такое движение, будто хочет пуститься в пляс, и голосом деланно веселым, но с грустными до середины сердца глазами, произнесет. — А я буду бегать, бегать, а потом брык — и нету меня...

В одночасье батя и уйдет. Мама переживет его на четырнадцать лет.

Первое время, словно не веря, что его нет, она будет еще и поругиваться с ним:

— Эх, отец, отец, ну что ты вот натворил? Кто тебя просил? Взял и умер! Я бы прямо налупила тебя за это...

Вот так. Жили и жили мои родители... Нет. И сейчас живут. Бывает, среди суматошных дней будто толкнет кто меня — вдруг ясно услышу батину балалайку, ее тоненькую, дробно-звонкую мелодию. И мамин приглушенный голос, доносящийся с веранды:

— Да тише ты, Ваня! Чего это ты с утра сегодня? Тише! Ребятишек разбудишь!

Не надо тише! Играй, батя! Громче играй! Будите нас, родители! Будите! Не жалейте! А мы сейчас как выскочим все на нашу любимую поляну перед домом!.. И засмеется степь.



## СОДЕРЖАНИЕ

### ГРУСТНЫЕ МАЛЬВЫ Стихотворения

«Конь заплачет — придет дядя Гриша...» .....	4
Дом .....	6
«Сто примет привечаю на дню...» .....	7
«По декабрю метель метет, и снег подваливает...» .....	8
«Белый буран в белой степи...» .....	10
«Прошное качает настоящее...» .....	11
«Всё метели да ветры в лицо...» .....	12
«Январь, этот белый и длинный пустырь...» .....	13
«Захочу и сегодня поеду в деревню...» .....	14
«Будет мама украдкою плакать...» .....	15
«Как марты эти гибельны и сини...» .....	16
Степной дождь .....	17
В детстве.....	18
На Песьей Деньге.....	20
В жару .....	22
«Уже грачи кричат над гривами...» .....	23
«Это лето с рассыпными и короткими дождями...» .....	24
В августе.....	26
«Всё падают, сыплются звезды...» .....	27
«Когда последняя гроза...» .....	28
«Конец июльским облакам...» .....	29
«Озолоти меня, сентябрь...» .....	30
«Весь лес распахнут и прозрачен...» .....	31
Ожидание .....	32
Перед снегом .....	34
«Не грусти — это просто предзимье...» .....	35
«Он ходит и ходит у низеньких окон...» .....	36

СТЕПНЫЕ ЛЮДИ  
Рассказы. Повесть

На Яркуле .....	38
Покурить ночью .....	87
Ясное море .....	97
Загонка .....	154
На два голоса .....	168

ЖИЛИ И ЖИЛИ  
Зарисовки из прошлого

Сияющие окна .....	278
Веселый ливень .....	283
Дед Охохонин .....	288
Агент .....	292
А теперь о погоде... ..	304
Гостинец от зайчика .....	313
Деревенские забавы на свежем воздухе .....	321
Жили и жили .....	335



*Виктор Иванович Сайдаков*

## **СИЯЮЩИЕ ОКНА**

*Стихи и проза*

Редактор *М. Н. Акимова*  
Корректор *Г. С. Штибен*  
Художник *Л. П. Лазарева*  
Верстка *О. Н. Вялкова*

Подписано к печати 25.04.2021. Формат 84x108<sup>1/32</sup>.  
Печать цифровая. Тираж 100 экз. Заказ № 1488.

Издательский дом «Манускрипт».  
Отпечатано в типографии ООО «Манускрипт»,  
630060, г. Новосибирск, ул. Зеленая горка, 1



### **Сайдаков Виктор Иванович**

родился в пос. Сибирском Купинского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский пединститут и военное училище. Работал в школе, служил рядовым в ГСВГ, офицером в военных газетах и журналах. Уволился в запас полковником. Десять лет возглавлял департамент МА «Сибирское соглашение». Одновременно вел авторские программы на радио «Слово» г. Новосибирска.

Пишет стихи и прозу. Публиковался в журналах и альманахах «Воин России», «Дальний Восток», «Сибирские огни», «Чаша круговая», «Парад литератур», в книгах серии «Сибирская проза. Век XX — век XXI». Лауреат литературной премии им. П. П. Дедова. Член Союза журналистов России.